



50 Kygwa

Булат
Окуджава

Лирика
Проза

Екатеринбург
У-Фактория
2003

ББК 84(2Рос=Рус)6
О-52

Составитель
Л. Быков
Художественное оформление
В. Партин

Окуджава Б. Ш.
О-52 Лирика. Проза. — Екатеринбург: У-Фактория,
2003. — 672 с.

ISBN 5-94799-301-5

Книгу составили избранные произведения Булата Окуджавы (1924—1997), дар которого, по словам Ю. Нагибина, «открывал нам нас самих, возвращал полное чувство жизни».

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 5-94799-301-5

© Окуджава О. В. (право наследник),
2003
© Издательство «У-Фактория»,
составление, оформление, 2003

Лирика

* * *

Полжизни промчалось в походах.
И вот, от разлуки устав,
торопишься к дому, на отдых.
Плывет за верстою верста.

Но только достигнешь порога,
войдешь в незабытый мирок,
другая поманит дорога,
а мало ли в жизни дорог.

И вот перед тем, как расстаться,
выходишь в полночную тишь:
молчат паровозы на станции,
а ты у калитки стоишь

и дышишь прохладой поздней,
как в детстве далеком своем,
и падают тихие звезды
холодным и крупным дождем.

* * *

Стоят леса, опутаны
осенней желтизной.
Бредет усталый путник
по просеке лесной,
нехоженной, неезженной...
А сам — о ней, о ней:
живет в сознание женщина,
и нет ее сильней.
Внезапно разлюбившая,
кто знает — почему,
остывшая, забывшая,
да вот нужна ему.
Всё кончено, всё сломано,
но он как будто слеп...
А сколько горьких слов она
ему швырнула вслед.
Ведь вот какая женщина!
А без нее не жить.
Змеится в сердце трещинка,
а он: любить, любить...

Вдова

Он не писал с передовой,
она — совсем подросток —
звалась соломенной вдовой;
сперва — соломенной вдовой,
потом — вдовою просто.

Под скрип сапог, под стук колес
война ее водила,
и было как-то не до слез,
не до раздумий было.

Лежит в шкатулке медальон
убитого солдата.
Давно в гражданке батальон,
где он служил когда-то.

Но так устроено уже:
не сохнет лист весенний,
не верят вдовы в смерть мужей
и ждут их возвращенья.

Не то чтоб в даль дорог глядят
с надеждою на чудо,
что, мол, вернется он назад,
что вот придет домой солдат
неведомо откуда.

А просто, бед приняв сполна,
их взгляду нет границы,
и в нем такая глубина,
что голова кружится.

Как будто им глаза даны,
чтобы глазами теми
всем не вернувшимся с войны
глядеть на мир весенний.

В лесу

У тебя в руках ружьишко,
впереди рассветный дым,
ты доволен, как мальчишка,
одиначеством своим.

Вот и лес. Зарей окутан.
Поглядишь со стороны,
и покажется, как будто
дремлет он и видит сны.

Но едва шагнешь ногою
в этот замерший покой,
под ногой заплещет хвоя,
словно море под тобой.

И тропа, с травой слившись,
сквозь лесные рубежи
осторожно и неслышно,
как живая, пробежит.

День идет легко и быстро.
Но бывает иногда:
отзвучит последний выстрел,
вспыхнет первая звезда.

Под ногою ветка хрустнет,
птицы кинутся во тьму,
и внезапно станет грустно
неизвестно почему.

Словно к берегу пустому,
ты приплыл издалека,
словно кто-то манит к дому...
не ее ли та рука?

Не она ли тропку эту
вслед послала за тобой,
чтоб с любых окраин света
воротить тебя домой?

Ночь после войны

Ничем тебя в памяти
не превозмочь,
первая послевоенная ночь.
Отгремели салюты,
сник закат,
улеглось победное торжество.
Но не спит,
но по городу ходит солдат...
Это что за бессонница
водит его?
Играет оркестр
в старом саду.
Как много невест
в этом году!
Холодное тело трубы обхватив,
трубит музыкант
забытый мотив.

ночь
удивительной тишины,
первая ночь
после войны!

Сердце скажет

Нет, не будет ни долгих гудков, ни печали.
Просто, песне своей изменив,
сердце скажет: «Конец. Я, видать, отстучало.
Ты, товарищ, меня извини».
Сердце скажет... А он не поймет, удивится;
он не думал еще о таком:
«Ты совсем обленилась, трусливая мышца,
и тебя затянуло жирком!
Мир грохочет. А тут ковыляешь с одышкой
от стены и опять до стены...»
Сердце скажет: «Четыре войны —
это слишком,
это много — четыре войны».
...Шаг пехоты крутой. Перебранка тачанок.
И окоп у последней версты...
Сердце скажет: «А как я, товарищ, стучало,
чтобы ты невзначай не остыл!
В черных ранах земли неприкрытое тело,
и уводит весна под обстрел,
и тебе не до сердца, но как я горело,
чтобы ты, мой товарищ, горел!
С топором — на леса, с автоматом —
на бруствер,
на затишье не выпало дня.

Ты страдал, а меня разрывало от грусти,
ты любил, а сжигало меня.
Не по слову людей, не по буквам уставов
я опять в неоплатном долгу,
и не жалуясь, просто я очень устало
и уже ничего не могу».
А весна, как всегда, журавлями прокличет,
позовет за собою весна...
Сколько ж надо сердец, даже самых отличных,
чтобы всем надышаться сполна?
И не вложишь в короткого века границы —
что досталось пройти одному...
Сердце скажет... И старый солдат удивится,
Удивится себе самому.

* * *

Шла девушка тропинкою лесной
не осенью,
 не летом,
 не весной;
январь ее не кутал в колкий снег...
Шла девушка
 в моем мальчишьем сне,
шла девушка,
 молчание храня,
и было ей совсем не до меня.
Задумчивая, нежная была
и не ждала меня,
 и не звала,
лишь только головою повела

и невзначай с собою увела.
Те сны прошли,
и детства больше нет.
Но я иду,
иду за нею вслед.

Ночь прощания с летом

Гулкой ночью почти что осенней
цвел костер у дороги шоссейной.

Рядом женщины молча сидели,
на веселое пламя глядели.

И лежали серпы в отдаленье,
словно спали, поджавши колени.

Ничего необычного в этом —
просто полночь прощания с летом.

Но кричала какая-то птица:
«Ох, не спится... не спится... не спится...»

Песенка о ночной Москве

Б. Ахмадулиной

Когда внезапно возникает
еще неясный голос труб,
слова, как ястребы ночные,
срываются с горячих губ,
мелодия, как дождь случайный,
гремит; и бродит меж людьми
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.

В года разлук, в года сражений,
когда свинцовые дожди
лупили так по нашим спинам,
что снисхождения не жди,
и командиры все охрипли...
Тогда командовал людьми
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.

Кларнет пробит, труба помята,
фагот, как старый посох, стерт,
на барабане швы разлезлись...
Но кларнетист красив, как черт!
Флейтист, как юный князь, изящен...
И вечно в сговоре с людьми
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.

* * *

Ю. Нагибину

Неистов и упрям,
гори, огонь, гори.
На смену декаблям
приходят январь.

Нам все дано сполна —
и горести, и смех,
одна на всех луна,
весна одна на всех.

Прожить лета б дотла,
а там пускай ведут
за все твои дела
на самый страшный суд.

Пусть оправданья нет
и даже век спустя...
Семь бед — один ответ,
один ответ — пустяк.

Неистов и упрям,
гори, огонь, гори.
На смену декаблям
приходят январь.

* * *

Эта женщина! Увижу и немею.
Потому-то, понимаешь, не гляжу.
Ни кукушкам, ни ромашкам я не верю
и к цыганкам, понимаешь, не хожу.

Напророчат: не люби ее такую,
набормочут: до рассвета заживет,
наколдуют, нагадают, наукуют...
А она на нашей улице живет!

Синька

В южном прифронтовом городе на рынке
торговали цыганки развесной синькой.
Торговали цыганки, нараспев голосили:
«Синяя синька! Лиля-лиля!»

С прибаутками торговали цыганки
на пустом рынке, в рядах пустых,
а черные мужья крутили сигарки,
и пальцы шевелились в бородах густых.

А жители от смерти щели копали.
Синьку веселую они не покупали.
Было вдоволь у них синева под глазами,
синего мрака погребов наказанья,
синего инея по утрам на подушках,
синей золы в печурках потухших...

и бабочки,
 как еретички,
горят на медленном огне.
Сойди к реке по тропке топкой,
и понесет сквозь тишину
зари вечерней голос тонкий,
ее последнюю струну.
Там отпечатаны коленей
остроконечные следы,
как будто молятся олени,
чтоб не остаться без воды.
По берегам, луной залитым,
они стоят: глаза — к реке,
твердя вечерние молитвы
на тарабарском языке.
Там птицы каркают и стонут.
Синеют к ночи камыши,
и ветры с грустной истомой
всё дуют в дудочку души...

III

На белый бал берез не соберу.
Холодный хор хвои хранит молчанье.
Кукушки крик, как камешек отчаянья,
всё катится и катится в бору.

И все-таки я жду из тишины
(как тот актер, который знает цену
чужим словам, что он несет на сцену)
каких-то слов, которым нет цены.

Ведь у надежд всегда счастливый цвет,
надежный и таинственный немного,
особенно когда глядишь с порога,
особенно когда надежды нет.

IV

Как ты там поживаешь над рекой Серёной,
карасями заселенной,
облаками засоренной?
Как ты там поживаешь в своем скворешнике,
примостившемся на берегу,
где полки молодого орешника
на бегу
изогнулись в дугу,
где в тине, зеленой и темной,
перепутались рыбы следы,
где ивы, упрямо и томно,
перелистывают книгу воды?..
А когда осенний дождичек частый
бубнит, как столетний дед,
кому ты выносишь в пригоршнях счастье,
которому имени нет?

V

Всё поле взглядом невзначай окинь:
костры, костры, костры и дух щавелей...
И трактора сползались на огонь
и желтыми лучами шевелили.

Осенний первый дождь спокойно шел
и не мешал огню, и было ярко,
и пахло щами и ржаной коркой.
Лес лисами и листьями шуршал.

Мы крепко спали на пороге дня.
Лишь дождь перебирал привычно струны,
и наши тени медленно и странно
плясали, приседая, у огня...

VI

А знаешь ты,
что времени у нас в обрез
и кошельки легки без серебра,
учитель мой, взъерошенный как бес,
живущий в ожидании добра?

Когда-нибудь
окончится осенний рейс,
и выяснится наконец, кто прав,
и скинет с плеч своих наш поздний лес
табличку медную: «За нарушение — штраф!»

Когда-нибудь
внезапно стихнет карусель
осенних рощ и неумытых луж,
и только изумленное:

«Ужель
возможно это?!» —
вырвется из душ.

Веселый барабанщик

Встань пораньше, встань пораньше,
встань пораньше,
когда дворники маячат у ворот.
Ты увидишь, ты увидишь, как веселый
барабанщик
в руки палочки кленовые берет.

Будет полдень, суматохою пропахший,
звон трамваев и людской водоворот,
но прислушайся — услышишь,
как веселый барабанщик
с барабаном вдоль по улице идет.

Будет вечер — заговорщик и обманщик,
темнота на мостовые упадет,
но взглядишь — и ты увидишь,
как веселый барабанщик
с барабаном вдоль по улице идет.

Грохот палочек... то ближе он, то дальше,
сквозь сумятицу, и полночь, и туман...
Неужели ты не слышишь,
как веселый барабанщик
вдоль по улице пронесит барабан?!

* * *

Время идет, хоть шути — не шути,
как морская волна вдруг нахлынет и скроет...
Но погоди, это всё впереди,
дай надышаться Москвою.

Мало прошел я дорогой земной.
Что же рвешь ты не в срок пополам
мое сердце?
Ну не спеши, это будет со мной,
ведь никуда мне не деться.

Видишь тот дом? Там не гасят огня,
там друзья меня ждут не больным,
не отпетым...
Да не спеши! Как же им без меня?
Надо ведь думать об этом.

Дай мне напиться воды голубой,
придержи до поры и тоску и усталость...
Ну потерпи, разочтемся с тобой —
я должником не останусь.

* * *

Женщины-соседки, бросьте стирку и шитье,
живите, будто заново, все начинайте снова!
У порога, как тревога, ждет нас новое житье
и товарищ Надежда по фамилии Чернова.

Глаза ее суровы, их приговор таков:
чтоб на заре без паники, чтоб вещи
были собраны,
чтоб каждому мужчине — по паре пиджаков
и чтобы ноги — в сапоги, а сапоги —
под седлами.

Прощайте, прощайте, наш путь
предельно чист,
нас ждет веселый поезд, и два венка
терновых,
и два звонка медовых, и грустный
машинист —
товарищ Надежда по фамилии Чернова.

Ни прибыли, ни убыли не будем
мы считать —
не надо, не надо, чтоб становилось тошно!
Мы успели всяких книжек сорок тысяч
прочитать
и узнали, что к чему и что почему,
и очень точно.

* * *

Не верь войне, мальчишка,
не верь: она грустна.
Она грустна, мальчишка,
как сапоги тесна.

Твои лихие кони
не смогут ничего:
ты весь — как на ладони,
все пули — в одного.

* * *

...И когда удивительно близко
остаётся идти до тебя,
отправляется нежность на приступ,
в свои тихие трубы трубя.

И поротно, и побатальонно
льётся в душу она сгоряча,
и ее голубые знамена
на твои упадают плеча.

Знаешь, Оля, на улочке этой,
где старинные стынут дома,
в поединках сходились поэты,
гимназистки сходили с ума.

Продолжается жизни движенье
вдоль по улочке. Век непочат.
Продолжается листьев круженье,
каблуки по асфальту стучат.

И за щедрой твоею рукою
что-то брезжится мне впереди,
и в груди назревает такое,
что уже не хватает груди.

* * *

Глаза, словно неба осеннего свод,
и нет в этом небе огня,
и давит меня это небо и гнет —
вот так она любит меня.

Прощай. Расстаемся. Пощады не жди!
Все явственней день ото дня,
что пусто в груди, что темно впереди —
вот так она любит меня.

Ах, мне бы уйти на дорогу свою,
достоинство молча храня!
Но старый солдат, я стою, как в строю...
Вот так она любит меня.

Голубой шарик

Девочка плачет: шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит.

Девушка плачет: жениха все нет.
Ее утешают, а шарик летит.

Женщина плачет: муж ушел к другой.
Ее утешают, а шарик летит.

Плачет старушка: мало пожила...
А шарик вернулся, а он голубой.

* * *

Не бродяги, не пропойцы,
за столом семи морей
вы пропойте, вы пропойте
славу женщине моей!

Вы в глаза ее взгляните,
как в спасение свое,
вы сравните, вы сравните
с близким берегом ее.

Мы земных земней. И вовсе
к черту сказки о богах!
Просто мы на крыльях носим
то, что носят на руках.

Просто нужно очень верить
этим синим маякам,
и тогда нежданный берег
из тумана выйдет к вам.

Песенка о Ваньке Морозове

А. Межирову

За что ж вы Ваньку-то Морозова?
Ведь он ни в чем не виноват.
Она сама его морочила,
а он ни в чем не виноват.

Он в старый цирк ходил на площади
и там циркачку полюбил.
Ему чего-нибудь попроще бы,
а он циркачку полюбил.

Она по проволке ходила,
махала белой рукой,
и страсть Морозова схватила
своей мозолистой рукой.

А он швырял в «Пекине» сотни,
ему-то было все равно.
А по нему Маруся сохнет,
и это ей не все равно.

А он медузами питался,
циркачке чтобы угодить.
И соблазнить ее пытался,
чтоб ей, конечно, угодить.

Не думал, что она обманет:
ведь от любви беды не ждешь...
Ах, Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня?
Ведь сам по проволке идешь!

* * *

А. Шуб

Нева Петровна, возле вас — всё львы.
Они вас охраняют молчаливо.
Я с женщинами не бывал счастливым,
вы — первая. Я чувствую, что — вы.

Послушайте, не ускоряйте бег,
банальным славословьем вас не трону:
ведь я не экскурсант, Нева Петровна,
я просто одинокий человек.

Мы снова рядом. Как я к вам привык!
Я всматриваюсь в ваших глаз глубины.
Я знаю: вас великие любили,
да вы не выбирали, кто велик.

Бывало, вы идете на проспект,
не вслушиваясь в титулы и званья,
а мраморные львы — рысцой за вами
и ваших глаз запоминают свет.

И я, бывало, к тем глазам нагнусь
и отражусь в их океане синем
таким счастливым, молодым и сильным...
Так отчего, скажите, ваша грусть?

Пусть говорят, что прошлое не в счет.
Но волны набегают, берег точат,
и ваше платье цвета белой ночи
мне третий век забыться не дает.

* * *

О. Батраковой

Мне нужно на кого-нибудь молиться.
Подумайте, простому муравью
вдруг захотелось в ноженьки валиться,
поверить в очарованность свою!

И муравья тогда покой покинул,
все показалось будничным ему,
и муравей создал себе богиню
по образу и духу своему.

И в день седьмой, в какое-то мгновенье,
она возникла из ночных огней
без всякого небесного знаменья...
Пальтишко было легкое на ней.

Все позабыв — и радости, и муки,
он двери распахнул в свое жилье
и целовал обветренные руки
и старенькие туфельки ее.

И тени их качались на пороге,
безмолвный разговор они вели,
красивые и мудрые, как боги,
и грустные, как жители земли.

Вобла

Холод войны немилосерд и точен.
Ей равнодушия не занимать.

...Пятеро голодных сыновей и дочек
и одна отчаянная мать.

И каждый из нас глядел в оба,
как по синей клеенке стола
случайная одинокая вобла
к земле обетованной плыла,
как мама руками теплыми
за голову воблу брала,
к телу гордому ее прикасалась,
раздевала ее догола...
Ах, какой красавицей вобла казалась!
Ах, какую крошечной вобла была!
Она клала на плаху буйную голову,
и летели из-под руки
навстречу нашему голоду
чешуи пахучие медяки.

А когда-то кружок звон, как звон наковален,
как колоколов перелив...
Знатоки ее по пивным смаковали,
королевою снеди пивной нарекли.

...Пятеро голодных сыновей и дочек.
Удар ножа горяч как огонь.
Вобла ложилась кусочек в кусочек —
по сухому кусочку в сухую ладонь.

Нас покачивало военным ветром,
и, наверное, потому
плыла по клеенке счастливая жертва
навстрéчу спасению моему.

* * *

На белый бал берез не соберу.
Холодный хор хвои хранит молчанье.
Кукушки крик, как камешек отчаянья,
все катится и катится в бору.

И все-таки я жду из тишины
(как тот актер, который знает цену
чужим словам, что он несет на сцену)
каких-то слов, которым нет цены.

Ведь у надежд всегда счастливый цвет,
надежный и таинственный немного,
особенно, когда глядишь с порога,
особенно, когда надежды нет.

Песенка о солдатских сапогах

Вы слышите: грохочут сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки?
Вы поняли, куда они глядят?

Вы слышите: грохочет барабан?
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней...

Уходит взвод в туман-туман-туман...
А прошлое ясней-ясней-ясней.

А где же наше мужество, солдат,
когда мы возвращаемся назад?
Его, наверно, женщины крадут
и, как птенца, за пазуху кладут.

А где же наши женщины, дружок,
когда вступаем мы на свой порог?
Они встречают нас и вводят в дом,
но в нашем доме пахнет воровством.

А мы рукой на прошлое: вранье!
А мы с надеждой в будущее: свет!
А по полям жиреет воронье,
а по пятам война грохочет вслед.

И снова переулком — сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки...
В затылки наши круглые глядят.

Король

Б. Федорову

Во дворе, где каждый вечер все играла радиола,
где пары танцевали, пыля,
ребята уважали очень Леньку Королева
и присвоили ему званье короля.

Был король, как король, всемогущ.
И если другу
станет худо и вообще не повезет,
он протянет ему свою царственную руку,
свою верную руку, — и спасет.

Но однажды, когда «мессершмитты»,
как вороны,
разорвали на рассвете тишину,
наш Король, как король, он кепчонку,
как корону —
набекрень, и пошел на войну.

Вновь играет радиола, снова солнце в зените,
да некому оплакать его жизнь,
потому что тот король был один (уж извините),
королевой не успел обзавестись.

Но куда бы я ни шел, пусть какая ни забота
(по делам или так, погулять),
все мне чудится, что вот за ближайшим
поворотом
Короля повстречаю опять.

Потому что на войне, хоть и правда стреляют,
не для Ленки сырая земля.
Потому что (виноват), но я Москвы
не представляю
без такого, как он, короля.

Ангелы

Выходят танки из леска,
устало роют снег,
а неотступная тоска
бредет за ними вслед.

Победа нас не обошла,
да крепко обожгла.
Мы на поминках водку пьем,
да ни один не пьян.

Мы пьем напропалую
одну, за ней вторую,
пятую, десятую,
горькую десантную.

Она течет, и хоть бы черт,
ну хоть бы что — ни капельки...
Какой учет, когда течет?
А на закуску — яблоки.

На рынке не развешенные
дрожащею рукой,
подаренные женщиной,
заплаканной такой.

О ком ты тихо плакала?
Все, знать, не обо мне,
пока я топал ангелом
в защитной простыне.

Ждала, быть может, слова,
а я стоял едва,
и я не знал ни слова,
я все забыл слова.

Слова, слова... О чем они?
И не припомнишь всех.
И яблочко моченое
упало прямо в снег.

На белом снегу
лежит оно.
Я к вам забегу
давным-давно,

как еще до войны,
как в той тишине,
когда так нужны
вы не были мне...

Первый день на передовой

Волнения не выдавая,
оглядываюсь, не спрашивая.
Так вот она — передовая!
В ней ничего нет страшного.

Трава не выжжена, лесок не хмур,
и до поры
объявляется перекур.
Звонят комары.

Звенят, звенят
возле меня.
Летят, летят —
крови моей хотят.

Отбиваюсь в изнеможении
и вдруг попадаю в сон:
дым сражения, окружение,
гибнет, гибнет мой батальон.

А пули звенят
возле меня.
Летят, летят —
крови моей хотят.

Кричу, обессилив,
через хрипоту:
«Пропадаю!»
И к ногам осины,
весь в поту,
припадаю.

Жить хочется!
Жить хочется!
Когда же это кончится?

Мне немного лет...
гибнуть толку нет...
я ночных дозоров не выстоял...
я еще ни разу не выстрелил...

И в сопревшую листву зарываюсь
и просыпаюсь...

Я, к стволу осины прислонившись, сажу,
я в глаза товарищам гляжу-гляжу:
а что, если кто-нибудь в том сне побывал?
А что, если видели, как я воевал?

Полночный троллейбус

Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
в случайный.

Полночный троллейбус, по улице мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье.

Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры — матросы твои —
приходят
на помощь.

Я с ними не раз уходил от беды,
я к ним прикасался плечами...

Как много, представьте себе, доброты
в молчанье,
в молчанье.

Полночный троллейбус плывет по Москве,
Москва, как река, затухает,
и боль, что скворчком стучала в виске,
стихает,
стихает.

Медсестра Мария

А что я сказал медсестре Марии,
когда обнимал ее?

— Ты знаешь, а вот офицерские дочери
на нас, на солдат, не глядят.

А поле клевера было под нами,
тихое, как река.

И волны клевера набегали,
и мы качались на них.

И Мария, раскинув руки,
плыла по этой реке.

И были черными и бездонными
голубые ее глаза,

И я сказал медсестре Марии,
когда наступил рассвет:

— Нет, ты представь: офицерские дочери
на нас и глядеть не хотят.

Новое утро

Не клонись-ка ты, головушка,
от невзгод и от обид.
Мама, белая голубушка,
утро новое горит.

Все оно смывает начисто,
все разглаживает вновь...
Отступает одиночество,
возвращается любовь.

И сладки, как в полдень пасеки,
как из детства голоса,
твои руки, твои песенки,
твои вечные глаза.

* * *

Настоящих людей так немного!
Всё вы врете, что век их настал.
Посчитайте и честно, и строго,
сколько будет на каждый квартал.

Настоящих людей очень мало:
на планету — совсем ерунда,
на Россию — одна моя мама,
только что ж она может одна?

Песенка об открытой двери

Когда метель кричит как зверь —
протяжно и сердито,
не запирайте вашу дверь,
пусть будет дверь открыта.

А если ляжет дальний путь,
нелегкий путь, представьте,
дверь не забудьте распахнуть,
открытой дверь оставьте.

И, уходя, в ночной тиши
без долгих слов решайте:
огонь сосны с огнем души
в печи перемешайте.

Пусть будет теплою стена
и мягкою скамейка...
Дверям закрытым — грош цена,
замку цена — копейка!

Песенка о Фонтанке

По Фонтанке, по Фонтанке, по Фонтанке
лодки белые холеные плывут.
На Фонтанке, на Фонтанке, на Фонтанке
ленинградцы удивленные живут.

От войны еще красуются плакаты,
и погибших еще снятся голоса.

Но давно уж — ни осады, ни блокады —
только ваши удивленные глаза.

Я — приезжий. Скромно стану в отдаленье.
Слов красивых и напрасных не скажу:
что я знаю?

Лишь на ваше удивленье
удивленными глазами погляжу.

Московский муравей

Не тридцать лет, а триста лет иду,
представьте вы,
по этим древним площадям, по голубым
торцам.
Мой город носит высший чин и звание
Москвы,
но он навстречу всем гостям всегда
выходит сам.

Иду по улицам его в рассветной тишине,
бегу по улочкам кривым (простите, города)...
Но я — московский муравей, и нет покоя мне —
так было триста лет назад и будет так всегда.

Ах, этот город, он такой, похожий на меня:
то грустен он, то весел он, но он всегда
высок...

Что там за девочка в руке несет кусочек дня,
как будто завтрак в узелке мне, муравью,
несет?

* * *

Часовые любви на Смоленской стоят.
Часовые любви у Никитских не спят.
Часовые любви по Петровке идут неизменно...
Часовым полагается смена.

О, великая вечная армия,
где не властны слова и рубли,
где все — рядовые: ведь маршалов нет у любви!
Пусть поход никогда ваш не кончится.
Признаю только эти войска!..
Сквозь зимы и вьюги к Москве подступает весна.

Часовые любви на Волхонке стоят.
Часовые любви на Неглинной не спят.
Часовые любви по Арбату идут неизменно...
Часовым полагается смена.

-
* * *

Ст. Рассадину

Мой мальчик, нанося обиды,
о чем заботятся враги?
Чтоб ты не выполз недобитый,
на их нарвавшись кулаки.

Мой мальчик, но — верны и строги —
о чем заботятся друзья?
Чтоб не нашел ты к ним дороги,
свои тревоги пронося.

И все-таки, людьми ученый,
еще задолго до седин,
рванешь рубаху обреченно,
едва останешься один.

И вот тогда-то, одинокий,
как в зоне вечной мерзлоты,
поймешь, что все, как ты, двуноги,
и все изранены, как ты.

* * *

Дома лучше (что скрывать?),
чем на площади холодной:
здесь хоть стулья да кровать,
там — всего лишь флаг бесплодный.

Здесь, хоть беден, хоть богат,
остаюсь самим собою.
Здесь я — барин, там — солдат,
и разлука за спиною.

* * *

Жизнь моя — странствия. Прощай! Пиши!
Мне нужно выяснить не за рубли:
широки ли пространства твоей души,
велико ль государство моей любви.

* * *

Эта женщина такая:
ничего не говорит,
очень трудно привыкает,
очень долго не горит.

Постепенно, постепенно
поднимается, кружа
по ступеням, по ступеням
до чужого этажа.

До далекого, чужого,
до заоблачных высот...
и, прищурясь, смотрят жены,
как любить она идет,

как идет она — не шутит,
хоть моли, хоть не моли...
И уходят в норы судьбы
коммунальные мои.

* * *

Я уйду от пули, делаю отчаянный рывок.
Я снова живой на выжженном теле Крыма.
И вырастают вместо крыльев тревог
за моей человеческой спиной надежды крылья.

Васильками над бруствером, уцелевшими от огня,
склонившимися над выжившим отделением,

жизнь моя довоенная разглядывает меня
с удивленьем.

До первой пули я хвастал: чего не могу
посметь?

До первой пули врал я напропалую.
Но свистнула первая пуля, кого-то
накрыла смерть,
а я приготовился пулю встретить вторую.

Ребята, когда нас выплеснет из окопа
четкий приказ,
не растопчите этих цветов в наступленье!
Пусть синими их глазами глядит и глядит
на нас
идушее за нами поколение.

* * *

Е. Рейну

Из окон корочкой несет поджаристой.
За занавесками — мельканье рук.
Здесь остановки нет, а мне — пожалуйста:
шофер в автобусе — мой лучший друг.

А кони в сумерках колышут гривами.
Автобус новенький, спеши, спеши!
Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный
в любую сторону твоей души.

Я знаю, вечером ты в платье шелковом
пойдешь по улицам гулять с другим...
Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать,
попридержи-ка их, поговорим!

Она в спецовочке, в такой промасленной,
берет немыслимый такой на ней...
Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы...
Куда же гонишь ты своих коней!

Но кони в сумерках колышут гривами.
Автобус новенький спешит-спешит.
Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный
в любую сторону твоей души!

Песенка о комсомольской богине

Я смотрю на фотокарточку:
две косички, строгий взгляд,
и мальчишеская курточка,
и друзья кругом стоят.

За окном все дождик тенькает:
там ненастье на дворе.
Но привычно пальцы тонкие
прикоснулись к кобуре.

Вот скоро дом она покинет,
вот скоро вспыхнет бой кругом,
но комсомольская богиня...
Ах, это, братцы, о другом!

На углу у старой булочной,
там, где лето пыль метет,
в синей маечке-футболочке
комсомолочка идет.

А ее коса острижена,
в парикмахерской лежит.
Лишь одно колечко рыжее
на виске ее дрожит.

И никаких богов в помине,
лишь только дела гром кругом,
но комсомольская богиня...
Ах, это, братцы, о другом!

Искала прачка клад

На дне глубокого корыта
так много лет подряд
не погребенный, не зарытый
искала прачка клад.

Корыто от прикосновенья
звенело под струну,
и плыли пальцы, розовея,
и шарили по дну.

Корыта стенки как откосы,
омытые волной.
Ей снился сын беловолосый
над этой глубиной.

И что-то очень золотое,
как в осень листопад...
И билась пена о ладони —
искала прачка клад.

До свидания, мальчики

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли —
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом — солдат...
До свидания, мальчики!

Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не шадите,

и все-таки
постарайтесь вернуться назад.

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб — разлуки и дым,
наши девочки платица белые
раздарили сестренкам своим.
Сапоги — ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведем с ними счеты потом.

Пусть болтают, что верить вам не во что,
что идете войной наугад...

До свидания, девочки!

Девочки,
постарайтесь вернуться назад.

* * *

На арбатском дворе — и веселье и смех.

Вот уже мостовые становятся мокрыми.

Плачьте, дети!

Умирает мартовский снег.

Мы устроим ему веселые похороны.

По кладовкам по темным поржавеют коньки,
позабытые лыжи по углам покоробятся...

Плачьте, дети!

Из-за белой реки

скоро-скоро кузнечики к нам заторопятся.

Будет много кузнечиков. Хватит на всех.

Вы не будете, дети, гулять в одиночестве...

Плачьте, дети!

Умирает мартовский снег.

Мы ему воздадим генеральские почести.

Заиграют грачи над его головой,

грохнет лед на реке в лиловые трещины...

Но останется снежная баба вдовой...

Будьте, дети, добры и внимательны к женщине.

* * *

Не вели, старшина, чтоб была тишина.
Старшине не всё подчиняется.

Эту грустную песню

придумала война...

Через час штыковой начинается.

Земля моя, жизнь моя, свет мой в окне...

На горе врагу улыбнусь я в огне.

Я буду улыбаться, черт меня возьми,
в самом пекле рукопашной возни.

Пусть хоть жизнь свою укорачивая,

я пойду напрямик

в пулеметное поколачиванье,

в предсмертный крик.

А если, на шаг всего опередив,

достанет меня пуля какая-нибудь,

сложите мои кулаки на груди

и улыбку мою положите на грудь.

Чтоб видели враги мои и знали бы впредь,
как счастлив я за землю мою умереть!

...А пока в атаку не сигналила медь,

не мешай, старшина, эту песню допеть.

Пусть хоть что судьбой напроорочится:

хоть славная смерть,

хоть геройская смерть —

умирать все равно, брат, не хочется.

Быть недолго молодым,
скоро срок догонит.
Неразменным золотым
покачусь с ладони.

Потемнят меня ветра,
дождичком окатит...
А она щедра, щедра —
надолго ли хватит?

* * *

Сто раз закат краснел, рассвет синел,
сто раз я клял тебя, песок моздокский,
пока ты жег насквозь мою шинель
и блиндажа жевал сухие доски.

А я жевал такие сухари!
Они хрустели на зубах, хрустели...
А мы шинели рваные расстелим —
и ну жевать. Такие сухари!

Их десять лет сушили, не соврать,
да ты еще их выбелил, песочек...
А мы, бывало, их в воде размочим —
и ну жевать, и крошек не собрать.

Сыпь пощедрей, товарищ старшина!
Пируем — и солдаты и начальство...
А пули? Пули были. Били часто.
Да что о них рассказывать — война.

Тамань

Год сорок первый. Зябкий туман.
Уходят последние солдаты в Тамань.

А ему подписан пулей приговор.
Он лежит у кромки береговой,
он лежит на самой передовой:
ногами — в песок, к волне — головой.

Грязная волна наползет едва —
приподнимется слегка голова;
вспять волну прилив отнесет —
ткнется устало голова в песок.

Эй, волна! Перестань, не шамань:
не заманишь парня в Тамань...

Отучило время меня дома сидеть.
Научило время меня в прорезь глядеть.
Скоро ли — не скоро, на том ли берегу
я впервые выстрелил на бегу.

Отучило время от доброты:
атака, атака, охрипшие рты...
Вот и я гостинцы раздаю-раздаю...
Ты прости меня, мама, за щедрость мою.

* * *

На мне костюмчик серый-серый,
совсем как серая шинель.
И выхожу я на эстраду
и тихим голосом пою.

А люди в зале плачут-плачут —
не потому, что славен я,
и не меня они жалеют,
а им себя, наверно, жаль.

Жалейте, милые, жалейте,
пока жалеется еще,
пока в руке моей гитара,
а не тяжелый автомат.

Жалейте, будто бы в дорогу
вы провожаете меня...
На мне костюмчик серый-серый.
Он весь — как серая шинель.

* * *

Магическое «два». Его высоты,
его глубины... Как мне превозмочь?
Два соболя, два сокола, две сойки,
закаты и рассветы, день и ночь,
две матери, которым верю слепо,
две женщины, и, значит, два пути,
два вероятных выхода, два неба —

там, наверху, и у меня в груди.
И, залитый морями голубыми,
расколотый кружится шар земной...
...а мальчики торгуют голубями
по-прежнему. На площади Сенной.

Песенка про Черного кота

Со двора подъезд известный
под названьем «черный ход».
В том подъезде, как в поместье,
проживает Черный кот.

Он в усы усмешку прячет,
темнота ему как щит.
Все коты поют и плачут —
этот Черный кот молчит.

Он и звука не проронит —
только ест и только пьет,
грязный пол когтями тронет,
как по горлу проскребет.

Он давно мышей не ловит,
усмехается в усы,
ловит нас на честном слове,
на кусочке колбасы.

Он не требует, не просит,
желтый глаз его горит,

каждый сам ему выносит
и спасибо говорит.

Оттого-то, знать, не весел
дом, в котором мы живем...
Надо б лампочку повесить —
денег всё не соберем.

* * *

Б. Ахмадулиной

Рифмы, милые мои,
баловни мои, гордячки!
Вы — как будто соловьи
из бессонниц и горячки,
вы — как музыка за мной,
умопомраченья вроде,
вы — как будто шар земной,
вскрикнувший на повороте.

С вами я, как тот богач,
и куражусь и чудачу,
но из всяких неудач
выбираю вам удачу...
Я как всадник на коне
со склоненной головою...

Господи, легко ли мне?
Вам-то хорошо ль со мною?

* * *

Раскрываю страницы ладоней,
молчаливых ладоней твоих,
что-то светлое и молодое,
удивленное смотрит из них.

Я листаю страницы. Маячит
пережитое. Я как в плену.
Вот какой-то испуганный мальчик
сам с собою играет в войну.

Вот какая-то женщина плачет —
очень падают слезы в цене,
и какой-то задумчивый мальчик
днем и ночью идет по войне.

Я листаю страницы, листаю,
исступленно листаю листы:
пережитого громкие стаи,
как синицы, летят на кусты.

И уже не найти человека,
кто не понял бы вдруг на заре,
что погода двадцатого века
началась на арбатском дворе.

О, ладони твои всё умеют,
все, что было, читаю по ним,
и, когда мои губы немеют,
припадаю к ладоням твоим,

припадаю к ладоням горячим,
в синих жилках веселых тону...

Кто там плачет?
Никто там не плачет...
Просто дети играют в войну!

Три сестры

Опустите, пожалуйста, синие шторы.
Медсестра, всяких снадобий мне не готовь.
Вот стоят у постели моей кредиторы
молчаливые: Вера, Надежда, Любовь.

Раскошелиться б сыну недолгого века,
да пусты кошельки упадают с руки...
— Не грусти, не печалуйся, о моя Вера, —
остаются еще у тебя должники!

И еще я скажу и бессильно и нежно,
две руки виновато губами лоя:
— Не грусти, не печалуйся, мать Надежда, —
есть еще на земле у тебя сыновья!

Протяну я Любви ладони пустые,
покаянный услышу я голос ее:
— Не грусти, не печалуйся, память не стынет,
я себя раздарила во имя твое.

Но какие бы руки тебя ни ласкали,
как бы пламень тебя ни сжигал неземной,
в троекратном размере болтливость людская
за тебя расплатилась... Ты чист предо мной!

Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных,
белым флагом струится на пол простыня...
Три сестры, три жены, три судьи милосердных
открывают бессрочный кредит для меня.

Бумажный солдатик

Один солдат на свете жил,
красивый и отважный,
но он игрушкой детской был:
ведь был солдат бумажный.

Он переделать мир хотел,
чтоб был счастливым каждый,
а сам на ниточке висел:
ведь был солдат бумажный.

Он был бы рад — в огонь и в дым,
за вас погибнуть дважды,
но потешались вы над ним:
ведь был солдат бумажный.

Не доверяли вы ему
своих секретов важных,
а почему?

А потому,
что был солдат бумажный.

А он, судьбу свою кляня,
нетихой жизни жаждал.
И все просил: «Огня! Огня!» —
забыв, что он бумажный.

В огонь? Ну что ж, иди! Идешь?
И он шагнул однажды,
и там сгорел он ни за грош:
ведь был солдат бумажный.

* * *

О. Батраковой

...И когда под вечер над тобою
журавли охрипшие летят,
ситцевые женщины толпою
сходятся — затмить тебя хотят.

Молчаливы. Ко всему готовы.
Окружают, красотой соря...
Ситцевые, ситцевые, что вы!
Вы с ума сошли: она ж — своя!

Там, за поворотом Малой Бронной,
где окно распахнуто на юг,
за ее испуганные брови
десять пар непуганых дают.

Тех, которые ее любили,
навсегда связала с ней судьба.
И за голубями голубыми
больше не уходят ястреба.

Вот и мне не вырваться из плена.
Так кружиться мне, и так мне жить...

Я — алхимик.
Ты — моя проблема
вечная...
тебя не разрешить.

Джазисты

Ст. Рассадину

Джазисты уходили в ополчение,
цивильного не скинув облачения.
Тромбонов и чечеток короли
в солдаты необученные шли.

Кларнетов принцы, словно принцы крови,
магистры саксофонов шли, и, кроме,
шли барабанных палок колдуны
скрипучими подмостками войны.

На смену всем оставленным заботам
единственная зрела впереди,
и скрипачи ложились к пулеметам,
и пулеметы бились на груди.

Но что поделать, что поделать, если
атаки были в моде, а не песни?
Кто мог тогда их мужество учесть,
когда им гибнуть выпадала честь?

Едва затихли первые сраженья,
они рядком лежали. Без движенья.
В костюмах предвоенного шитья,
как будто притворяясь и шутя.

Редели их ряды и убывали.
Их убивали, их позабывали.
И все-таки под музыку земли
их в поминанье светлое внесли,

когда на пяточке земного шара
под майский марш, торжественный такой,
отбила каблуки, танцуя, пара
за упокой их душ. За упокой.

Арбатский дворик

...А годы проходят, как песни.
Иначе на мир я гляжу.
Во дворике этом мне тесно,
и я из него ухожу.

Ни почестей и ни богатства
для дальних дорог не прошу,
но маленький дворик арбатский
с собой уношу, уношу.

Ничего, что мы чужие, — вы рисуйте!
Я потом, что непонятно, объясню.

Песенка об Арбате

Ты течешь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое призвание.
Ты — и радость моя, и моя беда.

Пешеходы твои — люди не великие,
каблуками стучат — по делам спешат.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты — моя религия,
мостовые твои подо мной лежат.

От любви твоей вовсе не излечишься,
сорок тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое отечество,
никогда до конца не пройти тебя!

* * *

Над синей улицей портовой
всю ночь сияют маяки.
Откинув ленточки фартово,
всю ночь гуляют моряки.

Кричат над городом сирены,
и птицы крыльями шуршат,
и припортовые царевны
к ребятам временным спешат.

Ведь завтра, может быть, проститься
придут ребята, да не те...
Ах, море — синяя водица!
Ах, голубая канитель!

Его затихнуть не умолишь —
взметнутся щепками суда.
Земля надежнее, чем море, —
так почему же вы туда?

Волна соленая задушит —
ее попробуй упросить...
Эх, если б вам служить на суше
да только б ленточки носить!

* * *

А мы швейцару: «Отворите двери!
У нас компания веселая, большая,
приготовьте нам отдельный кабинет!»

А Люба смотрит: что за красота!
А я гляжу: на ней такая брошка!
Хоть напрокат она взята,
пускай потешится немножко.
А Любе вслед глядит один брюнет.
А нам плевать, и мы вразвалочку,
покинув раздевалочку,
идем себе в отдельный кабинет.

На нас глядят бездельники и шлюхи,
Пусть наши женщины не в жемчуге,
послушайте; пора уже,
кончайте ваши «ах» на сто минут.

Здесь тряпками попахивает так...
Здесь смотрят друг на друга сквозь червонцы...
Я не любитель всяких драк,
но мне сказать ему придется,
что я ему попорчу весь уют,
что наши девушки за денежки,
представь себе, паскудина брюнет,
они себя не продают.

* * *

Разлюбила меня женщина и ушла не спеша.
Кто знает, когда доведется опять с нею
встретиться...
А я-то предполагал, что земля — это шар...
Не с кем мне было тогда посоветоваться.

Старый пиджак

Ж. Б.

Я много лет пиджак ношу.
Давно потерялся и не нов он.
И я зову к себе портного
и перешить пиджак прошу.

Я говорю ему шутя:
«Перекроите все иначе.
Сулит мне новые удачи
искусство кройки и шитья».

Я пошутил. А он пиджак
серьезно так перешивает,
а сам-то все переживает:
вдруг что не так. Такой чудак.

Одна забота наяву
в его усердье молчаливом,
чтобы я выглядел счастливым
в том пиджаке. Пока живу.

Он представляет это так:
едва лишь я пиджак примерю —
опять в твою любовь поверю...
Как бы не так. Такой чудак.

* * *

О. Б.

Мы стоим — крестами руки —
безутешны и горды,
на окраине разлуки,
у околицы беды,
где, размеренный и липкий,
неподкупен ход часов,

и улыбки, как калитки,
запираем на засов.
Наступает час расплаты,
подступает к горлу срок...
Ненадежно мы распяты
на крестах своих дорог.

* * *

Г. В.

Тьмою здесь все занавешено
и тишина, как на дне...
Ваше величество женщина,
да неужели — ко мне?

Тусклое здесь электричество,
с крыши сочится вода.
Женщина, ваше величество,
как вы решились сюда?

О, ваш приход — как пожарище.
Дымно, и трудно дышать...
Ну, заходите, пожалуйста.
Что ж на пороге стоять?

Кто вы такая? Откуда вы?!
Ах, я смешной человек...
Просто вы дверь перепутали,
улицу, город и век.

Старый дом

Дом предназначен на слом. Извините,
если господствуют пыль в нем и мрак.
Вы в колокольчик уже не звоните.
Двери распахнуты. Можно и так.

Всё здесь в прошедшем, в минувшем и бывшем.
Ночь неспроста тишину созвала.
Серые мыши, печальные мыши
все до единой ушли со двора.

Где-то теперь собралось их кочевье?
Дом предназначен на слом. Но сквозь тьму,
полно таинственного значенья,
что-то еще шелестит по нему.

Мел осыпается. Ставенька стонет.
Двери надеются на визит.
И удивленно качается столик.
И фотокарточка чья-то висит.

И, припорошенный душною пылью,
помня еще о величье своем;
дом шевелит пожелтевшие крылья
старых газет, поселившихся в нем.

Дом предназначен на слом. Значит, кроме
не улыбнется ему ничего.
Что ж мы с тобой позабыли в том доме?
Или не все унесли из него?

Может быть, это ошибка? А если
это ошибка? А если — она?..
Ну-ка, гурьбой соберемся в подъезде,
где, замирая, звенит тишина!

Ну-ка, взбежим по ступенькам знакомым!
Ну-ка, для успокоенья души
крикнем, как прежде: «Вы дома?.. Вы дома?!»
Двери распахнуты. И ни души.

Черный «мессер»

Вот уже который месяц
и уже который год
прилетает черный «мессер» —
спать спокойно не дает.

Он в окно мое влетает,
он по комнате кружит,
он как старый шмель рыдает,
мухой пойманной жужжит.

Грустный летчик как курортник...
Его темные очки
прикрывают, как намордник,
его томные зрачки.

Каждый вечер, каждый вечер
у меня штурвал в руке,
я лечу к нему навстречу
в довоенном «ястребке».

Каждый вечер в лунном свете
торжествует мощь моя:
я, наверное, бессмертен —
он сдастся, а не я.

Он пробоинами мечен,
он сгорает, подожден,
но приходит новый вечер,
и опять кружится он.

И опять я вылетаю,
побеждаю, и опять
вылетаю, побеждаю...
Сколько ж можно побеждать?

* * *

Я жалею собак с нашей улицы:
очень грустно сидеть на цепи...
Все они белозубы и умницы,
только им не хватает степи!

Песенка о Сокольниках

По Сокольникам листья летят золотые,
а за Язу — лето летит.
Мы с тобою, Володя, почти молодые —
нам и старость в глаза не глядит.

Ну давай,
 как в канун годового отчета,
не подумав заняться другим,
мы положим на стол канцелярские счета
и ударим по струнам тугим.

И разлукой, и кровью, и хлебом мякинным,
и победой помянем войну:
пять печальных костяшек
 налево откинем,
а счастливую — только одну.

Все припомним, сочтем и учтем,
 и, конечно,
непохожи на сказку и бред,
побегут под рукой
 за колечком колечко
цвета радостей наших и бед.

Ах, потери, потери — с кого мы их спросим?
Потому,
 разобравшись во всем,
два печальных колечка налево отбросим,
три веселых направо снесем.

...По Сокольникам сумерки сыплются синим,
и домишки старинные спят.
Навсегда нам с тобою, Володя Максимов,
Каждый шорох за окнами свят.

И у самого порога, где кончается дорога,
веселился, и кружился, и плясал хмельной
немного
лист осенний, лист багряный, лист
с нелепою резьбой...
В час, когда печальный ястреб вылетает
на разбой.

По Смоленской дороге

Ж. Б.

По Смоленской дороге — леса, леса, леса.
По Смоленской дороге — столбы, столбы,
столбы.
Над Смоленской дорогою, как твои глаза, —
две вечерних звезды — голубых моих судьбы.

По Смоленской дороге — метель в лицо,
в лицо,
всё нас из дому гонят дела, дела, дела.
Может, будь понадежнее рук твоих кольцо —
покороче б, наверно, дорога мне легла.

По Смоленской дороге — леса, леса, леса.
По Смоленской дороге — столбы гудят, гудят.
На дорогу Смоленскую, как твои глаза,
две холодных звезды голубых глядят, глядят.

Дежурный по апрелю

Ах, какие удивительные ночи!
Только мама моя в грусти и тревоге:
— Что же ты гуляешь, мой сыночек,
одиноким,
одиноким? —
Из конца в конец апреля путь держу я.
Стали звезды и круглее и добрее...
— Мама, мама, это я дежурю,
я — дежурный
по апрелю!

— Мой сыночек, вспоминаю все, что было,
стали грустными глаза твои, сыночек...
Может быть, она тебя забыла,
знать не хочет?
Знать не хочет? —
Из конца в конец апреля путь держу я.
Стали звезды и круглее и добрее...
— Что ты, мама! Просто я дежурю,
я — дежурный
по апрелю...

О кузнечиках

Два кузнечика зеленых в траве,
накупившись, сидят.
Над ними синие туманы во все стороны
летят.

Под ними красные цветочки и золотые лопухи...
Два кузнечика зеленых пишут белые стихи.

Они перышки макают в облака и молоко,
чтобы белые их строчки было видно далеко,
и в затылках дружно чешут, каждый лапкой
шевелит,
Но заглядывать в работу один другому не велит.

К ним бежит букашка божья, бедной
барышней бежит,
но у них к любви и ласкам что-то сердце
не лежит.

К ним и прочие соблазны подбираются, тихи,
но кузнечики не видят — пишут белые стихи.

Снег их бьет, жара их мучит, мелкий дождичек
кропит,
шар земной на повороте отвратительно скрипит...
Но меж летом и зимою, между счастьем и бедой
прорастает неизменно вещей смысл работы той,
и сквозь всякие обиды пробиваются в века
хлеб (поэма), жизнь (поэма), ветка тополя
(строка)...

* * *

Когда известный русский царь в своей
поддевочке короткой,
усмешкой странной на губах и журавлиною
походкой

Песенка о московских ополченцах

Над нашими домами разносится набат,
и затемнение улицы одело.
Ты научи любви, Арбат,
а дальше — дальше наше дело.

Гляжу на двор арбатский, надежды не тая,
вся жизнь моя встает перед глазами.
Прощай, Москва, душа твоя
всегда, всегда пребудет с нами!

Расписки за винтовки с нас взяли писаря,
но долю себе выбрали мы сами...
Прощай, Москва, душа твоя
всегда, всегда пребудет с нами!

Гитара

Усталость ноги едва волочит,
гитара корчится под рукой.
Надежда голову мне морочит,
а дождь сентябрьский льет такой...

Мы из компании. Мне привычны
и дождь и ветер, и дождь и ты.
Пуškai болтают, что не типичны
в двадцатом веке твои черты.

завьется, как в половодье
ручей,
то почудится на гостиничной койке,
то согреет на попутном
лихаче.

Всё пройдет, а оно останется,
всё утихнет, а оно —
нет...

«До свиданьица,
до свиданьица» —
до конца твоих лет вослед.

Колокол

С. Наровчатову

Ударил колокол по свету.
Поэт прочел веселый стих.
А ты почувствовал, что нету
еще десятка лет твоих.

А ты на ветер не бросал их,
они в анкете учтены...
Ах, на каком таком базаре
отдал ты их за полцены?

Отдал куда — и не заметил,
отдал кому — и не спросил...
Ударил колокол, как ветер,
как первый грач крылом косым.

Он бил легко и неустанно.
А где-то стало вдруг теплей,
кому-то вдруг светлее стало
от тихой щедрости твоей.

* * *

В саду Нескучном тишина.
Встает рассвет светло и строго.
А женщину зовут Дорога...
Какая дальняя она!

Песенка о московском трамвае

Раскрасавец двадцатых годов,
позабывший про старость и раны,
он и нынче, представьте, готов
нам служить неустанно.

Он когда-то гремел и блистал,
на него любоваться ходили.
А потом он устал и отстал,
и его позабыли.

По проспектам бежать не дают,
в переулках дожить разрешают,
громких песен о нем не поют,
со смешком провожают.

Но по улицам, через мосты
он бежит, дребезжит и бодрится.
И с горячей ладони Москвы
все сойти не решится.

* * *

Допеты все песни. И точка.
И хватит, и хватит о том.
Ну, может, какая-то строчка
осталась еще за бортом.

Над нею кружатся колеса,
но, даже когда не свернуть,
наивна и простоволоса,
она еще жаждет сверкнуть.

Надейся, надейся, голубка,
свои паруса пораскинь,
ты, хрупкая, словно скорлупка,
по этим морям городским.

Куда тебя волны ни бросят,
на помощь теперь не зови.
С тебя ничего уж не спросят:
как хочется — так и плыви,
подобна мгновенному снимку,
где полночь и двор в серебре,
и мальчик с гитарой в обнимку
на этом арбатском дворе.

* * *

Всю ночь кричали петухи
и шеями мотали,
как будто новые стихи,
закрыв глаза, читали.

Но было что-то в крике том
от едкой той кручины,
когда, согнувшись, входят в дом
постылые мужчины.

И был тот крик далек-далек,
и падал так же мимо,
как гладят, глядя в потолок,
чужих и нелюбимых.

Когда ласкать уже невмочь
и отказаться трудно...
И потому всю ночь, всю ночь
не наступало
утро.

Песенка веселого солдата

Возьму шинель, и вещмешок, и каску,
в защитную окрашенные краску.
Ударю шаг по улицам горбатым...
Как просто быть солдатом, солдатом.

Забуду все домашние заботы.
Не надо ни зарплаты, ни работы.
Иду себе, играю автоматом...
Как просто быть солдатом, солдатом.

А если что не так — не наше дело:
как говорится, «родина велела».
Как славно быть ни в чем не виноватым
совсем простым солдатом, солдатом.

Песенка о пехоте

Простите пехоте,
что так неразумна бывает она:
всегда мы уходим,
когда над землею бушует весна.
И шагом неверным
по лестничке шаткой спасения нет.
Лишь белые вербы,
как белые сестры, глядят тебе вслед.

Не верьте погоде,
когда затяжные дожди она льет.
Не верьте пехоте,
когда она бравые песни поет.
Не верьте, не верьте,
когда по садам закричат соловьи:
у жизни и смерти
еще не окончены счета свои.

Нас время учило:
живи по-походному, дверь отворя...
Товарищ мужчина,
а все же заманчива доля твоя:
весь век ты в походе,
и только одно отрывает от сна:
чего ж мы уходим,
когда над землею бушует весна?

Шарманка-шарлатанка

Е. Евтушенко

Шарманка-шарлатанка, как сладко ты поешь!
Шарманка-шарлатанка, куда меня зовешь?
Шагаю еле-еле, вершок за пять минут.
Ну как дойти до цели, когда ботинки жмут?

Работа есть работа. Работа есть всегда.
Хватило б только пота на все мои года.
Расплата за ошибки — она ведь тоже труд.
Хватило бы улыбки, когда под ребра бьют.

Часики

Купил часы на браслетке я.
Ты прощай, моя зарплата последняя.
Вижу слезы жены — нету в том моей вины:
это в дверь постучались костяшки войны.

А часики тикают, тикают, тикают,
тикают ночи и дни,
и тихую, тихую, тихую, тихую
жизнь мне пророчат они.

Вот закончилось, значит, сражение.
Вот лежу я в траве без движения.
Голова моя в огне, и браслетка при мне,
а часы как чужие стучат в стороне...

Всё тикают, тикают, тикают, тикают,
тикают ночи и дни,
и тихую, тихую, тихую, тихую
жизнь мне пророчат они.

* * *

Шла война к тому Берлину,
шел солдат на тот Берлин.
Матушка, не плачь по сыну:
у тебя счастливый сын.

Шел не медленно, не быстро,
не жалел солдатских ног.
Матушка, ударил выстрел,
покачнулся твой сынок.

Опрокинулся на спину
и застыл среди осин...
Матушка, поплачь по сыну:
у тебя счастливый сын.

Чудесный вальс

Ю. Левитанскому

Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс.
Он наигрывает вальс то ласково, то страстно.
Что касается меня, то я опять гляжу на вас,
а вы глядите на него, а он глядит в пространство.

Целый век играет музыка. Затянулся наш пикник.
Тот пикник, где пьют и плачут, любят и бросают.
Музыкант приник губами к флейте. Я бы
к вам приник!
Но вы, наверно, тот родник, который не спасает.

А музыкант играет вальс. И он не видит ничего.
Он стоит, к стволу березовому прислонясь
плечами.
И березовые ветки вместо пальцев у него,
а глаза его березовые строги и печальны.

А перед ним стоит сосна, вся в ожидании весны.
А музыкант вращается в землю... Звуки вальса
льются...
И его худые ноги как будто корни той сосны —
они в земле переплетаются, никак не расплетутся.

Целый век играет музыка. Затянулся наш роман.
Он затянулся в узелок, горит он — не сгорает...
Ну давайте ж успокоимся! Разойдемся по домам!..
Но вы глядите на него... А музыкант играет.

В Барабанном переулке

В Барабанном переулке барабанщики живут.
Поутру они как встанут, барабаны
как возьмут,
как ударят в барабаны, двери настезь
отворя...
Где же, где же, барабанщик, барабанщица
твоя?

В Барабанном переулке барабанщиц нет,
хоть плачь.
Лишь грохочут барабаны ненасытные,
хоть прячь.
То ли утренние зори, то ль вечерняя заря...
Где же, где же, барабанщик, барабанщица
твоя?

Барабанщик пестрый бантик к барабану
привязал,
барабану бить побудку, как по буквам,
приказал
и пошел по переулку, что-то в сердце затая...
Где же, где же, барабанщик, барабанщица
твоя?

А в соседнем переулке барабанщицы живут
и, конечно, в переулке очень добрыми слывут,
и за ними ведь не надо отправляться за моря...
Где же, где же, барабанщик, барабанщица
твоя?!

Александр Сергеевич

С. П. Щипачеву

Не представляю Пушкина без падающего снега,
бронзового Пушкина, что в плащ укрыт.
Когда снежинки белые посыплются с неба,
мне кажется, что бронза тихо звенит.

Не представляю родины без этого звона.
В сердце ее он успел врасти,
как его поношенный сюртук зеленый,
железная трость и перо — в горсти.

Звени, звени, бронза. Вот так и согреешься.
Падайте, снежинки, на плечи ему...
У тех — всё утечи, у этих — всё зрелища,
а Александра Сергеевича ждут в том доме.

И пока, на славу устав надеяться,
мы к благополучию спешим нелегко,
там гулять готовятся господа гвардейцы,
и к столу скликает «Вдова Клико»,

там напропалую, как перед всем светом,
как перед любовью — всегда правы...
Что ж мы осторожничаем? Мудрость не в этом.
Со своим веком можно ль на «вы»?

По Пушкинской площади плещут страсти,
трамвайные жаворонки, грех и смех...

Да не суетитесь вы! Не в этом счастье...
Александр Сергеич помнит про всех.

Отрада

В будни нашего отряда,
в нашу окопную семью
девочка по имени Отрада
принесла улыбку свою.

И откуда на переднем крае,
где даже земля сожжена,
тонких рук доверчивость такая
и улыбки такая тишина?

Пусть, пока мы шагом тяжелым
проходим по улице в бой,
редкие счастливые жены
над ее злословят судьбой.

Ты клянись, клянись, моя рота,
самой высшей клятвой войны:
перед девочкой с Южного фронта
нет в нас ни грамма вины.

И всяких разговоров отрава,
заливайся воронкою вслед...
Мы идем на запад, Отрада,
а греха перед пулями нет.

Песенка про дураков

Вот так и ведется на нашем веку:
на каждый прилив по отливу,
на каждого умного по дураку,
все поровну, все справедливо.

Но принцип такой дуракам не с руки:
с любых расстояний их видно.
Кричат дуракам: «Дураки! Дураки!..»
А это им очень обидно.

И чтоб не краснеть за себя дураку,
чтоб каждый был выделен, каждый,
на каждого умного по ярлыку
повешено было однажды.

Давно в обиходе у нас ярлыки
по фунту на грошик на медный.
И умным кричат: «Дураки! Дураки!»
А вот дураки незаметны.

* * *

Когда затихают оркестры Земли
и все музыканты ложатся в постели,
по Сивцеву Вражку проходит шарманка —
смешной, отставной, одноногий солдат.

Представьте себе: от ворот до ворот,
в ночи наши жесткие души тревожа,
по Сивцеву Вражку проходит шарманка,
когда затихают оркестры Земли.

* * *

Земля изрыта вкривь и вкось.
Ее, сквозь выстрелы и пенье,
я спрашиваю: «Как терпенье?
Хватает? Не оборвалось —
выслушивать все наши бредни
о том, кто первый, кто последний?»

Она мне шепчет горячо:
«Я вас жалею, дурачье.
Пока вы топчетесь в крови,
пока друг другу глотки рвете,
я вся в тревоге и в заботе.
Изнемогаю от любви.

Зерно спалите — морем трав
взойду над мором и разрухой,
чтоб было чем наполнить брюхо,
покуда спорите, кто прав...»

Мы все — трибуны, смельчаки,
все для свершений народились,
а для нее — озорники,
что попросту от рук отбились.

Мы для нее как детвора,
что средь двора друг друга валит
и всяк свои игрушки хвалит...
Какая глупая игра!

Музыка

Симону Чиковани

Вот ноты звонкие органа
то порознь вступают, то вдвоем,
и шелковые петельки аркана
на горле стягиваются моем.

И музыка передо мной танцует гибко.
И оживает все до самых мелочей:
пылинки виноватая улыбка
так красит глубину ее очей!

Ночной комар, как офицер гусарский, тонок,
и женщина какая-то стоит,
прижав к груди стихов каких-то томик,
и на колени падает старик,

и каждый жест велик, как расстоянье,
и веточка умершая жива, жива...
И стыдно мне за мелкие мои старанья
и за непоправимые слова.

...Вот сила музыки. Едва ли
поспоришь с ней бездумно и легко,

как будто трубы медные зазвали
куда-то горячо и далеко...

И музыки стремительное тело
плывет, кричит неведомо кому:
«Куда вы все?! Да разве в этом дело?!»
А в чем оно? Зачем оно? К чему?!!

...Вот черт, как ничего не надоело!

* * *

В чаду кварталов городских,
среди несметных толп людских
на полдороге к раю
звучит какая-то струна,
но чья она, о чем она,
кто музыкант — не знаю.

Кричит какой-то соловей
отличных городских кровей,
как мальчик, откровенно:
«Какое счастье — смерти нет!
Есть только тьма и только свет —
всегда попеременно».

Столетия строгого дитя,
он понимает не шутя,
в значении высоком:
вот это — дверь, а там — порог,

за ним — толпа, над ней — пророк
и слово — за пророком.

Как прост меж тьмой и светом спор!
И счастлив я, что с давних пор
все это принимаю.
Хотя, куда ты ни взгляни,
кругом пророчества одни,
а кто пророк — не знаю.

Главная песенка

Наверное, самую лучшую
на этой земной стороне
хожу я и песенку слушаю —
она шевельнулась во мне.

Она еще очень неспетая.
Она зелена, как трава.
Но чудится музыка светлая,
и строго ложатся слова.

Сквозь время, что мною не пройдено,
сквозь смех наш короткий и плач
я слышу: выводит мелодию
какой-то грядущий трубач.

Легко, необычно и весело
кружит над скрещеньем дорог
та самая главная песенка,
которую спеть я не смог.

Старый король

В поход на чужую страну собирался король.
Ему королева мешок сухарей насушила
и старую мантию так аккуратно зашила,
дала ему пачку махорки и в тряпочке соль.

И руки свои королю положила на грудь,
сказала ему, обласкав его взором лучистым:
«Получше их бей, а не то прослывешь
пацифистом,
и пряников сладких отнять у врага не забудь!»

И видит король — его войско стоит средь двора:
пять грустных солдат, пять веселых солдат
и ефрейтор.

Сказал им король: «Не страшны нам
ни пресса, ни ветер!
Врага мы побьем и с победой придем, и ура!»

И вот отгремело прощальных речей торжество.
В походе король свою армию переиначил:
веселых солдат интендантами сразу назначил,
а грустных оставил в солдатах — авось ничего.

Представьте себе, наступили победные дни.
Пять грустных солдат не вернулись
из схватки военной,
ефрейтор, морально нестойкий, женился
на пленной,
но пряников целый мешок захватили они.

2

Строгая женщина в строгих очках
мне рассказывает о сверчках,
о том, как они свои скрипки
на протянутых носят руках,
о том, как они понемногу,
едва за лесами забрезжит зима,
берут свои скрипки с собою в дорогу
и являются в наши дома.

Мы берем их пальто, приглашаем к столу
и признательные расточаем улыбки,
но они очень скромно садятся в углу,
извлекают свои допотопные скрипки,
расправляют помятые сюртучки,
поднимают над головами смычки,
распрямляют свои вдохновенные усики...
Что за дом, если в нем не пригреты сверчки
и не слышно их музыки!...

Строгая женщина щурится из-под очков,
по столу громоздит угощение...
Вот и я приглашаю заезжих сверчков
за приличное вознаграждение.
Я помятые им вручаю рубли,
их рассаживаю по чину и званию,
и играют они вечный вальс по названию:
«Может быть, наконец, повезет мне в любви...»

со своею улыбочкою иронической...
А в костре настоящие сосны горят!

4

Вокзал прощанье нам прокличет,
и свет зеленый расцветет,
и так легко до неприличья
шлагбаум руки разведет.

Не буду я кричать и клясться,
в лицо заглядывать судьбе...
Но дни и версты будут красться
вдоль окон поезда, к тебе.
И лес, и горизонт далекий,
и жизнь, как паровозный дым,
всё — лишь к тебе, как те дороги,
которые когда-то в Рим.

Два великих слова

Не пугайся слова «кровь» —
кровь, она всегда прекрасна,
кровь ярка, красна и страстна,
«кровь» рифмуется с «любовь».

Этой рифмы древний лад!
Разве ты не клялся ею,
самой малостью своею,
чем богат и не богат?

Жар ее неотвратим...
Разве ею ты не клялся
в миг, когда один остался
с вражьей пулей на один?

И когда упал в бою,
эти два великих слова,
словно красный лебедь, снова
прокричали песнь твою.

И когда пропал в краю
вечных зим, песчинка словно,
эти два великих слова
прокричали песнь твою.

Мир качнулся. Но опять
в стуже, пламени и бездне
эти две великих песни
так слились, что не разнять.

И не верь ты докторам,
что для улучшения крови
килограмм сырой моркови
нужно кушать по утрам.

* * *

Оле

Я никогда не витал, не витал
в облаках, в которых я не витал,
и никогда не видал, не видал

городов, которых я не видал.
И никогда не лепил, не лепил
кувшин, который я не лепил,
и никогда не любил, не любил
женщин, которых я не любил...

Так что же я смею? И что я могу?
Неужто лишь то, чего не могу?
И неужели я не добегу
до дома, к которому я не бегу?
И неужели не полюблю
женщин, которых не полюблю?
И неужели не разрублю
узел, который не разрублю,
узел, который не развяжу,
в слове, которого я не скажу,
в песне, которую я не сложу,
в деле, которому не послужу...
в пуле, которую не заслужу?..

Четыре года

С. Орлову

Четвертый год подряд
война — твой дом, солдат.
Но хватит, отгудела непогода.
Есть дом другой —
там ждут и там не спят
четыре года, четыре года.

Здесь словно годы дни,
а там в окне — огни
горят, не позабытые в походах...
Когда б вам знать,
как мне нужны они —
четыре года, четыре года!

Когда кругом темно,
светлей твое окно...
Пора, пора, усталая пехота!
Есть много слов,
но я храню одно
четыре года, четыре года.

Ленинградская музыка

Пока еще звезды последние не отгорели,
вы встаньте, вы встаньте с постели,
сойдите к дворам,
туда, где — дрова, где пестреют мазки
акварели...
И звонкая скрипка Растрелли послышится
вам.

Неправда, неправда, все — враки,
что будто бы старят
старанья и годы! Едва вы очутитесь тут,
как в колокола купола золотые ударят,
колонны горластые трубы свои задерут.

Веселую полночь люби — да на утро надейся...
Когда ни грехов и ни горестей не отмолить,
качаясь, игла опрокинется с Адмиралтейства
и в сердце ударит, чтоб старую кровь отворить.

О, вовсе не ради парада, не ради награды,
а просто для нас, выходящих с зарей из ворот,
гремят барабаны гранита, кларнеты ограды
свистят менуэты... И улица Росси поет!

Как я сидел в кресле царя

Век восемнадцатый. Актеры
играют прямо на траве.
Я — Павел Первый, тот, который
сидит России во главе.

И полонезу я внимаю,
и головою в такт верчу,
по-царски руку поднимаю,
но вот что крикнуть я хочу:

«Срывайте тесные наряды!
Презренье хрупким каблукам...
Я отменяю все парады...
Чешите все по кабакам...
Напейтесь все, переженитесь
кто с кем желает, кто нашел...
А ну, вельможи, оглянитесь!
А ну-ка денежки на стол!..»

И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя...
Но нет, нельзя. Я ж — Павел Первый.
Мне бунт устраивать нельзя.

И снова полонеза звуки.
И снова крикнуть я хочу:
«Ребята, наострите руки,
вам это дело по плечу:
смахнем царя... Такая ересь!
Жандармов всех пошлем к чертям —
мне самому они приелись...
Я поведу вас сам... Я сам...»

И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя...
Но нет, нельзя. Я ж — Павел Первый.
Мне бунт устраивать нельзя.

И снова полонеза звуки.
Мгновение — и закричу:
«За вашу боль, за ваши муки
собой пожертвовать хочу!
Не бойтесь, судей не жалейте,
иначе — всем по фонарю.
Я зрю сквозь целое столетье...
Я знаю, что я говорю!»

И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя...
Да мне ж нельзя. Я — Павел Первый.
Мне бунтовать никак нельзя.

* * *

Затихнет шрапнель, и начнется апрель.
На прежний пиджак поменяю шинель.
Вернутся полки из похода.
Хорошая нынче погода.

Хоть сабля сечет, да и кровь все течет —
брехня, что у смерти есть точный расчет,
что где-то я в поле остался...
Назначь мне свиданье, Настасья.

Все можно пройти, и все можно снести,
а если погибнуть — надежду спасти,
а выжить — как снова родиться...
Да было б куда воротиться.

В назначенный час проиграет трубач,
что есть нам удача среди всех неудач,
что все мы еще молодые,
и крылья у нас золотые.

* * *

Он, наконец, явился в дом,
где она сто лет вздыхала о нем,
куда он сам сто лет спешил:
ведь она так решила и он решил.

Клянусь, что это любовь была.
Посмотри — ведь это ее дела.

Но, знаешь, хоть Бога к себе призови,
все равно ничего не понять в любви.

И поздний дождь в окно стучал,
и она молчала, и он молчал,
и он повернулся, чтобы уйти,
и она не припала к его груди.

Я клянусь, что и это любовь была.
Посмотри — ведь это ее дела.
Но, знаешь, хоть Бога к себе призови,
все равно ничего не понять в любви.

* * *

Нацеленный глаз одинокого лося.
Рога в серебре, и копыта в росе.
А красный автобус вдоль черного леса,
как заяц, по белому лупит шоссе.

Шофер молодую кондукторшу любит.
Ах, только б автобус дошел невредим...
Горбатых снопов золотые верблюды
прямо и долго шагают за ним.

Шагают столбы по-медвежьи, враскачку,
друг друга ведут, как коней, в поводах,
и птичка какая-то, словно циркачка,
шикарно качается на проводах.

А лес раскрывает навстречу ворота,
и ветки ладонями бьют по лицу.
Кондукторша ахает на поворотах:
ах, ей непривычно с мужчиной в лесу!

Сигнал повисает далекий-далекий.
И смотрят прохожие из-под руки:
там красный автобус на белой дороге,
у черного леса, у синей реки.

Божественное

Когда с фронтона Большого театра,
подковами бронзовыми звеня,
стремительно скатывается квадрага
и мчится в сумерках на меня,
я вижу бег ее напряженный,
она — уже рядом, невдалеке,
там — белокурый Бог обнаженный,
вьюгой февральскою обожженный,
с поводом ненадежным в руке
изгибается на передке.

Стужей февраль пропах и бензином.
Квадрига все ускоряет бег
по магазинам, по магазинам
мимо троллейбусов, через снег,
чтобы под дикий трезвон уздечки
прочно припасть на все времена
к розовым россыпям сытной гречки,

к материкам золотого пшена,
чтоб со сноровкою самой будничной
и с прилежанием на челе
меж пьедесталом своим и булочной
в уличной кружить толчее...

С Духом Святым и Отцом и Сыном
по магазинам... по магазинам...

Храмули

Храмули — серая рыбка с белым брюшком.
А хвост у нее как у кильки, а нос — пирожком.
И чудится мне, будто брови ее взметены
и к сердцу ее все на свете крючки сведены.

Но если взглядеться в извилины жесткого дна —
счастливой подковкою там шевелится она.
Но если всмотреться в движение чистой струи —
она как обрывок еще не умолкшей струны.
И если внимательно вслушаться, оторопев, —
у песни бегущей воды эта рыбка — припев.

На блюде простом, пересыпана пряной травой,
лежит и кивает она голубой головой.
И нужно достойно и точно ее оценить,
как будто бы первой любовью себя осенить.

Потоньше, потоньше колите на кухне дрова,
такие же тонкие, словно признаний слова!

Когда окончится день,
я поклонюсь всем богам...
Спасибо тебе, Олень,
твоим ветвистым рогам,
мясу сладкому твоему,
побуревшему в огне и в дыму...
О Олень, не дрогнет моя рука,
твой дух торопится ко мне под крышу...
Спасибо, что ты не знаешь моего языка
и твоих проклятий я не расслышу!
О, спасибо тебе, расстояние, что я
не увидел оленьих глаз,
когда он угас!..

2. Гончар

Красной глины беру прекрасный ломоть
и давить начинаю его, и ломать,
плоть его мять, и месить, и молоть...
И когда остановится гончарный круг,
на красной чашке качнется вдруг
желтый бык — отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий, поющий последний стих,
две красотки зеленых, пять рыб голубых...

Царь, а царь, это рыбы раба твоего,
бык раба твоего... Больше нет у него ничего.
Черный нищий, поющий во имя его,
от обид обалдевшего раба твоего.

Царь, а царь, хочешь, будем вдвоем рисковать:
ты башкой рисковать, я тебя рисовать?
Вместе будем с тобою озоровать:
Бога — побоку, бабу — под бок, на кровать?!

Царь, а царь, когда ты устанешь из золота есть,
вели себе чашек моих принести,
где желтый бык — отпечаток с моей руки,
серый аист, пьющий из белой реки,
черный нищий, поющий последний стих,
две красотки зеленых, пять рыб голубых...

3. Раб

Один шажок
и другой шажок,
а солнышко село...
О господин,
вот тебе стожок
и другой стожок
доброго сена!
И все стога
(ты у нас один)
и колода меда...
Пируй, господин,
до нового года!
Я амбар — тебе,
а пожар — себе...
Я рвань,
я дрянь,

меня жалеть опасно.
А ты живи праздно:
сам ешь, не давай никому...
Пусть тебе — прекрасно,
госпоже — прекрасно,
холуям — прекрасно,
а плохо пусть —
топору твоему!

* * *

Человек стремится в простоту,
как небесный камень — в пустоту,
медленно сгорает
и за предпоследнюю черту
нехотя взирает,
но во глубине его очей,
будто бы во глубине ночей,
что-то назревает.

Время изменяет его внешность.
Время усмиряет его нежность,
словно пламя спички на мосту,
гасит красоту.

Человек стремится в простоту
через высоту.
Главные его учителя —
Небо и Земля.

Эта комната

К. Г. Паустовскому

Люблю я эту комнату,
где розовеет вереск
в зеленом кувшине.
Люблю я эту комнату,
где проживает ересь
с богами наравне.

Где в этом, только в этом
находят смысл
и ветром
смывают гарь и хлам,
где остро пахнет веком
четырнадцатым
с веком
двадцатым пополам.

Люблю я эту комнату
без драм и без расчета...
И так за годом год
люблю я эту комнату,
что, значит, в этом что-то,
наверно, есть, но что-то —
и в том, чему черед.

Где дни, как карты, смешивая —
грядущий и начальный,
что жив и что угас, —
я вижу, как насмешливо,

а может быть, печально
глядит она на нас.

Люблю я эту комнату,
где даже давний берег
так близок — не забыть...
Где нужно мало денег,
чтобы счастливым быть.

Оле

Ты — мальчик мой, мой белый свет,
оруженосец мой примерный.
В круговороте дней и лет
какие ждут нас перемены?

Какие примут нас века?
Какие смехом нас проводят?...
Живем как будто в половодье...
Как хочется наверняка!

Тиль Уленшпигель

Красный петух. Октябрь золотой.
Тополь серебряный.
Разве есть что на свете их перьев,
и листьев, и пуха целебнее?
Нужно к ранам (вот именно) к свежим
(естественно) их приложить...

Если свежие раны, конечно, вы успели
уже заслужить.

Это пестрое, шумное, страстное нужно
с рассвета и затемно
собирать, и копить, и ценить, и хранить
обязательно,
чтобы к ранам (вот именно) к свежим
(естественно) их приложить...
если свежие раны, конечно, вы успели
уже заслужить.

Как трудны эти три работенки: Надежда,
Любовь и Пристрастие.
Оттого-то, наверно, и нет на земле
работенки прекраснее.
Вот и самые свежие раны неустанно
дымятся во мне...
Потому что всегда и повсюду только
свежие раны в цене.

Счастливчик Пушкин

Александрю Сергеичу хорошо!
Ему прекрасно!
Гудит мельничное колесо,
боль угасла,

баба щурится из избы,
в небе — жаворонки,

только десять минут езды
до ближней ярмарки.

У него ремесло первый сорт
и перо остро.
Он губаст и учен как черт,
и все ему просто:

жил в Одессе, бывал в Крыму,
ездил в карете,
деньги в долг давали ему
до самой смерти.

Очень вежливы и тихи,
делами замученные,
жандармы его стихи
на память заучивали!

Даже царь приглашал его в дом,
желая при этом
потрепаться о том о сем
с таким поэтом.
Он красивых женщин любил
любовью не чинной,
и даже убит он был
красивым мужчиной.

Он умел бумагу марать
под треск свечки!
Ему было за что умирать
у Черной речки.

Житель Хевсуретии и белый корабль

Агафон Ардезиани, где ж твоя чоха?
Пьешь кефир в кафе, и кофе пьешь,
и вновь — работа...

А затея на бумаге, как строка стиха,
так строга и так тиха под каплями пота.

Ты корабль рисуешь белый, грубый человек!
Ты проводишь кистью белой по бумаге белой.
Час проходит, как мгновенье,
два мгновенья — век,
каждый взмах руки и кисти стоит жизни целой.

Горец бредит кораблями: руки — в якорях.
Тянет тиною от пашен, песен и подушек.
Ходит в булочниках лекарь, пекарь —
в токарях.
Сто дорог с собою кличут — одна из них душит.

Белый-белый, как береза, борт у корабля.
Белый, как перо у чайки. Он воды коснется...
Чей-то сын веселый утром встанет у руля:
«Ты прощай, земля!..» — и рыба под водой
проснется.

Сядет твой отец убитый в тот корабль живой.
Капитан команду вскрикнет. И на утре раннем
побегут барашки белые над самой головой
вслед надеждам, вслед тревогам,
вслед воспоминаньям.

* * *

Мой город засыпает. А мне-то что с того?
Я был его ребенком, я нянькой был его,
я был его рабочим, его солдатом был...
Он слишком удивленно всегда меня любил.
Он слишком отчужденно мне руку подавал,
по будням меня помнил, а в праздник забывал.

И если я погибну, и если я умру,
проснется ли мой город с печалью поутру?
Пошлет ли на кладбище перед заходом дня
своих счастливых женщин оплакивать меня?

...Но с каждым днем все чище, все злей
его люблю
и из своей любви богов своих леплю.
Мне ничего не надо, и сожалений нет:
со мной моя гитара и пачка сигарет.

* * *

Б. Слуцкому

Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.

Март великодушный

У отворённых у ворот лесных,
откуда пахнет сыростью, где звуки
стекают по стволам, стоит лесник,
и у него — мои глаза и руки.

А лесу платья старые тесны.
Лесник качается на качкой кочке
и все старается не прозевать весны
и первенца принять у первой почки.

Он наклоняется — помочь готов,
он вслушивается, лесник тревожный,
как надрывается среди стволов
какой-то стебелек неосторожный.

Давайте же не будем обижать
сосновых бабок и еловых внучек,
пока они друг друга учат,
как под открытым небом март рожать!

Все снова выстроить — нелегкий срок,
как зиму выстоять, хоть и знакома...
И почве выстрелить свой стебелек,
как рамы выставить хозяйке дома...

...Лес не кончается. И под его рукой
лесник качается, как лист послушный...
Зачем отчаиваться, мой дорогой?
Март намечается великодушный!

* * *

М. Хуциеву

Мы приедем туда, приедем,
проедем — зови не зови —
вот по этим каменистым, по этим
осыпающимся дорогам любви.

Там мальчики гуляют, фасоня,
по августу, плавают в нем,
и пахнет песнями и фасолью,
красной солью и красным вином.

Перед чинарою голубую
поет Тинатин в окне,
и моя юность с моею любовью
перемешиваются во мне.

...Худосочные дети с Арбата,
вот мы едем, представь себе,
а арба под нами горбата,
и трава у вола на губе.

Мимо нас мелькают автобусы,
перегаром в лица дыша...
Мы наездили, мы не торопимся.
Мы хотим хоть раз не спеша.

После стольких лет перед бездною,
раскачавшись, как на волнах,

вдруг предстанет, как неизбежное,
путешествие на волах.

И по синим горам, пусть не плавное,
будет длиться через мир и войну
путешествие наше самое главное
в ту неведомую страну.

И потом без лишнего слова,
дней последних не торопя,
мы откроем нашу родину снова,
но уже для самих себя.

* * *

Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем,
у каждой эпохи свои подрастают леса...

А все-таки жаль, что нельзя

с Александром Сергеичем
поужинать в «Яр» заскочить хоть
на четверть часа.

Теперь нам не надо по улицам мыкаться
ощупью.

Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль...

А все-таки жаль, что в Москве больше
нету извозчиков,
хотя б одного, и не будет отныне... А жаль.

* * *

Итак, я постарею...
Неужели я постарею,
кашне закручу на шею,
глубокие калоши куплю,
и тебя разлюблю,

и буду на виду у прохожих
сидеть на бульваре воскресном
и коченеть в зной,
и молодежи будет тесно
рядом со мной?

Неужели это случится?
На век не хватает огня.
Не стареют ведь птицы...
Научите меня,

чтобы петь, петь, петь,
поднимаясь круто
до последней минуты...
А потом уж упасть,
как пропасть!

* * *

Ночь белая. Спят взрослые, как дети.
Ночь белая. Ее бесшумен шаг.
Лишь дворники кружатся по планете
и о планету метлами шуршат.

* * *

Куда вы подевали моего щегла?
А может быть, он сам наутек от меня?
Вот и конь мой рвется из-под седла.
Чем вы соблазнили моего коня?

Степью ли хрустящей? Песней ли раки?
Торбой ли под мордой, чтоб вволю зерна?
Голубой ли ящерицей апрельской реки,
что к копытам липнет так, задарма?

О река, упала ты на белый песок,
неба разметала платок голубой;
платье твое ситцевое — в ромашках всё,
руки твои теплые — под головой.

И сама ты теплая, на всё щедра:
на горечь, на сладость, на любить —
не любить,
щебра, как крылья моего щегла,
как коня моего ускакавшего прыть.

Человек

Дышит воздухом, дышит первой травой,
камышом, пока он колышется,
всякой песенкой, пока она слышится,
теплой женской ладонью под головой.
Дышит, дышит — никак не надышится.

Дышит матерью —
она у него одна,
дышит родиной —
она у него единственная,
плачет, мучается, смеется, посвистывает,
и молчит у окна, и поет дотемна,
и влюбленно недолгий свой век перелистывает.

* * *

Всё ты мечешься день-деньской.
Всё ты мечешься день-деньской
по смешной привычке своей городской,
по смешной привычке своей городской...

Руки протягиваешь, словно я Бог,
среди стен четырех маешься,
а что я могу, если Бог не смог
тебя сотворить понимающей?

Цвет голубой — у тебя под рукой.
Цвет голубой — у тебя под рукой.
А тебе почему-то нужен другой.
А тебе почему-то нужен другой...

Как в старой считалочке детских лет,
губы обидные выпятив:
«Выпади мне цвет, которого нет,
самый счастливый выпади!»

А над крышей резной твоего гнезда,
а над крышей резной твоего гнезда
мечется голубая звезда,
мечется голубая звезда...

Руки заламывает, подражает
сестрам твоим отпрыгавшим...
А осенью звезды дорожают —
лови ее, глупую, в пригоршни.

Ты повесь ее под своим потолком,
ты повесь ее под своим потолком
потухающим голубым угольком,
потухающим голубым угольком...

Ведь осенью звезды дорожают,
попробуй заработать горбом...
Глупые мы всё же, горожане:
ни черта не смыслим в голубом.

* * *

Галине

Снится или не снится?
Вечер в дождь до пят.
Две молчаливых птицы
из-под бровей глядят.

Будто бы с недоступной,
сказочной высоты

две молчаливых птицы
сказочной красоты.

Всякое может случиться.
(В жизни чему не быть?)
Вдруг захочу расстаться,
вдруг разучусь любить,

вдруг погляжу с порога
за семь морей и рек:
«Вон где моя дорога,
глупый я человек!»

И соберусь проститься,
лишь оглянусь назад:
две молчаливых птицы
из-под бровей глядят,

будто бы говорят мне:
«Останови свой бег,
это же невероятно,
глупый ты человек!»

* * *

Плыл троллейбус по улице.
Женщина шла впереди.
И все мужчины в троллейбусе.
молча смотрели ей вслед.

Троллейбус промчался мимо.
Женщину он обогнал.

Но все мужчины в троллейбусе
глаз не сводили с нее.

И только водитель троллейбуса
головой не вертел:
ведь должен хотя бы кто-нибудь
всё время смотреть вперед.

Песенка о моей жизни

А как первая любовь — она сердце жжет.
А вторая любовь — она к первой льнет.
А как третья любовь — ключ дрожит в замке,
Ключ дрожит в замке, чемодан в руке.

А как первая война — да ничья вина.
А вторая война — чья-нибудь вина.
А как третья война — лишь моя вина,
А моя вина — она всем видна.

А как первый обман — да на заре туман.
А второй обман — закачался пьян.
А как третий обман — он ночи черней,
Он ночи черней, он войны страшней.

Песенка о моей душе

Что такое душа? Человек задумчивый,
всем наукам печальным и горьким обученный
(видно, что-то не так в его долгой судьбе).
Но — он сам по себе, а я — сам по себе.

Он томится, он хочет со мной поделиться,
очень важное слово готово пролиться —
как пушинка дрожит на печальной губе...
Но — он сам по себе, а я сам по себе.

Я своей доброты никогда не разбрасываю,
я его никогда ни о чем не спрашиваю.
Каждый волен играть, что горазд, на трубе...
Каждый сам по себе: я — себе, он — себе.

Стихи, являющиеся кратким руководством для пользования пугачом

...Когда почувствуешь недомоганье вдруг,
купи пугач

в отделе игр,

мой друг.

Стрельни налево,

и стрельни направо,

и в стол швырни.

Недолгая забава.

И жизнь идет. И свет сменяет темь.

Всё прежнее вокруг.

А между тем
как будто выраженье глаз иное,
и темечко всё как-то странно ноет.

Представь себе:

случилось так, что ты
вдруг отупел от слов и суеты
и наступила главная проверка,
как в ателье — последняя примерка.
И ты берешь пугач (к нему привык),
к виску подносишь — он к виску приник,
смеешься ты:

ведь он не убивает...

Но в принципе всё точно так бывает:
его — к виску, а он к виску приник,
вся жизнь прошла за краткий этот миг,
всё вспомнилось, что не было и было...
И темечко

как бы к дождю заныло.

Затем обратно в стол его швырни:
он пригодится на другие дни.
Тебя холодный этот душ окатит —
на день-другой, глядишь, его и хватит.
Купи пугач, купи!

Тебе не в труд.

Он безопасен.

С ним не заберут.

Побалагуришь —
и пройдет тоска...

...Всё пугачи мы держим у виска!

Красные цветы

Ю. Домбровскому

Срываю красные цветы.
Они стоят на красных ножках.
Они звенят, как сабли в ножнах,
и пропадают, как следы...

О эти красные цветы!
Я от земли их отрываю.
Они как красные трамваи
среди полдневной суеты.

Тесны их задние площадки —
там две пчелы, как две пилы,
жужжат, добры и беспощадны,
забившись в темные углы.

Две женщины на тонких лапках.
У них кошелки в свежих латках,
но взгляды слишком старомодны,
и жесты слишком благородны,
и помыслы их так чисты!..

О эти красные цветы!
Их стебель почему-то колет.
Они, как красные быки, идут толпою
к водопою,
у каждого над головою рога сомкнулись,
как венки...

Они прекрасны, как полки,
остры их красные штыки,
портянки выстираны к бою.

У командира в кулаке — цветок
на красном стебельке...

Он машет им перед собою.
Качается цветок в руке, как память
о живом быке,

как память о самом цветке,
как памятник поре походной,
как монумент пчеле безродной,
той благородной,
старомодной,
летать привыкшей налегке...

Срываю красные цветы.
Они еще покуда живы.
Движения мои учтивы,
решения неторопливы,
и помыслы мои чисты...

Оловянный солдатик моего сына

Игорю

Земля гудит под соловьями,
под майским нежится дождем,
а вот солдатик оловянный
на вечный подвиг осужден.

Его, наверно, грустный мастер
пустил по свету невзлюбя.
Спроси солдатика: «Ты счастлив?»
И он прицелится в тебя.

И в смене праздников и буден,
в нестройном шествии веков
смеются люди, плачут люди,
а он всё ждет своих врагов.

Он ждет упрямо и пристрастно,
когда накинута трубя...
Спроси его: «Тебе не страшно?»
И он прицелится в тебя.

Живет солдатик оловянный
предвестником больших разлук
и автоматик окаянный
боится выпустить из рук.

Живет защитник мой, невольно
сигнал к сраженью торопя.
Спроси его: «Тебе не больно?»
И он прицелится в тебя.

Дорожная фантазия

Таксомоторная кибитка,
трясущаяся от избытка
былых ранений и заслуг,
по сопкам ткет за кругом круг.

Миную я глухие реки,
и на каком-то там ночлеге
мне чудится (хотя и слаб)
переселенческой телеги
скрип, и коней усталых храп,
и мягкий стук тигриных лап,
напрягшихся в лихом набеге,
и крик степи о человеке,
и вдруг на океанском берегу —
краб, распластавшийся как раб...

С фантазиями нету сладу:
я вижу, как в чужом раю,
перемахнув через ограду,
отыскивая дичь свою,
под носом у слепой двустволки
ободранные бродят волки...
Я их сквозь полночь узнаю.

А сторож-то! Со сторожихой
с семидесятилетней, тихой!
Они под жар печной — бока,
пока созревшей облепихой
дурманит их издалека,
пока им дышится, пока
им любопытны сны и толки,
пока еще слышны им волки,
и августа мягка рука,
пока кленовый лист узорный
им выпадает на двоих...

Вот так я представляю их,
случайный Бог таксомоторный,
невыспавшийся, тощий, черный,
с дорожных облаков своих.

* * *

Непокорная голубая волна
все течет, все течет, не кончается.
Море Черное, словно чаша вина,
на ладони моей всё качается.

Я все думаю об одном, об одном,
словно берег надежды покинувши.
Море Черное, словно чашу с вином,
пью во имя твое, запрокинувши.

Неизменная среди всяких морей,
как расстаться с тобой, не отчаяться?
Море Черное на ладони моей
как баркас уходящий качается.

Замок надежды

Я строил замок надежды. Строил-строил.
Глину месил. Холодные камни носил.
Помощи не просил. Мир так устроен:
была бы надежда — пусть не хватает сил.

А время шло. Времена года сменялись.
Лето жарило камни. Мороз их жег.
Прилетали белые сороки — смеялись.
Мне было тогда наплевать на белых сорок.

Лепил я птицу. С красным пером. Лесную.
Безымянную птицу, которую так люблю.
«Жизнь коротка. Не успеешь, дурак...» Рискую.
Женщина уходит, посмеиваясь. Леплю.

Коронованный всеми празднествами, всеми
боями, строю-строю. Задубела моя броня...
Все лесные свирели, все дудочки, все баяны,
плачьте, плачьте, плачьте вместо меня.

Последний Пират

В районной пивной, на сквозном ветерке,
гуляет Последний Пират.
С малиновым камнем в старинной серьге
идет он в последний парад.

Десятая кружка, добра как вдова,
плывет, подбоченясь, к нему,
и вобла срывает с себя кружева,
готова уже ко всему.

И пена пивная дрожит на столах,
и брызги слетают с руки,
и красные рыбки в зеленых глазах
свои совершают круги.

Все денежки пропиты. Руки на стол!
Я сам из последних плачу
и сам поминаю соленый простор
и как ординарец шучу,
что прокляли б мы наш исхоженный шар
и сами бы сдохли с тоски,
когда б не малиновый этот пожар
серебряной этой серьги,
когда б не улыбки буфетных ворон,
не пенье фабричной трубы,
когда б не качался под нами перрон,
как палуба нашей судьбы.

Старый флейтист

Идут дожди, и лето тает,
как будто не было его.
В пустом саду флейтист играет,
а больше нету никого.
Он одинок, как ветка в поле,
косым омытая дождем.
Давно ли, долго ли, легко ли —
никто не спросит ни о чем.

Ах, флейтист, флейтист в старом пиджаке,
с флейтою послушною в руке,
вот уж день прошел, так и жизнь пройдет,
словно лист осенний опадет.

Все ниже, глуше свод небесный,
 звук флейты слышится едва.
 «Прости-прощай» — мотив той песни,
 «Я все прощу» — ее слова.
 Знать, надо вымокнуть до нитки,
 знать, надо горюшка хлебнуть,
 чтоб к заколоченной калитке
 с надеждой руки протянуть.

Ах, флейтист, флейтист в старом пиджаке,
 с флейтою послушною в руке,
 вот уж год прошел, так и век пройдет,
 словно лист осенний опадет.

В городском саду

Круглы у радости глаза и велики у страха,
 и пять морщинок на челе от празднеств
и обид...

Но вышел тихий дирижер, но заиграли Баха,
 и все затихло, улеглось и обрело свой вид.

Все стало на свои места, едва сыграли Баха...
 Когда бы не было надежд — на черта
белый свет?

К чему вино, кино, пшено, квитанции
Госстраха
 и вам — ботинки первый сорт, которым
сносу нет?

Плачут ли они, смеются —
не слышны их голоса.

Льются с этих фотографий
океаны биографий,
жизнь в которых вся, до дна,
с нашей переплетена.

И не муки и не слезы
остаются на виду,
и не зависть и беду
выражают эти позы,
не случайный интерес
и не сожаленья снова...

Свет — и ничего другого,
век — и никаких чудес.
Мы живых их обнимаем,
любим их и пьем за них...

...только жаль, что понимаем
с опозданием на миг!

* * *

То падая, то снова нарастая,
как маленький кораблик на волне,
густую грусть шарманка городская
из глубины двора дарила мне.

И вот, уже от слез на волосок,
я слышал вдруг, как раздавался четкий
свихнувшейся какой-то нотки
веселый и счастливый голосок.

Пускай охватывает нас смятением
несоответствие мехов тугих,
но перед наводнением смертельным
все хочет жить. И нету правд других.

Все ухищрения и все уловки
не дали ничего взамен любви...
...Сто раз я нажимал курок винтовки,
а вылетали только соловьи.

Разговор с рекой Курой

Я тщательно считал друзей своих убитых.
— Зачем? Зачем? — кричала мне река
издалека. — И так во все века
мы слишком долго помним об обидах!..

А я считал... И не гасил огня...
И плакала Кура перед восходом.
А я считал... сравнил приход с расходом.
И не сошлось с ответом у меня.

* * *

Мгновенно слово. Короток век.
Где ж умещается человек?
Как, и когда, и в какой глуши
распускаются розы его души?
Как умудряется он успеть
свое промолчать и свое пропеть,
по планете просеменить,
гнев на милость переменить?
Как умудряется он, чудак,
на ярмарке поцелуев и драк,
в славословии и пальбе
выбрать только любовь себе?

Осколок выплеснет его кровь:
«Вот тебе за твою любовь!»
Пощечины перепадут в раю:
«Вот тебе за любовь твою!»

И все ж умудряется он, чудак,
на ярмарке поцелуев и драк,
в славословии и гульбе
выбрать только любовь себе!

Как научиться рисовать

Если ты хочешь стать живописцем,
то рисовать не спеши.
Разные кисти из шерсти барсучьей
перед собой разложи,

белую краску возьми, потому что
это — начало, потом
желтую краску возьми, потому что
все созревает, потом
серую краску возьми, чтобы осень
в небо плеснула свинец,
черную краску возьми, потому что
есть у начала конец,
краски лиловой возьми пощеднее,
смейся и плачь, а потом
синюю краску возьми, чтобы вечер
птицей слетел на ладонь,
красную краску возьми, чтобы пламя
затрепетало, потом
краски зеленой возьми, чтобы веток
в красный подбросить огонь.
Перемешай эти краски, как страсти,
в сердце своем, а потом
перемешай эти краски и сердце
с небом, с землей, а потом...
Главное — это сгорать и, сгорая,
не сокрушаться о том.
Может быть, кто и осудит сначала,
но не забудет потом!

Проводы юнкеров

Наша жизнь не игра.
Собираться пора.
Кант малинов, и лошади серы.

Господа юнкера,
кем вы были вчера?
А сегодня вы все — офицеры.

Господа юнкера,
кем вы были вчера
без лихой офицерской осанки?
Можно вспомнить опять
(ах, зачем вспоминать?),
как ходили гулять по Фонтанке.

Над гранитной Невой
гром стоит полковой,
да прощанье недорого стоит.
На германской войне
только пушки в цене,
а невесту другой успокоит.

Наша жизнь не игра.
В штыковую! Ура!..
Замерзают окопы пустые.
Господа юнкера,
кем вы были вчера?
Да и нынче вы все — холостые.

Песенка о художнике Пиросмани

Николаю Гриццоку

Что происходит с нами,
когда мы смотрим сны?

Художник Пиросмани
выходит из стены,

из рамок примитивных,
из всякой суеты
и продает картины
за порцию еды.

Худы его колени,
и насторожен взгляд,
но сытые олени
с картин его глядят,

красотка Маргарита
в траве густой лежит,
а грудь ее открыта —
там родинка дрожит.

И вся земля ликует,
пирует и поет,
и он ее рисует
и Маргариту ждет.

Он жизнь любил не скупю,
как видно по всему...
Но не хватило супа
на всей земле ему.

* * *

Ярославу Смелякову

В детстве мне встретился как-то кузнечик
в дебрях колечек трав и осок.
Прямо с колючек, словно с крылечек,
спрыгивал он, как танцор, на песок,
передо мною маячил мгновенье
и исчезал иноходцем в траве...
Может быть, первое стихотворенье
зрело в зеленой его голове.
— Намереваюсь! — кричал тот кузнечик.
— Может ли быть? — усмехался сверчок.
Из-за досок, из щелей, из-за печек
крался насмешливый этот басок.
Но из-за речек, с лугов отдаленных:
— Намереваюсь! — как песня, как гром...
Я их встречал, голубых и зеленых.
Печка и Луг им служили жильем.
Печка и Луг — разделенный на части
счастья житейского замкнутый круг,
к чести его обитателей частых,
честных, не праздных, как Печка и Луг,
маленьких рук постоянно стремленье,
маленьких мук постоянна волна...
Пламени этого столпотворенье
не успокоят ни мир, ни война,
ни уговоры его не излечат,
ни приговоры друзей и врагов...
— Может ли быть?! — как всегда из-за печек.
— Намереваюсь! — грохочет с лугов.

Годы прошли, да похвастаться нечем.
Те же дожди, те же зимы и зной.
Прожита жизнь, но все тот же кузнечик
пляшет и кружится передо мной.
Гордый бессмертьем своим непреклонным,
мировоззрением своим просветленным,
скачет, куражится, ест за двоих...
Но не молчит и сверчок тот бессонный.
Все усмехается.
Что мы — для них?

Ленинградская элегия

Я видел удивительную, красную,
огромную луну,
подобную предпраздничному первому
помятому блину,
а может быть, ночному комару, что
в свой черед
легко взлетел в простор с лесных болот.

Она над Ленинградом очень медленно плыла.
Так корабли плывут без капитанов медленно...
Но что-то бледное мне виделось сквозь медное
покрытие ее высокого чела.

Под ней покоилось в ночи пространство
невское,
и слышалась лишь переключка площадей
пустых...

И что-то женское мне чудилось сквозь резкое
слияние ее бровей густых.

Как будто гаснувший фонарь, она качалась
в бездне синей,
туда-сюда над Петропавловкой скользя...
Но в том ее огне казались мне мои друзья
еще надежней и еще красивей.

Я вслушиваюсь: это их каблуки отчетливо
стучат...

И словно невская волна, на миг
взметнулось эхо,
когда друзьям я прокричал, что
на прощание кричат.
Как будто сам себе я прокричал все это.

Прощание с осенью

Осенний холодок. Пирог с грибами.
Калитки шорох и простывший чай.
И снова
неподвижными губами
короткое, как вздох: «Прощай, прощай...»

«Прощай, прощай...»

Да я и так прощаю
все, что простить возможно, обещаю
и то простить, чего нельзя простить.
Великодушным мне нельзя не быть.

Прощаю всех, что не были убиты
тогда, перед лицом грехов своих.

«Прощай, прощай...»

Прощаю все обиды,
обеда у обидчиков моих.

«Прощай...»

Прощаю, чтоб не вышло боком.
Сосуд добра до дна не исчерпать.
Я чувствую себя последним богом,
единственным умеющим прощать.

«Прощай, прощай...»

Старания упрямы
(знать, мне лишь не простится одному),
но горести моей прекрасной мамы
прощаю я неведомо кому.

«Прощай, прощай...» Прощаю, не смущаю
угрозами, надежно их таю.

С улыбкою, размашисто прощаю,
как пироги, прощенья раздаю.

Прощаю побелевшими губами,
пока не повторится все опять:
осенний горький чай, пирог с грибами
и поздний час — прощаться и прощать.

Времена

Нынче матери все
словно заново всех
своих милых детей полюбили.
Раньше тоже любили,
но больше их хлебом корили,
сильнее лупили.

Нынче, как сухари,
и любовь, и восторг,
и тревогу, и преданность копят...
То ли это инстинкт,
то ли слабость души,
то ли сам исторический опыт?

Или в воздухе нашем само по себе
разливается что-то такое,
что прибавило им суетливой любви
и лишило отныне покоя?

Или ждатель отказавшись, теперь за собой
оставляют последнее слово
и неистово жаждут прощать, возносить
и творить чудеса за кого-то другого?

Что бы ни было там,
как бы ни было там
и чему бы нас жизнь ни учила,
в нашем мире цена на любовь да на ласку
опять высоко подскочила.

И когда худосочные их сыновья
лгут, преследуют кошек,
наводняют базары,
матерям-то не каины видятся — авели,
не дедалы — икары!

И мерещится им
сквозь сумбур сумасбродств
дочерей современных,
сквозь гнев и капризы
то печаль Пенелопы,
то рука Жанны д'Арк,
то задумчивый лик Моны Лизы.

И слезами полны их глаза,
и высоко прекрасные вскинуты брови.
Так что я и представить себе не могу
ничего,
кроме этой любви!

Одна морковь с заброшенного огорода

Мы сидим, пехотные ребята.
Позади — разрушенная хата.
Медленно война уходит вспять.
Старшина нам разрешает спать.

И тогда (откуда — неизвестно,
или голод мой тому виной),

словно одинокая невеста,
выросла она передо мной.

Я киваю головой соседям:
на сто ртов одна морковь — пустяк...
Спим мы или бредим?
Спим иль бредим?
Веточки ли в пламени хрустят?

...Кровь густая капает из свеклы,
лук срывает бранный свой наряд,
десять пальцев, словно десять свекров,
над одной морковинкой стоят...

Впрочем, ничего мы не варили,
свекла не алела, лук не пах.
Мы морковь по-братски разделили,
и она хрустела на зубах.

Шла война, и кровь текла рекою.
В грозной битве рота полегла.
О природа, ты ж одной морковью
словно мать насытить нас могла!

И наверно, уцелела б рота,
если б в тот последний грозный час
ты одной любовью, о природа,
словно мать насытила бы нас!

Из окна вагона

Низкорослый лесок по пути в Бузулук,
весь похожий на пыльную армию леших —
пеших, песни лихие допевших,
сбивших ноги, продрогших, по суткам
не евших,
и застывших, как будто в преддверье разлук.

Их седой командир, весь в коросте и рвани,
пишет письма домой на глухом барабане,
позабыв все слова, он марает листы.
Истрепались знамена, карманы пусты,
ординарец безумен, денщик безобразен...
Как пейзаж поражения однообразен!

Или это мелькнул за окном балаган,
где бушует уездных страстей ураган,
где играют безвестные комедианты,
за гроши продавая судьбу и таланты,
сами судьи и сами себе музыканты...

Их седой режиссер, обалдевший от брани,
пишет пьеску на порванном вдрызг барабане,
позабыв все слова, он марает листы,
декорации смяты, карманы пусты,
Гамлет глух, и Ромео давно безобразен...
Как сюжет нашей памяти однообразен!

Зной

Питер парится. Пора парочкам пускаться
в поиск
по проспектам полуночным за прохладой.
Может быть,
им пора поторопиться в петергофский
первый поезд,
пекло потное покинуть, на перроне позабыть.

Петухи проголосили, песни поздние погасли.
Прямо перед паровозом проплывают и парят
Павловска перрон пустынный, Петергофа
плен прекрасный,
плеть Петра, причуды Павла, Пушкина
пресветлый взгляд.

Осень в Царском Селе

Какая царская нынче осень в Царском Селе!
Какие красные листья тянутся к черной земле,
какое синее небо и золотая трава,
какие высокопарные хочется крикнуть слова.

Но вот опускается вечер,
и слышится ветер с полей,
и филин рыдает, как Вертер,
над серенькой мышкой своей.

Уже он не первую губит,
не первые вопли слышны.
Он плоть их невинную любит,
а души ему не нужны.

И все же какая царская осень
в Царском Селе!
Как прижимаются листья лбами
к прохладной земле,
какое белое небо и голубая трава,
какие высокопарные хочется крикнуть слова!

Песенка про маляров

Уважайте маляров,
как ткачей и докторов!
Нет, не тех, что по ограде
раз мазнул и — будь здоров.
Тех, что ради солнца, ради
красок из глубин дворов
в мир выходят на заре:
сами в будничном наряде,
кисти — в чистом серебре.

Маляры всегда честны.
Только им слегка тесны
человечьей жизни сроки,
как недолгий свет весны.
И когда ложатся спать,
спят тела, не спится душам:

этим душам вездесущим
красить хочется опять.

Бредят кистями ладони,
краски бодрствуют, спешат.
Кисти, как ночные кони,
по траве сырой шуршат...
Синяя по стенам влага,
бурый оползень оврага,
пятна на боках коров —
это шутки маляров.

Или вот вязанка дров,
пестрая, как наважденье,
всех цветов нагроможденье:
дуба серая кора,
золотое тело липы,
красный сук сосны, облитый
липким слоем серебра...
Или вот огонь костра...
Или первый свет утра...

Маляры всегда честны.
Только им слегка тесны
сроки жизни человеческой,
как недолгий бег весны.
И когда у них в пути
обрывается работа,
остается впереди
недокрашенное что-то,
как неспетое — в груди...

Уважайте маляров —
звонких красок мастеров!
Лейтесь, краски,
пойте, кисти,
крась, маляр,
и будь здоров!

Прощание с Польшей

Мы связаны, поляки, давно одной судьбою
в прощанье, и в прощенье, и в смехе,
и в слезах.

Когда трубач над Краковом возносится
с трубою,
хватаясь я за саблю с надеждою в глазах.

Потертые костюмы сидят на нас прилично,
и плачут наши сестры, как Ярославны, вслед,
когда под крик гармоник уходим мы
привычно
сражаться за свободу в свои семнадцать лет.

Прошу у вас прощенья за раннее прощанье,
за долгое молчанье, за поздние слова;
нам Время подарило пустые обещанья,
от них у нас, Агнешка, кружится голова.

Над Краковом убитый трубач трубит
бессменно,
любовь его безмерна, сигнал тревоги чист.
Мы школьники, Агнешка. И скоро перемена.
И чья-то радиолы наигрывает твист.

Письмо Антокольскому

Здравствуйте, Павел Григорьевич!
 Всем штормам вопреки,
пока конфликты улаживаются и рушатся
 материки,
крепкое наше суденышко летит по волнам
 стрелой,
и его добротное тело пахнет свежей смолой.

Работа наша матросская призывает
 бодрствовать нас,
хоть вы меня и постарше, а я помоложе вас
(а может быть, вы моложе, а я немного
 старей)...
Ну что нам все эти глупости? Главное —
 плыть поскорей.

Киплинг, как леший, в морскую дудку
 насвистывает без конца,
Блок над картой морей просиживает,
 не поднимая лица,
Пушкин долги подсчитывает, и, от вечной
 петли спасен,
в море вглядывается с мачты вор Франсуа
 Вийон!

Быть может, завтра меня матросы
 под бульканье якорей
высадят на одинокий остров с мешком
 гнилых сухарей,

и рулевой равнодушно встанет
за штурвальное колесо,
и кто-то выругается сквозь зубы
на прощание мне в лицо.

Быть может, все это так и будет. Я точно
знать не могу.
Но лучше пусть это будет в море,
чем на берегу.
И лучше пусть судят меня матросы
от берегов вдали,
чем презирающие море обитатели твердой
земли...

До свидания, Павел Григорьевич!
Нам сдаваться нельзя.
Все враги после нашей смерти запишутся
к нам в друзья.
Но перед бурей всегда надежней
в будущее глядеть...
Самые чистые рубахи велит капитан надеть!

* * *

А. Тарковскому

Друзья, не надейтесь на чудо,
не верьте в заморский Сезам.
Нам плакать и плакать, покуда
Москва не поверит слезам.

Цирк*Ю. Никулину*

Цирк — не парк, куда вы входите
грустить и отдыхать.
В цирке надо не высиживать, а падать
и взлетать,
и под куполом, под куполом,
под куполом скользя,
ни о чем таком сомнительном
раздумывать нельзя.

Все костюмы наши праздничные — смех
и суета.
Все улыбки наши пряничные не стоят ни черта
перед красными султанами на конских
головах,
перед лицами, таящими надежду, а не страх.

О Надежда, ты крылатое такое существо!
Как прекрасно твое древнее святое вещество:
даже если вдруг потеряна (как будто не была),
как прекрасно ты распахиваешь
два своих крыла

над манежем и над ярмаркою
праздничных одежд,
над тревогой завсегдаев, над ужасом невежд,
похороненная заживо, являешься опять
тем, кто жаждет не высиживать,
а падать и взлетать.

* * *

Ю. Домбровскому

Разве лев — царь зверей? Человек —
царь зверей.
Вот он выйдет с утра из квартиры своей,
он посмотрит кругом, улыбнется...
Целый мир перед ним содрогнется.

* * *

Решайте, решайте, решайте
за Марью, за Дарью, за всех.
И в череп свой круглый вмещайте
их слезы, позор и успех.
Конечно, за голову эту
при жизни гроша не дадут...
Когда же по белому свету
вас в черных цепях поведут,
сначала толпа соберется,
потом как волна опадет...
И Марья от вас отвернется,
и Дарья плечами пожмет.
...И все же решайте, решайте...

* * *

Надежда, белою рукою
сыграй мне что-нибудь такое,
чтоб краска схлынула с лица,
как будто кони от крыльца.

Сыграй мне что-нибудь такое,
чтоб ни печали, ни покоя,
ни нот, ни клавиш и ни рук...
О том, что я несчастен, врут.

Еще нам плакать и смеяться,
но не смиряться, не смиряться.
Еще не пройден тот подъем.
Еще друг друга мы найдем...

Все эти улицы — как сестры.
Твоя игра — их говор пестрый,
их каблуков полночный стук...
Я жаден до всего вокруг.

Ты так играешь, так играешь,
как будто медленно сгораешь.
Но что-то есть в твоём огне,
еще неведомое мне.

Встреча

Кайсыну Кулиеву

Насмешливый, щедедушный и неловкий,
единственный на этот шар земной,
на Усачевке, возле остановки,
вдруг Лермонтов возник передо мной,
и в полночи рассеянной и зыбкой
(как будто я о том его спросил)
— Мартынов — что... —
он мне сказал с улыбкой. —

Он невиновен.
Я его простил.
Что — царь? Бог с ним. Он дожил до могилы.
Что — раб? Бог с ним. Не воин он один.
Царь и холоп — две крайности, мой милый.
Нет ничего опасней средин...
Над мрамором, венками перевитым,
убийцы стали ангелами вновь.
Удобней им считать меня убитым:
венки всегда дешевле, чем любовь.
Как дети, мы всё забываем быстро,
обидчикам не помним мы обид,
и ты не верь, не верь в мое убийство:
другой поручик был тогда убит.
Что — пистолет?.. Страшна рука дрожащая,
тот пистолет растерянно держащая,
особенно тогда она страшна,
когда сто раз пред тем была нежна...
Но, слава Богу, жизнь не оскудела,
мой Демон продолжает тосковать,
и есть еще на свете много дела,
и нам с тобой нельзя не рисковать.
Но, слава Богу, снова паутинки,
и бабье лето тянется на юг,
и маленькие грустные грузинки
полжизни за улыбки отдают,
и суждены нам новые порывы,
они скликают нас наперебой...

Мой дорогой, пока с тобой мы живы,
все будет хорошо у нас с тобой...

Грибоедов в Цинандали

Цинандальского парка осенняя дрожь.
Непредвиденный дождь. Затяжной.
В этот парк я с недавнего времени вхож —
мы почти породнились с княжной.

Петухи в Цинандали кричат до зари:
то ли празднуют, то ли грустят...
Острословов очкастых не любят цари —
Бог простит, а они не простят.

Петухи в Цинандали пророчат восход,
и под этот заманчивый крик
Грибоедов, как после венчанья, идет
по Аллее Любви напрямик,

словно вовсе и не было дикой толпы
и ему еще можно пожить,
словно и не его под скрипенье арбы
на Мтацминду везли хоронить;

словно женщина эта — еще не вдова
и как будто бы ей ни к чему
на гранитном надгробье проплакать слова
смерти, горю, любви и уму;

словно верит она в петушиный маневр,
как поэт торопливый — в строку...
Нет, княжна, я воспитан на лучший манер,
и солгать вам, княжна, не могу,

и прощенья прошу за неловкость свою...
Но когда б вы представить могли,
как прекрасно — упасть, и погибнуть в бою,
и воскреснуть, поднявшись с земли!

И, срывая очки, как винтовку — с плеча,
и уже позабыв о себе,
прокричать про любовь навсегда, сгоряча
прямо в рожу орущей толпе!..

...Каждый куст в парке княжеском мнит о себе.
Но над Персией — гуще гроза.
И спешит Грибоедов навстречу судьбе,
близоруко прищунив глаза.

Душевный разговор с сыном

Мой сын, твой отец — лежебока и плут
из самых на этом веку.
Ему не знакомы ни молот, ни плуг,
я в этом поклясться могу.

Когда на земле бушевала война
и были убийства в цене,
он раной одной откупился сполна
от смерти на этой войне.

Когда погорельцы брели на восток
и участь была их горька,
он в теплом окопе пристроиться смог
на сытную должность стрелка.

Не словом трибуна, не тяжелой киркой
на благо родимой страны —
он все норовит заработать строкой
тебе и себе на штаны.

И все же, и все же не будь с ним суров
(не знаю и сам почему),
поздравь его с тем, что он жив и здоров,
хоть нет оправдания ему.

Он, может, и рад бы достойней прожить
(далече его занесло),
но можно рубаху и паспорт сменить,
да поздно менять ремесло.

* * *

Осень ранняя. Падают листья.
Осторожно ступайте в траву.
Каждый лист — это мордочка лисья...
Вот земля, на которой живу.

Лисы ссорятся, лисы тоскуют,
лисы празднуют, плачут, поют,
а когда они трубки раскурят,
значит — дождички скоро польют.

По стволам пробегает горенье,
и стволы пропадают во рву.
Каждый ствол — это тело оленье...
Вот земля, на которой живу.

Красный дуб с голубыми рогами
ждет соперника из тишины...
Осторожней: топор под ногами!
А дороги назад сожжены!

...Но в лесу, у соснового входа,
кто-то верит в него наяву...
Ничего не попишешь: природа!
Вот земля, на которой живу.

* * *

Мы едем на дачу к Володе,
как будто мы в кровном родстве.
Та дача в Абрамцеве вроде,
зарыта в опавшей листве.

Глядят имена музыкантов
с табличек на каждом углу,
и мы, словно хор дилетантов,
удачам возносим хвалу.

Под будничными облаками
сидим на осеннем пиру,
и грусть, что соседствует с нами,
все чаще теперь ко двору.

Минувшего голос несносный
врывается, горек, как яд...
Зачем же мы, братья и сестры,
съезжаемся в тот листопад?

Зачем из машин мы выходим?
Зачем за столом мы сидим?
И счетов как будто не сводим —
светло друг на друга глядим.

Мы — дачники, мы — простофили,
очкарики и фраера...
В каких нас давитьнях давили —
да, видно, настала пора.

Свинцом небеса налитые,
и пробил раскаянья час,
и все мы почти что святые,
но некому плакать о нас.

На даче сидим у Володи,
поближе к природе самой,
еще и не старые вроде,
а помнится... Боже ты мой!

* * *

Карандаш желает истину
знать. И больше ничего.
Только вечную и чистую,
как призвание его.

И не блатом, не лекарствами —
создан словно на века.
Он как джентльмен при галстукe,
как умелец у станка.

Он не жаждет строчки прибыльной,
задыхаясь на бегу —
только б у фортуны гибельной
ни на грош не быть в долгу.

И пока больной, расхристанный,
вижу райские места,
взгляд его, стальной и пристальный,
не оторван от листа.

И, пока недолго длящийся
жизни путь к концу лежит,
грифелек его дымящийся
за добычею бежит.

Подступает мгла могильная,
но... уже совмещены
зов судьбы, ладонь бессильная,
запах пота и вины.

Капли Датского короля

Вл. Мотылю

В раннем детстве верил я,
что от всех болезней
капель Датского короля
не найти полезней.
И с тех пор горит во мне
огонек той веры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Капли Датского короля
или королевы —
это крепче, чем вино,
слаще карамели
и сильнее клеветы,
страха и холеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Рев орудий, посвист пуль,
звон штыков и сабель
растворяются легко
в звоне этих капель,
солнце, май, Арбат, любовь —
выше нет карьеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Слава головы кружит,
власть сердца щекочет.
Грош цена тому, кто встать
над другим захочет.
Укрепляйте организм,
принимайте меры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Если правду прокричать
вам мешает кашель,
не забудьте отхлебнуть
этих чудных капель.

Перед вами пусть встают
прошлого примеры...
Капли Датского короля
пейте, кавалеры!

Прощание с новогодней елкой

3. Крахмальниковой

Синяя крона, малиновый ствол,
звяканье шишек зеленых.
Где-то по комнатам ветер прошел:
там поздравляли влюбленных.
Где-то он старые струны задел —
тянется их перекличка...
Вот и январь накатил-налетел,
бешеный, как электричка.

Мы в пух и прах наряжали тебя,
мы тебе верно служили.
Громко в картонные трубы трубя,
словно на подвиг спешили.
Даже поверилось где-то на миг
(знать, в простодушие сердечном):
женщины той очарованный лик
слит с твоим празднеством вечным.

В миг расставания, в час платежа,
в день увяданья недели
чем это стала ты нехороша?
Что они все, одурели?!

И утонченные, как соловьи,
гордые, как гренадеры,
что же надежные руки свои
прячут твои кавалеры?

Нет бы собраться им — время узнать,
нет бы им всем — расстараться...
Но начинают колеса стучать:
как тяжело расставаться!
Но начинается вновь суета.
Время по-своему судит:
И в суете тебя сняли с креста,
и воскресенья не будет.

Ель моя, ель — уходящий олень,
зря ты, наверно, старалась:
женщины той осторожная тень
в хвое твоей затерялась!
Ель моя, ель, словно Спас на Крови,
твой силуэт отдаленный,
будто бы след удивленной любви,
вспыхнувшей, неутоленной.

Старинная студенческая песня

Ф. Светову

Поднявший меч на наш союз
достоин будет худшей кары,
и я за жизнь его тогда
не дам и ломаной гитары.

Как вожделенно жаждет век
нащупать брешь у нас в цепочке...
Возьмемся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке.

Среди совсем чужих пиров
и слишком ненадежных истин,
не дожидаясь похвалы,
мы перья белые почистим.
Пока безумный наш султан
сулит дорогу нам к острогу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-богу!

Когда ж придет дележки час,
не нас калач ржаной поманит,
и рай настанет не для нас,
зато Офелия помянет.
Пока не грянула пора
нам отправляться понемногу,
возьмемся за руки, друзья,
возьмемся за руки, ей-богу.

* * *

Скрипят на новый лад все перья золотые.
Страшают рай и ад то зноем, то грозой.
Поэты молодые не ставят запятые,
но плачут, как и мы, горячею слезой.

Я выжил.
Я из пекла вышел.
Там не оставил ничего.

Теперь живу посередине между войной
и тишиной,
грехи приписываю Богу, а доблести —
лишь Ей одной.
Я не оставил там ни боли, ни пепла,
ни следов сапог,
и только глаз мой карий-карий блуждает
там, как светлячок.

Но в озаренье этом странном, в сиянье
вещем светляка
счастливые бывшие люди мне чудятся
издалека:

высокий хор поет с улыбкой,
земля от выстрелов дрожит,
сержант Петров, поджав коленки,
как новорожденный лежит.

Грузинская песня

М. Келивидзе

Виноградную косточку в теплую землю зарю,
и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
и друзей созову, на любовь свое сердце
настрою...
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

Пускай глядит с порога красотка, увядая,
та гордая, та злая, слепая и святая...
Что — прелесть ее ручек? Что — жар ее перин?
Давай, брат, отрешимся.
Давай, брат, воспарим.

Жена, как говорится, найдет себе другого.
Какого-никакого, как ты, недорогого.
А дальняя дорога дана тебе судьбой,
как матушкины слезы, всегда она с тобой.

Покуда ночка длится, покуда бричка катит,
дороги этой дальней на нас обоих хватит.
Зачем ладонь с повинной ты на сердце кладешь?
Чего не потеряешь — того, брат, не найдешь.

От сосен свет целебный,
от неба запах хлебный,
а от любви бедной сыночек будет бледный,
а дальняя дорога...
а дальняя дорога...
а дальняя дорога...

* * *

П. Луспекаеву

Ваше благородие госпожа разлука,
мне с тобою холодно — вот какая штука.
Письмецо в конверте погоди — не рви...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа чужбина,
жарко обнимала ты, да мало любила.
В шелковые сети постой — не лови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа удача,
для кого ты добрая, а кому иначе.
Девять граммов в сердце постой — не зови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Ваше благородие госпожа победа,
значит, моя песенка до конца не спета!
Перестаньте, черти, клясться на крови...
Не везет мне в смерти,
повезет в любви.

Путешествие по ночной Варшаве в дрожках

Варшава, я тебя люблю легко, печально
и навеки.
Хоть в арсенале слов, наверно, слова есть
тоньше и верней,
но та, что с левой стороны, святая мышца
в человеке
как бьется, как она тоскует!.. И ничего
не сделать с ней.

Трясутся дрожки. Ночь плывет. Отбушевал
в Варшаве полдень.
Она пропитана любовью и муками обожжена,
как веточка в Лазенках та, которую
я нынче поднял,
как Зигмунта поклон неловкий, как пани
странная одна.

Забытый Богом и людьми, спит офицер
в конфедератке.
Над ним шумят леса чужие, чужая
плещется река.
Пройдут недолгие века — напишут
школьники в тетрадке
про все, что нам не позволяет писать
дрожащая рука.

Невыносимо, как в раю, добро просеивать
сквозь сито,
слова процеживать сквозь зубы, сквозь
недоверие — любовь...
Фортуны верткую свою воспитываю жить
открыто,
надежду — не терять надежды, доверие —
проснуться вновь.

Извозчик, зажигай фонарь на старомодных
крыльях дрожек.
Неправда, будто бы он прожит,
наш главный полдень на земле!

Едва огонь угас —
звучит другой приказ,
и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
бьет пулемет неутомим,
и, значит, нам нужна одна победа,
одна на всех, мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный,
и все ж бессилен он.
Сомненья прочь. Уходит в ночь отдельный,
десятый наш, десантный батальон.

От Курска и Орла
война нас довела
до самых вражеских ворот... Такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это
и не поверится самим,
а нынче нам нужна одна победа,
одна на всех, мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный,
и все ж бессилен он.
Сомненья прочь. Уходит в ночь отдельный,
десятый наш, десантный батальон.

* * *

Я вас обманывать не буду.
Мне вас обманывать нельзя:
обман и так лежит повсюду,
мы по нему идем, скользя.

Давно погашены улыбки,
вокруг болотная вода,
и в том — ни тайны, ни ошибки,
а просто горе да беда.

Когда-то в молодые годы,
когда все было невдомек,
какой-то призрачной свободы
достался мне шальной глоток.

Единственный. И без обмана
среди прочих ненадежных снов,
как сладкий яд, как с неба манна,
как дар судьбы без лишних слов.

Не в строгих правилах природы
ошибку повторять свою,
поэтому глоток свободы
я долго и счастливо пью.

* * *

Поэтов травили, ловили
на слове, им сети плели;
куражась, корнали им крылья,
бывало, и к стенке вели.

Наверное, от сотворенья,
от самой седой старины
они как козлы отпущенья
в скрижалях земных учтены.

В почете, и всё ж на учете,
и признанны, но до поры...
Вот вы рядом с ними живете,
а были вы с ними добры?

В трагическом их государстве
случалось и празднествам быть,
и все же бунтарство с мытарством
попробуй от них отделить.

Им разные тракты клубили,
но все ж в переделке любой
глядели они голубыми
за свой горизонт голубой.

И слова рожденного сладость
была им превыше, чем злость.
А празднества — это лишь слабость
минутная. Так повелось.

Я вовсе их не прославляю.
Я радуюсь, что они есть.
О, как им смешны, представляю,
посмертные тосты в их честь.

* * *

Немоты нахлебавшись без меры,
с городской отравой в крови,
опасаюсь фанатиков веры
и надежды, и поздней любви.

Как блистательны их карнавалы —
каждый крик, каждый взгляд, каждый жест...
Но зато как горьки и усталы
окончания пышных торжеств!

Я надеялся выйти на волю.
Как мы верили сказкам, скажи?
Но мою злополучную долю
утопили во зле и во лжи.

От тоски никуда не укрыться,
от природы ее грозовой.
Между мною и небом — граница.
На границе стоит часовой.

* * *

Виктору Забелышинскому

Долго гордая упряжка
через жизнь меня везла,
и счастливая ромашка
на пути моем росла.

Ехал я, еще не старый,
якоря свои рубя,
и какие-то гитары
предлагали мне себя.

Что-то бури предвещало,
бормотало все о том...

Время сказок не прощало —
это скажется потом.

Все потом: и сожаленье,
что не выпало посметь,
и везенье, и прозренье,
и раскаянье, и смерть.

И пронзенный этим знаньем,
все запомнив назубок,
перед главным наказаньем
призадумался ездок,

не прося услад у Бога,
не прельщаясь на обман...
Все равно одна дорога —
пыль, разлука да туман.

* * *

Д. Самойлову

На углу у гастронома,
на стеченье мостовых,
как два древних астронома, —
два печальных постовых.

Что ж вы дремлете, ребята?!
Собирайте-ка отряд:
недалече от Арбата
снова в Пушкина палят!

Похудевший и небритый,
приложась щекой к земле,
он опять лежит убитый
с грустной думой на челе.

Пистолет старинный рядом,
весь сюртук уже в крови,
где-то, за потухшим взглядом —
крик надежды и любви.

Пушкин, Пушкин, счет обидам —
очень грустная статья.
Но неужто быть убитым —
привилегия твоя?

Пистолет стреляет прямо,
да молва спешит в обход...
Ах, ни бронза и ни мрамор
не спасают от забот.

И опять невежда скромный
выбегает на Тверской
и огромный перст погромный
водружает над Москвой.

И опять над постаментом
торопливым инструментом
водружают монумент,
как эпохи документ.

Большая перемена

(школьная песенка)

Долгий звонок соловьем пропоет в тишине,
всем школярам перемену в судьбе обещая.
Может, затем, чтоб напомнить тебе обо мне,
перемена приходит большая.

Утро и ночь проплывают за нашим окном.
Хлеб и любовь неразлучными ходят по кругу.
Долгий звонок... Мы не раз еще вспомним
о нем,
выходя на свиданье друг к другу.

Время не ждет. Где-то замерли те соловьи.
Годы идут. Забываются школьные стены.
Но до конца... Это, видимо, в нашей крови
ожиданье большой перемены.

* * *

Ю. Мориц

Среди стерни и незабудок
не нами выбрана стезя,
и родина — есть предрассудок,
который победить нельзя.

* * *

Живые, вставай-подымайся,
будь счастлив, кто снова живой,
на первый-второй рассчитайся,
ряды поредевшие сдвой.

Чисты ваши тонкие руки,
ясна ваших глаз синева.
Цена на минувшие муки
ничтожна, как дым и слова.

Чем дальше от юности дерзкой,
тем ближе мы к черной земле,
и отсветы бури вселенской
лежат как печать на челе.

И все неподатливей струны,
и с каждой минутой трудней
увидеть в усмешке фортуны
улыбку надежды своей.

Но если сержанта былого
из тьмы появляется лик,
душа моя, честное слово,
опять замирает на миг.

И если учитель ворчливый
к доске предлагает пройти,
иду я, как мальчик счастливый,
и верю, что всё — впереди.

* * *

Песенка короткая, как жизнь сама,
где-то в дороге услышанная,
у нее пронзительные слова,
а мелодия почти что возвышенная.

Она возникает с рассветом, вдруг,
медлитель и врат не обученная,
она как надежда из первых рук
в дар от природы полученная.

От дверей к дверям, из окна в окно
вслед за тобой она тянется.
Все пройдет, чему суждено,
только она останется.

Песенка короткая, как жизнь сама,
где-то в дороге услышанная,
у нее пронзительные слова,
а мелодия почти что возвышенная.

Арбатский романс

Арбатского романа знакомое шитье,
к прогулкам в одиночестве пристрастье;
из чашки запотевшей счастливое питье
и женщины рассеянное «здрасьте»...

Не мучьтесь понапрасну: она ко мне добра.
Светло иль грустно — век почти что прожит.
Поверьте, эта дама из моего ребра,
и без меня она уже не может.

Бывали дни такие — гулял я молодой,
глаза глядели в небо голубое,
еще был не разменян мой первый золотой,
пылали розы, гордые собою.

Еще моя походка мне не была смешна,
еще подошвы не поотрывались,
за каждым поворотом, где музыка слышна,
какие мне удачи открывались!

Любовь такая штука: в ней так легко
пропасть,
зарыться, закружиться, затеряться...
Нам всем знакома эта мучительная страсть,
поэтому нет смысла повторяться.

Не мучьтесь понапрасну: всему своя пора.
Траву взрастите — к осени сомнется.
Вы начали прогулку с арбатского двора,
к нему-то все, как видно, и вернется.

Была бы нам удача всегда из первых рук,
и как бы там ни холило, ни било,
в один прекрасный полдень оглянетесь
вокруг,
и всё при вас, целехонько, как было:

арбатского романса знакомое шитье,
к прогулкам в одиночестве пристрастье,
из чашки запотевшей счастливое питье
и женщины рассеянное «здрасьте»...

Песенка о Моцарте

И. Балаевой

Моцарт на старенькой скрипке играет.
Моцарт играет, а скрипка поет.
Моцарт отечества не выбирает —
просто играет всю жизнь напролет.
Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба — то гульба, то пальба...
Не оставляйте стараний, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

Где-нибудь на остановке конечной
скажем спасибо и этой судьбе,
но из грехов нашей родины вечной
не сотворить бы кумира себе.
Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба — то гульба, то пальба...
Не расставайтесь с надеждой, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

Коротки наши лета молодые:
миг — и развеются, как на кострах.
Красный камзол, башмаки золотые,
белый парик, рукава в кружевах.

Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба — то гульба, то пальба...
Не обращайтесь вниманья, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

Военные портняжки

Все военные портняжки —
золотые мастера.
Уважайте труд их тяжкий
и сегодня, как вчера.

Потому что командиры
(любо-дорого смотреть)
наряжаются в мундиры,
чтоб красиво умереть.

Чтоб лежать на поле бранном,
не жалея ни о ком,
не недужным и не пьяным,
а застреленным врагом.

Чтоб лежать на бранном поле
рядом с верными людьми
не по чьей-то злобной воле,
а по собственной любви.

То не ветер в поле стонет,
не дубравушка шумит...
Их никто на смерть не гонит —
сердце чистое велит.

И тогда над смертью слава
нарождается в дыму.
Разве в мире есть держава,
безразличная к сему?

Ничего, что не добратья
вновь до дома своего...
Слава Богу, новобранцам
есть учиться у кого!

Вот поэтому портняжки
так обучены кроить,
так изогнуты, бедняжки,
чтобы славе угодить.

И поэтому мундиры
так кроются день и ночь,
чтоб блистали командиры,
уходя из жизни прочь.

Речитатив

Владлену Ермакову

Тот самый двор, где я сажал березы,
был создан по законам вечной прозы
и образцом дворов арбатских слыл;
там, правда, не выращивались розы,
да и Гомер туда не заходил...
Зато поэт Глазков напротив жил.

Друг друга мы не знали совершенно,
но, познавая белый свет блаженно,
попеременно — снег, дожди и сушь,
разгулы будней, и подъездов глушь,
и мостовых дыханье, неизменно
мы ощущали близость наших душ.

Ильинку с Божедомкою, конечно,
не в наших нравах предавать поспешно,
и Усачевку, и Охотный ряд...
Мы с ними слиты чисто и безгрешно,
как с нашим детством — сорок лет подряд;
мы с детства их пророки... Но Арбат!

Минувшее тревожно забывая,
на долголетье втайне уповая,
всё медленней живем, всё тяжелей...
Но песня тридцать первого трамвая
с последней остановкой у Филей
звучит в ушах, от нас не отставая.

И если вам, читатель торопливый,
он не знаком, тот гордый, сиротливый,
извилистый, короткий коридор
от ресторана «Праги» до Смоленги
и рай, замаскированный под двор,
где все равны: и дети и бродяги,
спешите же... Все остальное — вздор.

Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину

А. Цибулевскому

На фоне Пушкина снимается семейство.
Фотограф щелкает, и птичка вылетает.
Фотограф щелкает, но вот что интересно:
на фоне Пушкина! И птичка вылетает.

Все счета кончены, и кончены все споры.
Тверская улица течет, куда, не знает.
Какие женщины на нас кидают взоры
и улыбаются... И птичка вылетает.

На фоне Пушкина снимается семейство.
Как обаятельны (для тех, кто понимает)
все наши глупости и мелкие злодеяства
на фоне Пушкина! И птичка вылетает.

Мы будем счастливы (благодаренье снимку!).
Пусть жизнь короткая проносится и тает.
На веки вечные мы все теперь в обнимку
на фоне Пушкина! И птичка вылетает.

Считалочка для Беллы

Я сидел в апрельском сквере.
Предо мной был Божий храм,
но не думал я о вере,
а глядел на разных дам.

И одна, едва пахнуло
с несомненностью весной,
вдруг на веточку вспорхнула
и уселась предо мной.

В модном платье коротком,
в старомодном пальтеце,
и ладонь — под подбородком,
и загадка на лице.

В той поре, пока безвестной,
обозначенной едва:
то ли поздняя невеста,
то ли юная вдова.

Век мой короток — не жалко,
он длинней и ни к чему...
Но она петербуржанка
и бессмертна посему.

Шли столетья по России,
бил надежды барабан.
Не мечи людей косили —
слава, злато и обман.

Что ни век — всё те же нравы,
ухищренья и дела...
А Она вдали от славы
на Васильевском жила.

Знала счет шипам и розам
и безгрешной не слыла.

Всяким там метаморфозам
не подвержена была.

Но когда над Летним садом
возносилась луна,
Михаилу с Александром,
верно, грезилась Она.

И в дороге, и в опале,
и крылаты, и без крыл,
знать, о Ней лишь помышляли
Александр и Михаил.

И загадочным и милым
лик Ее сиял живой
Александр с Михаилом
перед пулей роковой.

Эй вы, дней былых поэты,
старики и женихи,
признавайтесь, кем согреты
ваши перья и стихи?

Как на лавочке сиделось,
чтобы душу усладить,
как на барышень гляделось,
не стесняйтесь говорить.

Как туда вам все летелось
во всю мочь и во всю прыть...
Как оттуда не хотелось
в департамент уходить!

Послевоенное танго

Вяч. Кондратьеву

Восславив тяготы любви и свои слабости,
слетались девочки в тот двор, как пчелы
в августе;
и совершалось наших душ тогда мужание
под их загадочное жаркое жужжание.

Судьба ко мне была щедра: надежд
подбрасывала.
Да жизнь по-своему текла — меня
не спрашивала.
Я пил из чашки голубой — старался дочиста...
Случайно чашку обронил — вдруг август
кончился.

Двор закачался, загудел, как хор
под выстрелами,
и капельмейстер удалой кричал нам что-то...
Любовь иль злоба наш удел? Падем ли,
выстоим ли?
Мужайтесь, девочки мои! Прощай, пехота!

Примяли наши сапоги траву газонную,
все завертелось по трубе по гарнизонной.
Благословили времена шинель казенную,
не вышла вечною любовь — а лишь сезонной.

Мне снятся ваши имена — не помню облика:
в какие ситчики вам грезилось облечься?
Я слышу ваши голоса — не слышу отклика,
но друг от друга нам уже нельзя отречься.

Я загадал лишь на войну — да не исполнилось.
Жизнь загадала навсегда — сошлось с ответом...
Поплачьте, девочки мои, о том,
что вспомнилось,
не уходите со двора: нет счастья в этом!

* * *

С каждым часом мы старше
от беды и от любви.
Хочешь жить — живи скорее,
а не хочешь — не живи.

Не кори меня, Настасья,
долгих счетов не своди.
С тем, что было, я расстался,
а что будет — впереди.

Николай нальет,
Михаил пригубит.
Кто совсем не пьет —
тот себя погубит.

Кто там робкий, кто там пылкий —
все равно стезя одна.

Не молись, дурак, бутылке —
просто пей ее до дна!

Не для праздного безделья
нас фортуна призвала...
Дай Бог легкого похмелья
после трудного стола!

Николай нальет,
Михаил пригубит.
Кто совсем не пьет —
тот себя погубит.

Бог простит, беда научит,
судьба с жизнью разлучит.
Кто что стоит, то получит,
а не стоит — пусть молчит.

Наша жизнь — ромашка в поле,
пока ветер не сорвет...
Дай Бог воли! Дай Бог воли!
Остальное заживет.

Николай нальет,
Михаил пригубит.
Кто совсем не пьет —
тот себя погубит.

Старинная солдатская песня

Отшумели песни нашего полка,
отзвенели звонкие копыта.
Пулями пробито днище котелка,
маркитантка юная убита.

Нас осталось мало: мы да наша боль.
Нас немного, и врагов немного.
Живы мы покуда, фронтовая голь,
а погибнем — райская дорога.

Руки на затворе, голова в тоске,
а душа уже взлетела вроде.
Для чего мы пишем кровью на песке?
Наши письма не нужны природе.

Спите себе, братцы, — все придет опять:
новые родятся командиры,
новые солдаты будут получать
вечные казенные квартиры.

Спите себе, братцы, — все начнется вновь,
все должно в природе повториться:
и слова, и пули, и любовь, и кровь...
Времени не будет помириться.

Жизнь охотника

К. Ваншенкину

1

Первый день, первый день!
Все прекрасно, все здорово,
хоть уже на всем второго
дня
лежит косая тень.

2

День второй — день чудес,
день охоты, день объятий,
никаких еще проклятий
ни из уст и ни с небес.

Всё пока как будто впрок,
все еще полно значенья,
голосок ожесточенья
легкомыслен, как щенок.

3

Третий день — день удач.
За удачею — удача.
Удивляйся и чудачь,
поживи еще, чудача.

Нет пока лихих годин
выражений осторожных...
Бог беды на 'тонких ножках
в стороне бредет один.
И счастливой на века
обещает быть охота,
и вторая капля пота,
как амброзия, сладка.

4

День четвертый. Рука
оперлась о подлокотник...
Что-то грустен стал охотник,
нерешителен слегка.

Вездесущая молва
о возможном все страннее,
капли пота солонее,
и умеренней слова.

Счастлив будь, Сурок в норе!
Будь спокойна, Птица в небе!
Он — в раздумьях о добре,
в размышлениях о хлебе.

Из ствола не бьет дымок,
стрелы колют на лучину.
Всё, что было лишь намек,
превращается в причину.

5

Пятый день. Холодна
за окном стоит погода.
Нет охоты — есть работа.
Пота нет — лишь соль одна.

Отрешенных глаз свинец,
губ сухих молчанье злое...
Не похоже, чтоб скупец,
скапливающий бывшее.

Непохоже, чтоб глупец,
на грядущее плюющий,
пьянствующий иль непьющий,
верующий или лжец.

Может, жизнь кроя свою
на отдельные полоски,
убедился, что в авоське
больше смысла, чем в раю?..

Или он вдруг осознал,
что, спеша и спотыкаясь,
радуясь и горько каясь,
ничего не обогнал?

Что он там? Чему не рад
сам себе холоп и барин?
Был, как бес, высокопарен,
стал задумчив, как Сократ.

6

День шестой, день шестой...
Все теперь уже понятно:
путь туда такой простой —
это больно и приятно.

Все сбывается точь-в-точь,
как напутствие в дорогу.
Тайна улетает прочь...
Слава Богу,
слава Богу.

Доберемся как-нибудь
(что нам — знойно или выюжно?),
и увязывать не нужно
чемоданы в дальний путь.

Можно просто налегке,
не трясясь перед ошибкой,
с дерзновенною улыбкой,
словно с тросточкой в руке.

Остается для невежд
ожиданье дней, в которых
отсыревший вспыхнет порох
душ,
или раздастся шорох
вновь проснувшихся надежд.

Что ты там ни славословь,
как ты там ни сквернословь,
не кроится впрок одежда...

Жизнь длиннее, чем надежда,
но короче, чем любовь.

7

День седьмой.
Выходной.
Дверь открыта выходная.
Дверь открыта в проходной...
До свиданья,
проходная!

Батальное полотно

Сумерки. Природа. Флейты голос нервный.
Позднее катанье.
На передней лошади едет император
в голубом кафтане.
Серая кобыла с карими глазами,
с челкой вороною.
Красная попона. Крылья за спиною,
как перед войною.

Вслед за императором едут генералы,
генералы свиты,
славою увиты, шрамами покрыты,
только не убиты.

Следом — дуэлянты, флигель-адъютанты.

Блещут эполеты.

Все они красавцы, все они таланты,
все они поэты.

Все слабее звуки прежних клавесинов,
голоса былые.

Только топот мерный, флейты голос нервный
да надежды злые.

Все слабее запах очага и дыма,
молока и хлеба.

Где-то под ногами и над головами —
лишь земля и небо.

Баллада о гусаке

Лежать бы гусаку
в жаровне на боку,
да, видимо, немного
пофартило старику.
Не то чтобы хозяин
пожалел его всерьез,
а просто он гусятину
на завтра перенес.

Но гусак перед строем гусиным
ходит медленным шагом гусиным,
говорит им: «Вы видите сами,
мы с хозяином стали друзьями!»

Старается гусак
весь день и так и сяк,
чтоб доказать собравшимся,
что друг его — добряк,
но племя гусака
прошло через века
и знает, что жаровня
не валяет дурака.

Пусть гусак перед строем гусиным
машет крылышком псевдоорлиным,
но племя гусака
прошло через века
и знает, что жаровня
не валяет дурака.

* * *

Не слишком-то изыскан вид за окнами,
пропитан гарью и гнилой водой.
Вот город, где отца моего кокнули.
Стрелок тогда был слишком молодой.

Он был обучен и собой доволен.
Над жертвою в сомненьях не кружил.
И если не убит был алкоголем,
то, стало быть, до старости дожил.

И вот теперь на отдыхе почетном
внучат лелеет и с женой в ладу.

Прогулки совершает шагом четким
и вывески читает на ходу.

То в парке, то на рынке, то в трамвае
как равноправный дышит за спиной.
И зла ему никто не поминает,
и даже не обходят стороной.

Иные времена, иные лица.
И он со всеми как навеки слит.
И у него в бумажнике — убийца
пригрелся и усами шевелит.

И, на тесемках пестрых повисая,
гитары чьи-то в полночи бренчат,
а он все смотрит, смотрит не мигая
на круглые затылочки внучат.

Из фронтового дневника

В этом поле осколки как розги
по ногам атакующих бьют.
И колючие ржавые розы
в этом поле со звоном цветут.

И идет, не пристроившись к строю,
и задумчиво тычется в пыль
днем и ночью, верста за верстою
рядовой одноногий Костыль.

У полковника Смерти ошибки:
недостача убитых в гробах —
у солдат неземные улыбки
расцветают на пыльных губах.

Скоро-скоро случится такое:
уцелевший среди боя от ран,
вдруг запросит любви и покоя
удалой капитан Барабан.

И, не зная куда и откуда,
он пойдет, как ослепший на свет...
«Неужели вы верите в чудо?!» —
поперхнется поручик Кларнет.

Прав ли он, тот Кларнет изумленный,
возвышая свой голос живой
над годами уже не зеленой,
похоронной, сожженной травой?

Прав ли он, усомнившись в покое,
разрушая надежду окрест?..
Он, бывало, кричал не такое
под какой-нибудь венский оркестр.

Мы еще его вспомним, наверно,
где-то рядом с войною самой,
как он пел откровенно и нервно...
Если сами вернемся домой.

Мы еще его вспомним-помянем,
как передний рубеж и обоз...
Если сами до света дотянем,
не останемся здесь, среди роз.

* * *

Не будем хвастаться, что праведно живем,
а разойдемся скромно по домам.
А что останется потом,
когда мы все порем,
пусть это будет памятником нам.

И если грянет правды торжество,
пусть это будет памятником нам.
Всем станет ясно: кто — кого
и почему, и для чего...
А нынче разойдемся по домам.

* * *

Убили моего отца
ни за понюшку табака.
Всего лишь капелька свинца —
зато как рана глубока!

Он не успел, не закричал,
лишь выстрел треснул в тишине.
Давно тот выстрел отзвучал,
но рана та еще во мне.

Как эстафету прежних дней
сквозь эти дни ее несу.
Наверно, и подохну с ней,
как с трехлинейкой на весу.

А тот, что выстрелил в него,
готовый заново пальнуть,
он из подвала своего
домой поехал отдохнуть.

И он вошел к себе домой
пить водку и ласкать детей,
он — соотечественник мой
и брат по племени людей.

И уж который год подряд,
презревши боль былых утрат,
друг друга братьями зовем
и с ним в обнимку мы живем.

* * *

«Я маленький, горло в ангине...»
(Так Дезик однажды писал.)
На окнах полуночный иней,
и сон почему-то пропал.

Метался Ордынкой январской
неведомый мне человек,
наверно, с надеждой гусарской
на стол, на тепло и ночлег.

С надеждой на свет и на место,
с улуйскою розой в руках,
кидался в подъезд из подъезда,
сличал номера на домах.

Не с тем, чтобы жизнь перестроить,
а лишь обогреться душой
и розу хотя бы пристроить
в надежной ладони чужой.

Фортуна средь мрака и снега
не очень-то доброй была:
то стол без тепла и ночлега,
то мрак без стола и тепла,
то свет без еды и кровати,
то вовсе тепло не тепло...

Тот адрес загадочный, кстати,
какое сболтнуло трепло?
Все спали, один без другого
не мысля себя на веку,
не слыша, что кто-то без крова
в январском сгорает снегу.

А может, не спали — бледнели,
в потемках густых затаясь,
как будто к январской метели
лицом обернуться страшась.

Полночную тьму разрезало
неистойвой трелью звонков.
Там кожа с ладоней слезала,
коснувшись промерзших замков.

И что-то меня подымало,
сжигало, ломало всего.
Я думал: а вдруг это мама?..
Но роза в руке — для чего?

Мне слышались долгие звуки,
но я не сбегал во дворы...
И кровоточат мои руки
с той самой январской поры.

* * *

Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого порядка:
цезарь был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам.

А критики скажут, что слово «соратник» —
не римская деталь,
что эта ошибка всю песенку смысла лишает...
Может быть, может быть, может,
и не римская — не жаль:
мне это совсем не мешает, а даже меня
возвышает.

Римляне империи времени упадка
ели, что достанут, напивались гадко,
а с похмелья каждый на рассол был падох...
Видимо, не знали, что у них упадок.

А критики скажут, что слово «рассол», мол,
не римская деталь,
что эта ошибка всю песенку смысла лишает...
Может быть, может быть, может,
и не римская — не жаль:
мне это совсем не мешает, а даже меня
возвышает.

Юношам империи времени упадка
снились постоянно то скатка, то схватка,
то они в атаке, то они в окопе,
то вдруг на Памире, а то вдруг в Европе.

А критики скажут, что «скатка», представьте,
не римская деталь,
что эта ошибка всю песенку смысла лишает...
Может быть, может быть, может,
и не римская — не жаль:
мне это совсем не мешает, а даже меня
возвышает.

Римлянкам империи времени упадка,
только им, красавицам, доставалось сладко,
все пути открыты перед ихним взором:
хочешь — на работу, а хочешь — на форум...

А критики хором: «Ах, форум! Ах, форум! —
вот римская деталь!
Одно лишь словечко, а песенку
как украшает!..»
Может быть, может быть, может быть,
и римская — а жаль:
мне это немного мешает и замысел мой
разрушает.

* * *

Давайте придумаем деспота,
чтоб в душах царил он один
от возраста самого детского
и до благородных седин.

Усы ему вырастим пышные
и хищные вставим глаза,
сапожки натянем неслышные,
и проголосуем все — за.

Давайте придумаем деспота,
придумаем, как захотим.
Потом будет спрашивать не с кого,
коль вместе его создадим.

И пусть он над нами куражится
и пальцем грозит из тьмы,
пока наконец не окажется,
что с а м и им созданы мы.

* * *

Чувствую: пора прощаться.
Всё решительно к тому.
Не угодно ль вам собраться
у меня, в моем доме?

Будут ужин и гитара,
и слова под старину.
Я вам буду за швейцара —
ваши шубы отряхну.

И, за ваш уют радея,
как у нас теперь в ходу,
я вам буду за лакея
и за повара сойду.

Приходите, что вам стоит!
Путь к дверям не занесен.
Оля в холле стол накроет
на четырнадцать персон.

Ни о чем не пожалеем,
и, с бокалом на весу,
я последний раз хореем
тост за вас произнесу.

Нет, не то чтоб перед светом
буйну голову сложу...
Просто, может, и поэтом
вам при этом послужу.

Был наш путь не слишком гладок.
Будет горек черный час...
Дух прозренья и загадок
пусть сопровождает нас.

Я пишу исторический роман

В. Аксенову

В склянке темного стекла
из-под импортного пива
роза красная цвела
гордо и неторопливо.
Исторический роман
сочинял я понемногу,
пробиваясь как в туман
от пролога к эпилогу.

Были дали голубы,
было вымысла в избытке,
и из собственной судьбы
я выдергивал по нитке.
В путь героев снаряжал,
наводил о прошлом справки
и поручиком в отставке
сам себя воображал.

Вымысел — не есть обман.
Замысел — еще не точка.
Дайте дописать роман
до последнего листочка.

И пока еще жива
роза красная в бутылке,
дайте выкрикнуть слова,
что давно лежат в копилке:

каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
не стараясь угодить...
Так природа захотела.
Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить.

* * *

Сестра моя прекрасная, Натела,
прошли года, а ты помолодела —
так чист и ясен пламень глаз твоих...
Возьми родную речь, горбушку хлеба,
и эти облака, и это небо
и раздели на нас, на шестерых.

Вот заповедь ушедшего поэта,
чья песня до конца еще не спета.
Сестра моя, всё — только впереди!
Пускай завистникам пока неймется...
Галактион когда-нибудь вернется,
он просто задержался по пути.

Средь океана слов и фраз напрасных,
не столь прекрасных, сколько безопасных,
как острова лежат его слова,
спешит перо как будто пред грозою...
Его глаза подернуты слезою:
поэты плачут — нация жива.

* * *

Берегите нас, поэтов. Берегите нас.
Остаются век, полвека, год, неделя, час,
три минуты, две минуты, вовсе ничего...
Берегите нас. И чтобы все — за одного.

Берегите нас с грехами, с радостью и без.
Где-то, юный и прекрасный, ходит наш Дантес.
Он минувшие проклятья не успел забыть,
но велит ему призванье пулю в ствол забить.

Где-то плачет наш Мартынов —
поминает кровь.
Он уже убил однажды, он не хочет вновь.
Но судьба его такая, и свинец отлит,
и двадцатое столетье так ему велит.

Берегите нас, поэтов, от дурацких рук,
от поспешных приговоров, от слепых подруг.
Берегите нас, покуда можно уберечь.
Только так не берегите, чтоб костями нам лечь,

только так не берегите, как борзых псари,
только так не берегите, как псарей цари.
Будут вам стихи и песни, и еще не раз...
Только вы нас берегите, берегите нас.

Чаепитие на Арбате

Пейте чай, мой друг старинный,
забывая бег минут.
Желтой свечкой стеариновой
я украшу ваш уют.

Не грустите о поленьях,
о камине и огне...
Плед шотландский на коленях,
занавеска на окне.

Самовар, как бас из хора,
напевает в вашу честь,
даже чашка из фарфора
у меня, представьте, есть.

В жизни выбора не много:
кому — день, а кому — ночь.
Две дороги от порога:
одна — в дом, другая — прочь.

Нынче мы — в дому прогретом,
а не в поле фронтовом,
не в шинелях, и об этом
лучше как-нибудь потом.

Мы не будем наши раны
пересчитывать опять.
Просто будем, как ни странно,
улыбаться и молчать.

Я для вас, мой друг, смешаю
в самый редкостный букет
пять различных видов чая
по рецептам прежних лет.

Кипятком крутым, бурлящим
эту смесь залью для вас,
чтоб бывшее с настоящим
не сливалось хоть сейчас.

Настояться дам немножко,
осторожно процежу
и серебряную ложку
рядом с чашкой положу.

Это тоже вдохновенье...
Но, склонившись над столом,
на какое-то мгновенье
все же вспомним о былом:

над безумною рекою
пулеметный ливень сек,
и холодную щекою
смерть касалась наших щек.

В битве выбор прост до боли:
или пан, или пропал...

А потом, живые, в поле
мы устроили привал.

Нет, не то чтоб пировали,
а, очухавшись слегка,
просто душу согревали
кипятком из котелка.

Разве есть напиток краше?
Благодарствуй, котелок!
Но встревал в блаженство наше
чей-то горький монолог:

«Как бы ни были вы святы,
как ни праведно житье,
вы с ума сошли, солдаты:
это — дрянь, а не питье!

Вас забывчивость погубит,
равнодушие вас убьет:
тот, кто крепкий чай разлюбит,
сам предаст и не поймет...»

Вы представьте, друг любезный,
как казались нам смешны
парадоксы те из бездны
фронтowego сатаны.

В самом деле, что — крученный
чайный лист — трава и сор
пред планетой, обреченной
на страданье и разор?

Что — напиток именитый?..
Но, среди крови и разлук,
целый мир полузабытый
перед нами ожил вдруг.

Был он теплый и прекрасный...
Как обида нас ни жгла,
та сентенция напрасной,
очевидно, не была.

Я клянусь вам, друг мой давний,
не случайны с древних лет
эти чашки, эти ставни,
полумрак и старый плед,

и счастливый час покоя,
и заварки колдовство,
и завидное такое
мирной ночи торжество:
разговор, текущий скупом,
и как будто даже скука,
но... не скука — естество.

Песенка кавалергарда

Кавалергарды, век не долог,
и потому так сладок он.
Поет труба, откинут полог,
и где-то слышен сабель звон.
Еще рокошет голос струнный,

но командир уже в седле...
Не обещайте деве юной
любви вечной на земле!

Течет шампанское рекою,
и взгляд туманится слегка,
и всё как будто под рукою,
и всё как будто на века.
Но как ни сладок мир подлунный —
лежит тревога на челе...
Не обещайте деве юной
любви вечной на земле!

Напрасно мирные забавы
продлить пытаетесь, смеясь.
Не раздобыть надежной славы,
покуда кровь не пролилась...
Крест деревянный иль чугунный
назначен нам в грядущей мгле...
Не обещайте деве юной
любви вечной на земле!

Лунин в Забайкалье

Н. Эйдельману

Мелькнуло короткое лето.
Увяла забвенья трава.
Какая-то женщина где-то
на вас потеряла права.

О вы, неудачник опасный,
скажите: зачем-почему
сменили халат свой атласный
на вечную эту тюрьму?

Ступайте на волю скорее,
велите возок заложить...
Чем медленней мы — тем старее.
Пора бы собой дорожить.

Отвага нас детская мучит,
в кирпич кулачками стучит.
Дерзаниям штык не научит,
с любовью замок разлучит.

Неужто что было, то было?
И гвардия вас позабыла,
и даже не снитесь вы ей...

А чем же вы это опасны?
Наверное, тем, что прекрасны,
и тем, что, наверно, пристрастны
в любви к отчизне своей.

Кабинеты моих друзей

Что-то дождичек удач падает не часто.
Впрочем, жизнью и такой стоит дорожить.
Скоро все мои друзья выбьются в начальство,
и, наверно, мне тогда станет легче жить.

Робость давнюю свою я тогда осилю.
Как пойдут мои дела — можно не гадать:
зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилу,
и на сердце у меня будет благодать.

Зайду к Белле в кабинет, скажу: «Здравствуй,
Белла!»
Скажу: «Дело у меня, помоги решить...»
Она скажет: «Ерунда, разве это дело?...»
И конечно, сразу мне станет легче жить.

Часто снятся по ночам кабинеты эти,
не сегодняшние, нет; завтрашние, да:
самовары на столе, дама на портрете...
В общем, стыдно по пути не зайти туда.

Города моей страны все в леса одеты,
звук пилы и топора трудно заглушить:
может, это для друзей строят кабинеты —
вот построят, и тогда станет легче жить.

Боярышник «Пастушья шпора»

Боярышник «Пастушья шпора» —
моя надежда и опора,
мой Росинант, мое седло...
Куда бы время ни текло,
от дружеского разговора
в душе становится светло,
и нету места в ней для вздора.

Душа — зеркальное стекло:
два силуэта в ней прекрасных,
враждующих и несогласных.
Мне холодно, а им тепло.

Тот маленький из них, который
как клерк из маленькой конторы,
довольный маленьким бытём,
как узник — коркой и битём,
такой, с иголочки одетый,
влюбленный в женщину до слез...
И как букеты белых роз
несущий белые манжеты...

И тот большой из них, который
готов толкнуть меня на споры
легко, играючи, со зла,
как волк в кольце охрипшей своры,
не знающий, что жизнь прошла...

Бесчинствуйте, кому охота!
А у меня одна забота:
туда отправиться скорей,
где тянется от косогора
боярышник «Пастушья шпора»
рукой своей
к слезе моей.

Кому проиграет труба
печальные в небо мотивы,
кому улыбнется судьба,
а он улыбнется, счастливый.

Жаль, что молодость мелькнула,
жаль, что старость коротка.

Всё теперь как на ладони: лоб в поту,
душа в ушибах...

Но зато уже не будет ни загадок, ни ошибок —
только ровная дорога до последнего звонка.

Две жизни прожить не дано...

Пожелание друзьям

Ю. Трифонову

Давайте восклицать, друг другом восхищаться.
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты —
ведь это всё любви счастливые моменты.

Давайте горевать и плакать откровенно
то вместе, то поврозь, а то попеременно.
Не будем придавать значения злословью —
поскольку грусть всегда соседствует с любовью.

Давайте понимать друг друга с полуслова,
чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова.
Давайте жить, во всем друг другу потакая, —
тем более что жизнь короткая такая!

**Божественная суббота,
или Стихи о том, как нам
с Зиновием Гердтом
в одну из суббот не было
куда торопиться**

Божественной субботы
хлебнули мы глоток.
От празднеств и работы
закрылись на замок.
Ни суетная дама,
ни улиц мельтешня
нас не коснутся, Зяма,
до середины дня.

Как сладко мы курили!
Как будто в первый раз
на этом свете жили
и он сиял для нас.
Еще придут заботы,
но главное в другом:
Божественной субботы
нам терпкий вкус знаком!

Уже готовит старость
свой неременный суд.
А много ль нам досталось
за жизнь таких минут?

На пышном карнавале
торжественных невзгод

мы что-то не встречали
божественных суббот.

Ликуй, мой друг сердечный,
сдаваться не спеши,
пока течет он, грешный,
неспешный пир души.
Дыши, мой друг, свободой...
Кто знает, сколько раз
еще такой субботой
наш век одарит нас.

Заезжий музыкант

Заезжий музыкант целуется с трубою,
пассажи по утрам, так просто, ни о чем...
Он любит не тебя. Опомнись. Бог с тобою.
Прижмись ко мне плечом,
прижмись ко мне плечом.

Живет он третий день в гостинице районной,
где койка у окна — всего лишь по рублю.
И на своей трубе, как чайник, раскаленной,
вздыхает тяжело...
А я тебя люблю.

Ты слушаешь его задумчиво и кротко,
как пенье соловья, как дождь и как прибор.
Его большой трубы простуженная глотка
отчаянно хрипит. (Труба, трубы, трубой...)

Трубач играет туш, трубач потеет в гамме,
трубач хрипит свое и кашляет, хрипя...
Но как портрет судьбы — он весь
в оконной раме,
да любит не тебя...
А я люблю тебя.

Дождусь я лучших дней и новый плащ
надену,
чтоб пред тобой проплыть, как поздний
лист, дрожа...
Не много ль я хочу, всему давая цену?
Не сладко ль я живу, тобой лишь дорожа?

Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью:
заезжий музыкант играет на трубе!
Что мир весь рядом с ней, с ее горячей медью?..
Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе...

* * *

А мы с тобой, брат, из пехоты.
А летом лучше, чем зимой.
С войной покончили мы счеты...
Бери шинель —
пошли домой.

Война насгнула и косила.
Теперь конец и ей самой.
Четыре года мать без сына...

Бери шинель —
пошли домой.

Мы все — войны шальные дети:
и генерал и рядовой.

Опять весна на белом свете...

Бери шинель —
пошли домой.

К золе и пеплу наших улиц
опять, опять, товарищ мой,
скворцы пропавшие вернулись...

Бери шинель —
пошли домой.

А ты с закрытыми очами
спишь под фанерною звездой.
Вставай, вставай, однополчанин,
бери шинель —
пошли домой.

Что я скажу твоим домашним?
Как встану я перед вдовой?
Неужто клясться днем вчерашним?..

Бери шинель —
пошли домой.

Сталин трубочку раскурит —
станут листья опадать.
Сталин бровь свою нахмурит —
трем народам не бывать.

Что ничтожный тот комочек
перед ликом всей страны?
А усы в вине намочит —
все без удержу пьяны.

Вот эпоха всем эпохам!
Это ж надо — день ко дню,
пусть не сразу, пусть по крохам,
обучала нас вранью.

И летал усатый сокол,
целый мир вгоняя в дрожь.
Он народ ценил высоко,
да людей не ставил в грош.

Нет, ребята, вы не правы
в объясненьи прошлых драм,
будто он для нашей славы
нас гонял по лагерям.

С его именем ходили
(это правда) на врага,
но ведь и друг дружку били
(если правда дорога).

А дороги чем мостили?
А за все платили чем?

Слишком быстро все простили,
позабыли между тем...

Нет, ребята, хоть упрямы
демонстрации любви,
но следы минувшей драмы
все равно у нас в крови.

Чем история богата,
тем и весь народ богат...
Нет, вы знаете, ребята,
Сталин очень виноват.

Сентябрь

Чем дальше от Москвы, тем чище дух
крестьянства,
тем голубей вода, тем ближе к небесам.
Гармоники лесной завидно постоянство,
и гармониста чуб склоняется к басам.

Мелькают пальцы в ряд, рискованно и споро,
рождается мотив в сентябрьском огне,
и синие глаза как синие озера...
Но бремя тяжких дум на их песчаном дне.

Как сладко в том краю, чужих невзгод не зная.
Чем ближе к небесам — тем ненаглядней твердь.
И плачет о своем гармоника лесная,
и на ее слезу попробуй не ответь.

Дом на Мойке

Меж домом графа Аракчеева и домом
Дельвига, барона,
не просто тротуар исхоженный, а поле —
вечно и огромно,
вся жизнь, как праздник запоздалый,
как музыкант в краю чужом,
отрезок набережной давней, простертой
за его окном.

Меж домом графа Аракчеева и домом
Дельвига, барона,
все уместилось понемногу: его любовь,
его корона,
беспомощность — его кормилица,
и перевозчика весло...
О чем, красотка современная, ты вдруг
вдохнула тяжело?

Меж домом графа Аракчеева и домом
Дельвига, барона,
как между Было и Не стало —
нерукотворная черта.
Ее мы топчем упоенно, и преступаем
окрыленно,
и кружимся, и кувыркаемся, и не боимся
ни черта.

Прогуливаясь вдоль по набережной,
предвидеть ничего нельзя.

Когда воротимся мы в Портленд, клянусь —
я сам взбегу на плаху.
Да только в Портленд воротиться нам
не придется никогда.

Что ж, если в Портленд нет возврата,
поделим золото как братья,
поскольку денежки чужие не достаются
без труда.

Когда воротимся мы в Портленд, нас примет
родина в объятья.
Да только в Портленд воротиться не дай
нам, Боже, никогда.

* * *

Впереди идет сержант.
На груди — лиловый бант.
А в глазах его печальных — и надежда и талант.

Он не любит воевать.
Он не хочет убивать.
Он ничьи не может жизни у природы воровать.

А за ним идет солдат
не высок, не бородат.
Он такому командиру и признателен и рад.

У него в дому жена.
Не нужна ему война.
А уж если разобраться, то кому она нужна?

Впрочем, эти двое — сон
в обрамлении погон,
исключение из правил, а не норма, не закон.

Ведь у прочих всё не так:
все — вояки из вояк,
а с вояками такими уцелеть нельзя никак.

* * *

В. Некрасову

Мы стоим с тобой в обнимку возле Сены,
как статисты в глубине парижской сцены,
очень скромно, натурально, без прикрас...
Что-то вечное проходит мимо нас.

Расставались мы где надо и не надо —
на вокзалах и в окопах Сталинграда,
на минутку и навеки, и не раз...
Что-то вечное проходит мимо нас.

* * *

Я живу в ожидании краха,
унижений и всяких утрат.
Я, рожденный в империи страха,
даже празднествам светлым не рад.

Все кончается на полуслове
раз, наверно, по сорок на дню...
Я, рожденный в империи крови,
и своей-то уже не ценю.

* * *

Красный снегирь на июньском суку —
шарфик на горлышке.
Перебороть соберусь на муку
хлебные зернышки.

И из муки, из крупитчатой той,
выпеку, сделаю
крендель крылатый, батон золотой,
булочку белую.

Или похвастаюсь перед тобой
долею тяжкою:
потом и болью, соленой судьбой,
горькой черняшкою.

А уж потом погляжу между строк
(так, от безделия),
как они лягут тебе на зубок,
эти изделия.

* * *

Сталин Пушкина листал,
суть его понять старался,
но магический кристалл
непрозрачным оставался.

Что увидишь сквозь него
даже острым глазом горца?
Тьму — и больше ничего,
но не душу стихотворца.

Чем он покорял народ,
если тот из тьмы и света
гимны светлые поет
в честь погибшего поэта?

Да, скрипя своим пером,
чем он потрафлял народу?
Тем, что воспевал свободу?..
Но, обласканный царем,
слыл оппозиционером,
был для юношей примером
и погиб в тридцать седьмом!..

Снова этот год проклятый,
ставший символом уже!
Был бы, скажем, тридцать пятый —
было б легче на душе.

Может, он — шпион английский,
если с Байроном дружил?

Находил усладу в риске —
вот и голову сложил...

Впрочем, может, был агентом
эфиопского царя?..
Жил, писал о том и этом,
эпиграммами соря...

Над Москвой висела полночь,
стыла узкая кровать,
но Иосиф Виссарьоныч
не ложился почивать.

Все он мог: и то, и это,
расстрелять, загнать в тюрьму,
только вольный дух поэта
неподвластен был ему.

Он в загадках заблудился
так, что тошно самому...
И тогда распорядился
вызвать Берия к нему.

* * *

Вот король уехал на войну. Он Москву
покинул.
Иль не ту он карту подобрал, из колоды
вынул?
Как же без него теперь Москва, сам он
без Москвы?
Ни из сердца не идет она, ни из головы.

А какую видится она из окна теплушки?
Тишина на улочках ее, на западе — пушки.
Распахнулась скорбная тетрадь, а запад в огне.
Дворнику парадного крыльца словно свет в окне.

До чего ж кровавая война! Нет ее кровавей.
Но, покуда он бежит, хрипя о своей державе,
перед ним — лишь мамины глаза, да судьба его,
дворик детства, крашенная дверь... Больше ничего.

Державин

Запах столетнего меда,
слова и золота вязь...
Оды державинской мода
снова в цене поднялась.

Сколько ценителей тонких,
сколько приподнятых крыл!..
Видишь, как зреет в потомках
имя твое, Гавриил?

Будто под светом вечерним
встало оно из земли...
Вот ведь и книжные черви
справиться с ним не смогли.

Стоит на миг оглянуться,
встретиться взором с тобой —
слышно: поэты клянутся
кровью твоей голубой.

Мнился уже обреченным
утлый огарок свечи...
Золото резче на черном.
Музыка звонче в ночи.

Гуще толпа у порога,
тверже под ними земля...
Нет, их не так уж и много.
Да ведь и всё от нуля.

* * *

Шарманка старая крутилась,
катилось жизни колесо.
Я пил вино за вашу милость
и за минувшее за все.

За то, что в прошлом не случилось
на бранном поле помереть,
а что разбилось — то разбилось,
зачем осколками звенеть?

Шарманщик был в пальто потертом,
он где-то в музыке витал.
Моим ладоням, к вам простертым,
значенья он не придавал.

Я вас любил, но клялся прошлым,
а он шарманку обнимал,
моим словам, земным и пошлым,
с тоской рассеянной внимал.

Текла та песня как дорога,
последних лет не торопя.
Все звуки были в ней от Бога —
ни жалкой нотки от себя.

Но падали слова убого,
живую музыку губя:
там было лишь одно от Бога,
все остальное — от себя.

* * *

Солнышко сияет, музыка играет.
Отчего ж так сердце замирает?
Там, за поворотом, недурен собою,
полк гусар стоит перед толпою.
Барышни краснеют, танцы предвкушают,
кто кому достанется, решают.

Но полковник главный на гнедой кобыле
говорит: «Да что ж вы всё забыли!
Танцы были в среду, нынче воскресенье,
с четверга — война, и нет спасенья.
А на поле брани смерть гуляет всюду.
Может, не вернемся, врать не буду!..»

Барышни не верят, в кулачки смеются,
невдомек, что вправду расстаются.
Вы, мол, повоюйте, если вам охота,
да не опоздайте из похода...
Солнышко сияет, музыка играет,
отчего ж так сердце замирает?

На смерть Бориса Балтера

Не все ль равно, что нас сведет в могилу —
пуля иль простуда?
Там, верно, очень хорошо: ведь нет дурных
вестей оттуда.
Я жалоб не слыхал от них, никто
не пожелал вернуться.
Они молчат, они в пути. А плачут те,
что остаются.

Они молчат Бог весть о чем — иные берега
пред ними,
и нету разницы для них между своими
и чужими.

К великой тайне приобщась, они уходят
постепенно
под скорбный марш,
под вечный марш,
под польский марш,
под марш Шопена.

* * *

Оркестр играет боевые марши,
старается ни свет и ни заря.
Не лейте слез, родимые мамыши,
на крылья наши слез не лейте зря!

В пророчества их горькие не веря,
мы ждали той минуты золотой,
чтоб с птицы зла попадали перья,
когда оркестр ударит духовой.

Какие нас морочили обманы!
Какие пули жалили во мгле!
А сами мы, юны и безымянны,
за что потом покоились в земле?

А все ведь та музыка удалая,
мелодии знакомой благодать
послышится, свиданье отдаляя,
сближая с тем, чего не миновать.

И свистнут пули будто бы впервые,
и выйдет смерть и поглядит в глаза...
А там — опять оркестры духовые
смешают труб и меди голоса.

* * *

Антон Палыч Чехов однажды заметил,
что умный любит учиться, а дурак учить.
Скольких дураков в этой жизни я встретил!
Мне давно пора уже орден получить.

Дураки обожают собираться в стаю.
Впереди — главный во всей красе.
В детстве я верил, что однажды встану,
а дураков нету: улетели все.

Ах, детские сны мои — какая ошибка,
в каких облаках я по глупости витал!
У природы на устах коварная улыбка...
Может быть, чего-то я не рассчитал.

А умный в одиночестве гуляет кругами,
он ценит одиночество превыше всего.
И его так просто взять голыми руками...
Скоро их повыловят всех до одного.

Когда же их повыловят, наступит эпоха,
которую не выдумать и не описать.
С умным хлопотно, с дураком плохо.
Нужно что-то среднее, да где же его взять?

Дураком быть выгодно, да очень не хочется.
Умным очень хочется, да кончится битьем...
У природы на устах коварные пророчества.
Но может быть, когда-нибудь к среднему
придем.

* * *

Умереть — тоже надо уметь,
на свидание к небесам
паруса выбирая тугие.
Хорошо, если выберешь сам,
хуже, если помогут другие.

Смерть приходит тиха,
бестелесна
и себе на уме.
Грустных слов чепуха
неуместна,
как холодное платье — к зиме.

И о чем толковать?
Вечный спор
ни Христос не решил, ни Иуда...
Если там благодать,
что ж никто до сих пор
не вернулся с известьем оттуда?

Умереть — тоже надо уметь,
как прожить от признанья до сплетни,
и успеть предпоследний мазок положить,
сколотить табурет предпоследний,
чтобы к самому сроку,
как в пол — предпоследнюю чашу,
предпоследние слезы со щек...
А последнее — Богу,
последнее — это не наше,
последнее — это не в счет.

Умереть — тоже надо уметь,
как бы жизнь ни ломала
упрямо и часто...
Отпущенье грехов займеть —
ах, как этого мало
для вечного счастья!

Сбитый с ног наповал,
отпущением что он добудет?
Если б Бог отпущенье давал...
А дают-то ведь люди!

Что — грехи?
Остаются стихи,
продолжают бесчинства по свету,
не прося снисхожденья...
Да когда бы и вправду грехи,
а грехов-то ведь нету,
есть просто движенье.

* * *

Часики бьют так задумчиво,
медленно, не торопясь.
И в ожидании лучшего
жилка на лбу напряглась,
хоть понимаю, естественно,
счастья желая себе:
сложится все соответственно
вере, слезам и судьбе.

* * *

У Спаса на Кружке забыто наше детство.
Что видится теперь в раскрытое окно?
Все меньше мест в Москве, где можно
нам погреться,
все больше мест в Москве, где пусто и темно.

Мечтали зло унять и новый мир построить,
построить новый мир, иную жизнь начать.
Все меньше мест в Москве, где есть
о чем поспорить,
все больше мест в Москве, где есть
о чем молчать.

Куда-то все спешит надменная столица,
с которою давно мы перешли на «вы»...
Все меньше мест в Москве, где помнят
наши лица,
все больше мест в Москве, где и без нас
правы.

* * *

Как время беспощадно,
дела его и свет.
Ну я умру, ну ладно —
с меня и спросу нет.

А тот, что с нежным пухом
над верхнею губой,
с еще нетвердым духом,
разбуженный трубой, —

какой счастливой схваткой
разбужен он теперь,
подкованною пяткой
захлопывая дверь?

Под звуки духовые
не ведая о том,
как сладко все впервые,
как горько все потом...

Проводы у военкомата

Б. Биргеру

Вот оркестр духовой. Звук медовый.
И пронзителен он так, что — ах...
Вот и я, молодой и бедовый,
с черным чубчиком, с болью в глазах.

Машут ручки нелепо и споро,
крики скорбные тянутся вслед,
и безумцем из черного хора
нарисован грядущий сюжет.

Жизнь музыкой бравурной объята —
всё о том, что судьба пополам,
и о том, что не будет возврата
ни к любви и ни к прочим делам.

Раскаляются медные трубы —
превращаются в пламя и дым.
И в улыбке растянута губы,
чтоб запомнился я молодым.

* * *

На Сретенке ночной надежды голос слышен.
Он слаб и одинок, но сладок и возвышен.
Уже который раз он разрывает тьму...
И хочется верить ему.

Когда пройдет нужда за жизнь свою бояться,
тогда мои друзья с прогулки возвратятся,
и расцветет Москва от погребов до крыш...
Тогда опустеет Париж.

А если все не так, а все как прежде будет,
пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит,
что зря я распахнул напрасные крыла...
Что ж делать? Надежда была.

Романс

Стали чаще и чаще являться ко мне
с видом пасмурным и обреченным
одна дама на белом, на белом коне,
а другая на черном, на черном.

И у той, что на белом, такие глаза,
будто белому свету не рады,
будто жизни осталось на четверть часа,
а потом — всё утраты, утраты.

И у той, что на черном, такие глаза,
будто это — вместилище муки,

будто жизни осталось на четверть часа,
а потом — всё разлуки, разлуки.

Ах, когда б вы ко мне заглянули в глаза,
ах, когда б вы в мои поглядели,—
будто жизни осталось на четверть часа,
а потом — всё потери, потери.

* * *

Кириллу Померанцеву

Как хорошо, что Зворыкин уехал
и телевиденье там изобрел!
Если бы он из страны не уехал,
он бы, как все, на Голгофу взошел.

И не сидели бы мы у экранов,
и не пытались бы время понять,
и откровения прежних обманов
были бы нам недоступны опять.

Как хорошо, что уехал Набоков,
тайны разлуки ни с кем не деля.
Как пофартило! А скольких пророков
не защитила родная земля!

Был этот фарт ну не очень-то сладок.
Как ни старалась беда за двоих,
всё же не выпали в мутный осадок
тернии их и прозрения их.

Как хорошо, что в прозрении трудном
наши глаза застилает слеза!
Даже и я, брат, в моем неуютном
благополучии зрю небеса.

Что же еще остается нам, кроме
этих, еще не разбитых оков?
Впрочем, платить своей болью и кровью —
это ль не жребий во веки веков?

* * *

О. В. Волкову

Гомон площади Петровской,
Знаменка, Коровий вал —
драгоценные обноски...
Кто их с детства не знал?

Кто Пречистенки не холил,
Божедомки не любил,
по Варварке слез не пролил,
Якиманку позабыл?

Сколько лет без меры длился
этот славный карнавал!
На Покровке я молился,
на Мясницкой горевал.

А Тверская, а Тверская,
сея праздник и тоску,

от себя не отпуская,
проводжала сквозь Москву.

Не выходят из сознания
(хоть иные времена)
эти древние названья,
словно дедов имена.

И живет в душе, не тая,
пусть нелепа, да своя,
эта звонкая, святая,
поредевшая семья.

И в мечте о невозможном
словно вижу наяву,
что и сам я не в Безбожном,
а в Божественном живу.

О Володе Высоцком

Марине Владимировне Поляковой

О Володе Высоцком я песню придумать
решил:
вот еще одному не вернуться домой из похода.
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу
затушил...
Как умел, так и жил, а безгрешных
не знает природа.

Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом
отправляться и нам по следам по его
по горячим.

Пусть кружит над Москвою охрипший
его баритон,
ну а мы вместе с ним посмеемся
и вместе поплачем.

О Володе Высоцком я песню придумать хотел,
но дрожала рука и мотив со стихом
не сходилась...

Белый аист московский на белое небо взлетел,
черный аист московский на черную землю
спустился.

Еще один романс

В моей душе запечатлен портрет одной
прекрасной дамы.

Ее глаза в иные дни обращены.
Там хорошо, и лишних нет, и страх
не властен над годами,
и все давно уже друг другом прощены.

Еще покуда в честь нее высокий хор поет
хвалебно
и музыканты все в парадных пиджаках.
Но с каждой нотой, Боже мой, иная
музыка целебна...

И дирижер ломает палочку в руках.

Этой порою в Салослове — стужа, и снег,
и метели.

Я к вам в письме пошутил, что,
быть может, мы зря не взлетели:
нам, одуревшим от всяких утрат
и от всяких торжеств,
самое время использовать опыт крылатых
существ.

Нас, тонконогих, и нас, длинношеих,
нелепых, очкастых,
терпят еще и возносят еще при свиданьях
нечастых.

Не потому ли, что нам удалось заработать
горбом
точные знания о расстоянье меж Злом
и Добром?

И оттого нам теперь ни к чему вычисления эти.
Будем надеяться снова увидеться

в будущем лете:
будто лишь там наша жизнь так загадочно
не убывает...

Впрочем, вот ангел над лампой летает...
Чего не бывает?

* * *

Ю. Даниэлю

Не успел на жизнь обидеться —
вся и кончилась почти.
Стало реже детство видеться,
так, какие-то клочки.

И уже не спросишь, не с кого.
Видно, каждому — свое.
Были песни пионерские,
было всякое вранье.

И по щучьему велению,
по лесам и по морям
шло народонаселение
к магаданским лагерям.

И с фанерным чемоданчиком
мама ехала моя
удивленным неудачником
в те богатые края.

Забываются минувшие
золотые времена;
как монетки утонувшие,
не всплывут они со дна.

Память пылью позасыпало?
Постарел ли?
Не пойму:

вправду ль нам такое выпало?
Для чего? И почему?

Почему нам жизнь намерила
вместо хлеба отрубей?..

Что Москва слезам не верила —
это помню.

Хоть убей.

Из стихов к роману «Свидание с Бонапартом»

Вдали от собственного дома,
на льдине из чужой воды —
следы осеннего разгрома,
побед несбывшихся плоды.
Окончен бой. И в нем, жестоком,
мы проиграли. Генерал
на льдину хрупкую упал.
Войны таинственным итогом
пренебрегая, мертвым оком
последний подает сигнал
прощанья перед встречей с Богом.

И юношеские года,
и лет покойных череда —
все кажется минутным вздором.
Лишь лед Зачанского пруда
(во сне иль наяву) всегда
перед его потухшим взором.

Нам преподало Провиденье
не просто меру поведенья,
а горестный урок паденья;
и за кровавый тот урок
кому тут выскажешь упрек —
пустых словес нагроможденье?

Ну хорошо. Он бездыхан.
А мы-то как же, молодые,
пусть вшивые, но ведь живые?
Неужто из горячих ран
себе соорудим карьеру
и будем хвастаться не в меру
под батальонный барабан?

Август в Латвии

Булочки с тмином. Латышский язык.
Красные сосны. Воскресные радости.
Все, чем живу я, к чему я приник
в месяце августе, в месяце августе.

Не унижайся, видземский пастух,
пестуй осанку свою благородную,
дальней овчарни торжественный дух
пусть тебе будет звездой путеводною.

Не зарекайся, видземский король,
ни от обид, ни от бед, ни от хворости,
не обольщай себя волей, уволь:
вольному — воля, гордому — горести.

Тот, кто блажен, не боится греха.
Бедность и праведность перемежаются.
Дочку отдай за того пастуха,
пусть два источника перемешаются.

Между удачей, с одной стороны,
и неудачей жизнь моя мечется
в сопровождении медной струны
августа месяца, августа месяца.

* * *

У поэта соперников нету
ни на улице и ни в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
это он не о вас — о себе.

Руки тонкие к небу возносит,
жизнь и силы по капле губя.
Догорает, прощения просит:
это он не за вас — за себя.

Но когда достигает предела
и душа отлетает во тьму...
Поле пройдено. Сделано дело.
Вам решать: для чего и кому.

То ли мед, то ли горькая чаша,
то ли адский огонь, то ли храм...

Все, что было его, — нынче ваше.
Всё для вас. Посвящается вам.

* * *

Б. Сарнову

С последней каланчи, в Сокольниках стоящей,
никто не смотрит вдаль на горизонт горящий,
никто не смотрит вдаль, все опускают взор.
На пенсии давно усатый брандмайор.

Я плачу не о том, что прошлое исчезло:
ведь плакать о былом смешно и бесполезно.
Я плачу не о том, что кануло во мгле,
как будто нет услад и ныне на земле.

Я плачу о другом — оно покуда с нами,
оно у нас в душе, оно перед глазами,
еще горяч и свеж его прекрасный след —
его не скроет ночь и не проявит свет.

О чем бы там перо, красуясь, ни скрипело —
душа полна утрат, она не отскорбела.
И как бы ни лились счастливые слова —
душа полна потерь, хоть, кажется, жива.

Ведь вот еще вчера, крылаты и бывалы,
сидели мы рядком, и красные бокалы
у каждого из нас — в изогнутой руке...
Как будто бы пожар — в прекрасном далеке.

И на пиру на том, на празднестве тягучем,
я, видно, был один, как рекрут, не обучен,
как будто бы не мы метались в том огне,
как будто тот огонь был неизвестен мне.

* * *

Ю. Карякину

Ну что, генералиссимус прекрасный,
потомки, говоришь, к тебе пристрастны?
Их не угомонить, не упросить...
Одни тебя мордуют и поносят,
другие всё малюют, и возносят,
и молятся, и жаждут воскресить.

Ну что, генералиссимус прекрасный?
Лежишь в земле на площади на Красной...
Уж не от крови ль красная она,
которую ты пригоршнями пролил,
пока свои усы блаженно холил,
Москву обозревая из окна?

Ну что, генералиссимус прекрасный?
Твои клешни сегодня безопасны —
опасен силуэт твой с низким лбом.
Я счета не веду былым потерям,
но, пусть в своем возмездье и умерен,
я не прощаю, помня о былом.

Воспоминание о Дне Победы

Была пора, что входит в кровь, и помнится,
и снится.

Звенел за Сретенкой трамвай, светало
на Мясницкой.

Еще пожар не отгудел, да я отвоевал
в те дни, когда в Москве еще Арбат
существовал.

Живые бросились к живым, и было
правдой это,
любили женщину одну — она звалась Победа.
Казалось всем, что всяк уже навек отгоревал
в те дни, когда в Москве еще Арбат
существовал.

Он нашей собственностью был, и мы
клялись Арбатом.
Еще не знали, кто кого объявит виноватым.
Как будто нас девятый вал отныне миновал
в те дни, когда в Москве еще Арбат
существовал.

Какие слезы на асфальт из круглых глаз
катились,
когда на улицах Москвы в обнимку мы
сходились —
и тот, что пули избежал, и тот, что наповал, —
в те дни, когда в Москве еще Арбат
существовал.

* * *

М. Козакову

Приносит письма письмоносец
о том, что Пушкин — рогоносец.
Случилось это в девятнадцатом столетье.
Да, в девятнадцатом столетье
влетели в окна письма эти,
и наши предки в них купались, словно дети.

Еще далече до дуэли.
В догадках ближние дурели.
Все созревало, как нарыв на теле... Словом,
еще последний час не пробил,
но скорбным был арапский профиль,
как будто создан был художником Лунёвым.

Я знаю предков по картинкам,
но их пристрастье к поединкам —
не просто жажда проучить и отличиться,
но в кажущейся жажде мести
преобладало чувство чести,
чему с пеленок пофартило им учиться.

Загадочным то время было:
в понятие чести что входило?
Убить соперника и распрямиться сладко?
Но если дуло грудь искало,
ведь не убийство их ласкало...
И это все для нас еще одна загадка.

И прежде чем решать вопросы
про сплетни, козни и доносы
и расковыривать причины тайной мести,
давайте-ка отложим это
и углубимся в дух поэта,
поразмышляем о достоинстве и чести.

Несчастье

Когда бы Несчастье явилось ко мне
в облики рыцаря да на коне,
грозящем со мной не стесняться, —
я мог бы над ним посмеяться.

Когда бы оно мою жизнь и покой
пыталось разрушить железной рукой
и лик Его злом искажался, —
уж я бы над Ним потешался.

Но дело все в том, что в природе Оно
неясною мерою растворено
и в тучке, и в птичке взлетевшей,
и в брани, что бросил сосед на ходу,
в усмешке, мелькнувшей в минувшем году,
в газете, давно пожелтевшей.

Но в том-то и дело, что нам не видать,
когда Ему выпадет нас испытать
на силу, на волю, на долю.
Как будто бы рядом и нету Его,

как будто бы нет вообще ничего —
а раны посыпаны солью.

Нельзя быть подверженным столь уж всерьез
предчувствиям горьким насмешек и слез,
возможной разлуки и смерти...

Гляди: у тебя изменилось лицо!
Гляди: ты боишься ступить на крыльцо,
и пальцы дрожат на конверте!

И все ж не Ему достаются права,
и все же бессильны его жернова:
и ты на ногах остаешься,
и, маленький, слабый, худой и больной,
нет-нет да объедешь Его стороной,
уйдешь от Него, увернешься.

Наверно, в амбарах души и в крови
хранятся запасы надежд и любви
(а даром они не даются).

И вот, утверждая свое торжество,
бывает, срываешь погоны с Него...
Откуда и силы берутся?

* * *

Черный ворон сквозь белое облако глянет —
значит, скоро кровавая музыка грянет.
В генеральском мундире стоит дирижер,
перед ним — под машинку остриженный хор.

У него — руки в белых перчатках.
Песнопенье, знакомое с давешних пор,
возникает из слов непечатных.

Постепенно вступают штыки и мортиры —
значит, скоро по швам расползутся мундиры,
значит, скоро сподобимся есть за двоих,
забывать мертвецов и бояться живых,
прикрываться истлевшею рванью...
Лишь бы только не спутать своих и чужих,
то проклятья, то гимны горланя.

Разыгрался на славу оркестр допотопный.
Все наелись от пуза музыки окопной.
Дирижер дирижера спешит заменить.
Те, что в поле вповалку (прошу извинить),
с того ворона взоров не сводят,
и кого хоронить, и кому хоронить —
непонятно... А годы уходят.

Все кончается в срок. Лишней крови хватает.
Род людской ведь не сахар: авось не растает.
Двое живы (покуда их вексель продлен),
третий (лишний, наверно) в раю погребен,
и земля словно пух под лопатой...
А над ними с прадедовых самых времен —
черный ворон, во всем виноватый.

Работа

Жест. Быстрый взгляд. Движение души.
На кончике ресницы — влага.
Отточены карандаши,
и приготовлена бумага.

Она бела, прохладна и гладка.
Друзья примолкли сиротливо.
А перспектива так сладка
в зеленом поле объектива.

Определяю день и час,
события изобретаю,
как ворон, вытаращив глаз,
над жертвою очередной витаю.

Нелепо скрючена рука,
искажены черты и поза...
Но перспектива как сладка!
Какая вызревает проза!

Уж целый лист почти совсем готов,
и вдруг как будто прозреваю:
как нищ и беден мой улов,
не те цветы ищу я и срываю.

И жар ловлю не от того огня,
и лгу по мелочам природе...
Что стоит помолиться за меня?
Да нынче вам не до молитвы вроде.

И вновь:

Я. Злость. И трепет у виска.
И пот... Какой квартет отличный!
А перспектива так близка,
и сроки жизни безграничны.

Песенка о молодом гусаре

Грозной битвы пылают пожары,
и пора уж коней под седло.
Изготовились к схватке гусары:
их счастливое время пришло.
Впереди — командир, на нем новый мундир,
а за ним — эскадрон после зимних квартир.
А молодой гусар, в Амалию влюбленный,
он все стоит пред ней коленопреклоненный.

Все погибли в бою. Флаг приспущен.
И земные дела не для них.
И летят они в райские кущи
на конях на крылатых своих.
Впереди — командир, на нем рваный мундир,
а за ним — тот гусар покидает сей мир.
Но чудится ему: по-прежнему влюбленный
он все стоит пред ней коленопреклоненный.

Вот иные столетья настали,
и несчетно воды утекло,
и давно уже нет той Амальи,
и в музее пылится седло.

Позабыт командир — дам уездных кумир.
Жаждет новых потех просвещенный наш мир...
А юный тот гусар, в Амалию влюбленный,
опять стоит пред ней коленопреклоненный.

Надпись на камне

*Посвящается московским
школьникам 33-й школы,
придумавшим слово «арбатство»*

Пускай моя любовь как мир стара, —
лишь ей одной служил и доверялся
я — дворянин арбатского двора,
своим двором введенный во дворянство.

За праведность и преданность двору
пожалован я кровью голубою.
Когда его не станет — я умру,
пока он есть — я властен над судьбою.

Молва за гробом чище серебра
и вслед звучит музыкою прекрасной...
Но ты, моя фортуна, будь добра,
не выпускай моей руки несчастной.

Не плачь, Мария, радуйся, живи,
по-прежнему встречай гостей у входа...
Арбатство, растворенное в крови,
неистребимо, как сама природа.

Арбатские напевы

1

Все кончается неумолимо.
Миг последний печален и прост.
Как я буду без вас в этом мире,
протяженном на тысячи верст,
где всё те же дома и деревья,
и метро, и в асфальте трава,
но иные какие-то лица,
и до вас достучишься едва?

В час, когда распускаются розы,
так остры обонянье и взгляд,
и забытые мной силуэты
в земляничных дворах шелестят,
и уже по-иному крылато
все, что было когда-то грешно,
и спастись от вечной разлуки
унизительно мне и смешно.

Я унижен тобою, разлука,
и в изменника сан возведен,
и уже укоризны поспели
и слетаются с разных сторон,
что лиловым пером заграничным,
к меловым прикасаясь листам,
я тоскую, и плачу, и грежу
по святым по арбатским местам.

Да, лиловым пером из Риеки
по бумаге веду меловой,
лиловее души отраженье —
этот оттиск ее белой,
эти самые нежность и робость,
эти самые горечь и свет,
из которых мы вышли, возникли.
Сочинились...
И выхода нет.

2

Ч. Амирэджиби

Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант.
В Безбожном переулке хиреет мой талант.
Вокруг чужие лица, неизвестные места.
Хоть сауна напротив, да фауна не та.

Я выселен с Арбата и прошлого лишен,
и лик мой чужеземцам не страшен, а смешон.
Я выдворен, затерян среди чужих судеб,
и горек мне мой сладкий, мой
эмигрантский хлеб.

Без паспорта и визы, лишь с розою в руке
слоняюсь вдоль незримой границы на замке
и в те, когда-то мною обжитые края
все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

Там те же тротуары, деревья и дворы,
но речи несердечны и холодны пиры.

Там так же полыхают густые краски зим,
но ходят оккупанты в мой зоомагазин.

Хозяйская походка, надменные уста...
Ах, флора там все та же, да фауна не та...
Я эмигрант с Арбата. Живу, свой крест неся...
Заледенела роза и облетела вся.

* * *

Я горой за сюжетную прозу,
за красоту, что высадит розу
под окошком, у самых дверей.
Она холит ее, поливает,
поливает, как будто справляет
день рождения розы своей.

Распускается каждая ветка.
А потом появляется некто
неизвестно зачем, почему.
Выбрав время, и место, и позу,
наша барышня красную розу,
розу красную дарит ему.

Дверь распахнута. Пропасть разверста.
Всё там есть, и всему там есть место:
и любви, и войне, и суме...
И бушует житейское море,
и спасается кто-то от горя,
но стреляется кто-то во тьме.

К сожалению, все отцветает.
Наша жизнь — она тоже ведь тает,
и всегда невпопад, как на грех.
Даже если решенье не близко,
все зависит от степени риска,
от таланта зависит успех.

Не ищите сюжеты в комодке,
а ищите сюжеты в природе.
Без сюжета и прозы-то нет.
Да, бывает, что всё — под рукою:
и идеи, и мысли — рекою,
даже деньги...

Но нужен сюжет.

* * *

Всему времечко свое: лить дождю,
Земле вращаться,
знать, где первое прозреньё,
где последняя черта...
Началась вдруг война — не успели
попрощаться,
адресами обменяться... Не успели ни черта.

Где встречались мы потом? Где нам
выпала прописка?
Где сходились наши души, воротясь
с передовой?

набекрень паричок рыжеватый, милосердие
в каждом движенье,
а в глазах, голубых и счастливых,
отражаются жизнь и земля.

На бульваре Распай, как обычно,
господин Доминик у руля.
И в его ресторанчике тесном заправляют
полдневные тени,
петербургскою ветхой салфеткой
прикрывая от пятен колени,
розу красную в лацкан вонзая, скатерть
белую с хрустом стеля.

Этот полдень с отливом зеленым между
нами по горстке деля,
как стараются неутомимо Бог, Природа,
Судьба, Провиденье,
короли, спаниели, и розы, и питейные
все заведенья.
Сколько прелести в этом законе!
Но и грусти порой... Voila!

Если есть еще позднее слово, пусть
замолвят его обо мне.
Я прошу не о вечном блаженстве —
о минуте возвышенной пробы,
где возможны, конечно, утраты и отчаянье
даже, но чтобы —
милосердие в каждом движенье
и красавица в каждом окне!

* * *

Ю. Давыдову

Нужны ли гусару сомненья,
их горький и въедливый дым,
когда он в доспехах с рожденья
и слава всегда перед ним?

И в самом начале сраженья,
и после, в пылу, и потом
нужны ли гусару сомненья
в содеянном, в этом и в том?

Покуда он легок, как птица,
пока он горяч и в седле,
врагу от него не укрыться:
нет места двоим на земле.

И что ему в это мгновенье,
когда позади — ничего,
потомков хула иль прощенье?
Они не застанут его.

Он только пришел из похода,
но долг призывает опять.
И это, наверно, природа,
которую нам не понять.

...Ну ладно. Враги перебиты,
а сам он дожил до седин
и, клетчатый пледом прикрытый,
рассеянно смотрит в камин.

Нужны ли гусару сомненья,
хотя бы в последние дни,
когда, огибая поленья,
в трубе исчезают они?

Полдень в деревне (поэма)

Вл. Соколову

1

У дороги карета застыла.
Изогнулся у дверцы лакей.
За дорогой не то чтоб пустыня —
но пейзаж без домов и людей.
Знатный баловень сходит с подножки,
просто так, подышать тишиной.
Фрак малиновый, пряжки, застёжки
и платочек в руке кружевной.

2

У оврага кузнечик сгорает,
рифмы шепчет, амброзию пьёт
и худым локотком утирает
вдохновенья серебряный пот.
Перед ним — человек во фраке
на природу глядит свысока
и журчанием влаги в овраге
снисходительно дышит пока.

Ах, кузнечик, безумный и сирый,
что ему твои рифмы и лиры,
строк твоих и напевов тщета?
Он иной, и иные кумиры
перед ним отворяют врата.
Он с природою слиться не хочет...
Но, назойлив и неумолим,
незнакомый ему молоточек
монотонно стрекочет пред ним.

3

Вдруг он вздрогнул. Надменные брови
вознеслись неизвестно с чего,
и гудение собственной крови
докатилось до слуха его.

Показалось смешным все, что было,
еле видимым сквозь дерева.
Отголоски житейского пира
в этот мир пробивались едва.
Что-то к горлу его подступило:
то ли слезы, а то ли слова...

Скинул фрак. Закатал рукава...
На платке оборвал кружева...

То ли клятвы, а то ли признанья
звучали в его голове...

4

И шагнул он, срывая дыханье,
спотыкаясь о струны в траве,
закружился, цветы приминая,
пятерней шевелюру трепля,

рифмы пробуя, лиру ломая
и за ближнего небо моля.

Он не то чтобы к славе стремился —
просто жил, искушая судьбу...

И серебряный пот заструился
по его невеликому лбу.

Ручка белая к небу воздета.

В глазках карих — ни зла, ни обид...

5

Заждалась у дороги карета,
и лакей на припеке храпит.

Дорожная песня

Еще он не сшит, твой наряд подвенечный,
и хор в нашу честь не споет...

А время торопит — возница беспечный, —
и просятся кони в полет.

Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга,
не смолк бубенец под дугой...

Две вечных подруги — любовь и разлука —
не ходят одна без другой.

Мы сами раскрыли ворота, мы сами
счастливую тройку впрягли,
и вот уже что-то сияет пред нами,
но что-то погасло вдали.

Святая наука — расслышать друг друга
сквозь ветер, на все времена...
Две странницы вечных — любовь и разлука —
поделятся с нами сполна.

Чем дольше живем мы, тем годы короче,
тем слаще друзей голоса.
Ах, только б не смолк под дугой колокольчик,
глаза бы глядели в глаза.

То берег — то море, то солнце — то выюга,
то ангелы — то воронье...
Две вечных дороги — любовь и разлука —
проходят сквозь сердце мое.

Настольные лампы

Арсению Тарковскому

Обожаю настольные лампы,
угловатые, прошлых времен.
Как они свои круглые лапы
умещают средь книг и тетрадей,

под ажурную сенью знамен,
возвышаясь не почестей ради,
как гусары на райском параде
от рождения до похорон!

Обожаю на них абажуры,
кружевные, неярких тонов,
нестареющие их фигуры
и немного надменные позы.
И путем, что, как видно, не нов,
ухожу от сегодняшней прозы
и уже настоящие слезы
проливать по героям готов.

Укрощает настольные лампы
лишь всесильного утра река.
Исчезает, как лиры и латы,
вдохновенье полноточной отваги.
Лишь вздымают крутые бока
аккуратные груды бумаги,
по которым знакомые знаки
равнодушно выводит рука.

Свет, растекшийся под абажуром,
вновь рождает надежду и раж,
как приветствие сумеркам хмурым,
как подобье внезапной улыбки...
Потому что чего не отдашь
за полуночный замысел зыбкий,
за отчаяние, и ошибки,
и победы — всего лишь мираж?

* * *

Глас трубы над городами,
под который, так слабы,
и бежали мы рядами,
и лежали как снопы.

Сочетанье разных кнопок,
клавиш, клапанов, красот;
даже взрыв, как белый хлопок,
безопасным предстает.

Сочетанье ноты краткой
с нотой долгою одной —
вот и все, и с вечной сладкой
жизнью кончено земной.

Что же делать с той трубою,
говорящей не за страх
с нами, как с самой собою,
в доверительных тонах?

С позолоченной под колос,
с подрумяненной под медь?..
Той трубы счастливый голос
всех зовет на жизнь и смерть.

И не первый, не последний,
а спешу за ней, как в бой,
я — пятидесятилетний,
искушенный и слепой.

Как с ней быть? Куда укрыться,
чуя гибель впереди?..
Отвернуться?
Притвориться?
Или вырвать из груди?..

Примета

А. Жигулину

Если ворон в вышине,
дело, стало быть, к войне.
Если дать ему кружить —
значит, всем на фронт иттить.

Чтобы не было войны,
надо ворона убить.
Чтобы ворона убить,
надо ружья зарядить.

А как станем заряжать,
всем захочется стрелять.
Ну а как стрельба пойдет,
пуля дырочку найдет.

Ей не жалко никого,
ей попасть бы хоть в кого,
хоть в чужого, хоть в свово...
Во, и боле ничего.

Во всем видны судьба, и пламень, и порыв.
И с замятыми снежными
разделаться несложно.
Надеюсь, что не зря все, чем я жил и жив...
И я живу надеждами.
Иначе невозможно.

Перед телевизором

Слишком много всяких танков, всяких
пушек и солдат.
И военные оркестры слишком яростно гремят,
и седые генералы, хоть не сами пули льют —
но за скорые победы с наслаждением
водку пьют.
Я один. А их так много, и они горды собой,
и военные оркестры заглушают голос мой.

* * *

Кого бояться и чего стесняться?
Все наперед расписано уже.
Когда придется с критиком стреляться,
возьму старинный лефоше*.
За позабытым Спасом, что на Пёсках,
разметим смертный путь.
Средь аргументов между нами веских, —
ему прицелью в грудь.

* Лефоше — дуэльный пистолет.

Вот он стоит, похожий на лакея,
уставясь трехлинеечкой в меня,
хозяин и Арбата, и Лицея,
и прошлого, и нынешнего дня.

Он не спешит, заступничек народный,
на мушку жизнь мою берет,
и лефосе мой, слишком благородный,
не выстрелит, я знаю наперед.
Я как последний юнкер безоружен,
в лакейскую затею вовлечен...
Но вот курок нажат, Арбат разрушен,
кто прозевал свой выстрел — обречен.

Там, за спиной — чугунная ограда
кругла как мученический венец...
А благородство — это ль не награда
в конце концов за поздний сей конец?

* * *

Век двадцатый явился спасателем,
потому и гордимся мы им.
Было трудно в России писателям,
Достоевским и разным Толстым.

Были все одиноки, разрозненны
и не знали, куда им идти,
да и Время зловредными кознями
поперек становилось пути.

Чужды были им сборища шумные,
обходились без творческих уз,
и поэтому головы умные
их собрали в единый Союз.

Всё вдруг ожило, всё вдруг устроилось,
всё наладилось: только бы жить.
И писателей сразу утроилось,
так что есть кем кого заменить.

И как будто в счастливом раёшнике
замелькали, спасения нет,
то начальники, то их помощники...
Что ни комната — то кабинет.

И шоферы, и завы исправные,
секретарши, и секретари,
и писатели — самые главные
и не самые, черт их деря.

В главном зале под коркою глянцевою,
чтоб никто отвертеться не смог,
перед кровными и иностранцами
вожделенный разлегся пирог.

И, забывши всё мелкое, личное,
каждый мог, отпихнувши врага,
выбить место себе поприличнее
и урвать от того пирога...

Я не знаю, на что и рассчитываю,
но с большим удивленьем гляжу,

как и сам от той корки отщипываю
и с надеждой туда прихожу,

где на радость миллионам читателей,
словно выйдя из пены морской,
министерство Союза писателей
размещается на Поварской.

Собачка

(По мотивам М. Булгакова)

Мой сын подобрал собачку у хлебной лавки.
Она тряслась на снегу, поджимая лапки.
Он ходил за хлебом, а вернулся с собачкой.
Мы не сочли его находку удачной.

Но вот она отоспалась у нас, и отъелась,
и черную спинку выгнула, и залоснилась,
и сразу ей очень многого захотелось
из недоступного раньше, что только снилось.

Ей захотелось нежиться в моей постели,
свежие кучки раскладывать по глади паркета,
что она и проделывала на деле
до самого вечера, начиная с рассвета.

У нас был пудель, старый и деликатный,
интеллигентный, чуждый этих пристрастий
и победитель конкурсов неоднократный,
четко означенный в нашем семейном
пространстве.

Он пребывал всегда от нее в отдаленье,
видно, желания сблизиться с ней не имея,
и эти кучки разглядывал с удивленьем,
не возмущаясь, конечно, а сожалел.

Пудель благоговел перед выданной пищей —
эта же, по природе своей по низшей,
мгновенно разделавшись с доброй
порцией корма,
причитала, что ей недодана законная норма.

Вспомни, собачка, кем ты была и кем стала.
Да неужели, собачка, этого мало?

Ее обучать чему-нибудь было напрасно,
выгнать в стужу заново — неблагоприятно,
зато общение с ней становилось опасно,
даже невыносимо (как вам будет угодно).

Она с женой разговаривала подбоченясь,
в мою тарелку заглядывала за обедом,
и слышно было, как лязгает ее челюсть,
когда мы за стол сходились... Но дело
не в этом.

Эта девица еще неведомой масти
стремительно распространялась по всей
квартире,
явно уже не нуждаясь в нашем участье,
а наши друзья посещения свои прекратили.

Потому что она начинала биться в припадке,
и зубки ее погружались в брюки и в пятки,
а когда они отступали, пятились задом,
она покрывала их вслед трехэтажным матом.

Вспомни, собачка, кем ты была и кем стала.
Или тебе, собачка, и этого мало?

Меня всё чаще и чаще спасала рыбалка.
Жена запиралась на кухне — ее было жалко.

Сын теперь поднимался с постели рано
и бросался к раскрытому фортепиано:
собачка не выносила этого звука,
предпочитая звуки своего круга.

Вот так она разрасталась, она разрасталась,
становилась всё выше, толще, обретала
бессмертье.

Собачка, что с нами было и что с нами
сталось?

И чем завершатся теперь превращения эти?

И неизвестно, чем кончится это дело,
словно часы нашей жизни остановились...
Ты, собачка, добилаь всего, чего ты хотела,
мы тоже, собачка, добились, к чему
стремились.

Я не о миске и шерсти на наших лапах,
не о полдневной пляске и нашем
полночном вое...

Ведь что с нас взять, с таких счастливых и слабых,
забывающих, собачка, свое бывшее?

Но пока еще не познаны тайны природы,
нам не о чем, собачка, сказать друг другу.
И все народы одною со мной породы
лобызают твою тяжелую и шершавую руку.

* * *

Кухарку приставили как-то к рулю.
Она ухватилась, паскуда.
И толпы забегали по кораблю,
Надеясь на скорое чудо.

Кухарка, конечно, не знала о том,
Что с нами в грядущем случится.
Она и читать-то умела с трудом,
Ей некогда было учиться.

Кухарка схоронена возле Кремля.
В отставке кухаркины дети.
Кухаркины внуки снуют у руля:
И мы не случайно в ответе.

* * *

Лечу над картою судьбы,
зеленой дымкою одетой.
Километровые столбы
мне не видны на карте этой.

Лечу над пухом облаков.
Прохладна их немая груда.
И до московских дураков
пока что далеко отсюда.

Еще неведано, кто прав,
и что прошло, и что настанет,
и по-хозяйски за рукав
никто не дергает, не тянет.

Еще ни впадин и ни гор,
и время ничего не значит,
но твой, отечество, укор
уже сквозь облако маячит.

* * *

Все глуше музыка души,
все звонче музыка атаки.
Но ты об этом не спеши:
не обмануться бы во мраке,
что звонче музыка атаки,
что глуше музыка души.

Чем громче музыка атак,
тем слаще мед огней домашних.
И это было только так
в моих скитаниях вчерашних:
тем слаще мед огней домашних,
чем громче музыка атак.

Из глубины ушедших лет
еще вернее, чем когда-то, —
чем звонче музыка побед,
тем горше каждая утрата,
еще вернее, чем когда-то,
из глубины ушедших лет.

И это все у нас в крови,
хоть этому не обучали:
чем выше музыка любви,
тем громче музыка печали,
чем громче музыка печали,
тем чище музыка любви.

* * *

Под Мамонтовкой жгут костры
бродяги иль студенты...
Ах, годы детства так пестры,
как кадры киноленты!

Еще не найдена стезя
меж адом и меж раем,
и все пока в живых друзья,
и мы в войну играем.

Еще придет пора разлук
и жажда побороться.
Еще все выпадет из рук —
лишь мелочь подберется.

Но это все потом, потом,
когда-нибудь, быть может.
И нету сведений о том,
что Время нам предложит.

Еще придет тот главный час
с двенадцатым ударом,
когда добром помянут нас
и проклянут задаром.

Еще повеет главный час
разлукой ледяною,
когда останутся от нас
лишь крылья за спиною.

* * *

Как наш двор ни обижали —
он в классической поре.
С ним теперь уже не справиться,
хоть он и безоружен.
А там Володя во дворе,
его струны в серебре,
его пальцы золотые, голос его нужен.

Как с гитарой ни боролись —
распаялся струнный звон.
Как вино стихов ни портили —
все крепче становилось.
А кто сначала вышел вон,

а кто потом украл вагон —
все теперь перемешалось, все объединилось.

Может, кто и нынче снова хрипоте его не рад,
может, кто намеревается подлить в стихи елея...
А ведь и песни не горят,
они в воздухе парят,
чем им делают большее — тем они сильнее.

Что ж печалиться напрасно: нынче слезы
лей — не лей,
но запомним хорошенечко и повод, и причину...
Ведь мы воспели королей
от Таганки до Филей,
пусть они теперь поэту воздадут по чину.

Мой почтальон

Всяк почтальон в этом мире, что общеизвестно,
корреспонденцию носит и в двери стучит.
Мой почтальон из другого какого-то теста:
писем ко мне не приносит, а только молчит.

Топчется в темной прихожей в молчании
строгом,
круг оттоптал на пороге у самых дверей.
Радостный день и объятия там, за порогом,
горестный мрак и утрата в пещере моей.

Мой почтальон презирает меня и боится,
жаждет скорей от меня отбойриться, плут.

Там, за порогом, мелькают счастливые лица,
там ни о чем не жалеют и писем не ждут.

Вот наконец, изгибаясь и кланяясь, что ли,
будто спасаясь, спешит по обратной тропе.
Как он вздыхает легко, оказавшись на воле,
как ни о чем не жалеет, теряясь в толпе.

* * *

По Грузинскому валу воинственно ставя носок,
ты как будто в полете, и твой золотой голосок
в простодушные уши продрогших

прохожих струится.

Но хотя он возвышен, и ярок, и чист, и высок,
не успеешь моргнуть — а уже

просочился в песок,

и другими уже голосами гордится столица.

Как чиновна она, неприступна она, брат,
с крыльца,

и не сходит уже позолота с ее, брат, лица,
так что в тесном квадрате двора поспевай,

брат, вертеться.

Где уж годы беречь, если сыплются

дождичком дни,

и тяжки и горьки, как свинцовые пульки, они,
и ложатся один за другим возле самого сердца.

И фортуна твоя, подбоченясь, глядит из окна,
ослепленная мыслью, что ей перспектива видна
меж домов и дворов... Будто это и есть
перспектива.

И дорога твоя от рожденья — то мир, то война,
и привычные с детства горят вдоль нее

письмена:
то «Вернись!», то «Ступай!», то «Прости!»,
то «Прощай!», то «Счастливо!».

По Грузинскому валу к финалу рабочего дня,
заломив козырек, ошалев от обид и вранья,
независимый облик храня, прогуляться
неплохо...

Навостриться бы мне разводить своих
братьев плечом,
научиться бы мне, чтобы так не жалеть ни о чем,
да, как видно, уже не успеть до последнего вздоха.

* * *

Пока от вранья не отвыкнем
традиции древней назло,
покуда не всхлипнем, не вскрикнем:
куда это нас занесло?! —

пока покаянного слова
не выдохнет впалая грудь,
придется нам снова и снова
холопскую лямку тянуть.

* * *

Лену Карпинскому

Шестидесятники развенчивать усатого
должны,
и им для этого особые приказы не нужны:
они и сами, словно кони боевые,
и бьют копытами, пока еще живые.

Ну а кому еще рассчитывать в той драке
на успех?
Не зря кровавые отметины видны на них
на всех.
Они хлебнули этих бед не понаслышке.
Им все маячило — от высылки до вышки.

Судьба велит шестидесятникам исполнить
этот долг,
и в этом их предназначение, особый смысл
и толк.
Ну а приказчики, влюбленные в деспота,
пусть огрызаются — такая их работа.

Шестидесятникам не кажется, что жизнь
сгорела зря:
они поставили на родину, короче говоря.
Она, конечно, в суете о них забудет,
но ведь одна она. Другой уже не будет.

* * *

Славная компания... Что же мне решить?
Сам я нелюбимый, — друзья подливают.
Умирать не страшно — страшно не жить.
Вот какие мысли меня одолевают.

Впрочем, эти мысли высказал Вольтер.
Надо иногда почитать Вольтера.
Запад, конечно, для нас не пример.
Впрочем, я не вижу лучшего примера.

Памяти брата моего Гиви

На откосе, на обрыве
нашей жизни удалой
ты не удержался, Гиви,
стройный, добрый, молодой.

Кто толкнул тебя с откоса,
не сказав тебе «прощай»,
будто рюмочку — с подноса,
будто вправду невзначай?

Мы давно отвоевали.
Кто же справился с тобой?
Рок ли, время ли, молва ли,
вождь ли, мертвый и рябой?

Он и нынче, как ни странно, —
похоронен и отпет, —

усмехается с экрана,
а тебя в помине нет.

Стих на сопках Магадана
лай сторожевых собак,
но твоя большая рана
не рубцуется никак.

И кого теперь с откоса
по ранжиру за тобой?..
Спи, мой брат беловолосый,
стройный, добрый, молодой.

Гимн уюту

А. Пугачевой

Слава и честь самовару —
первенцу наших утех!
Но помяну и гитару —
главную даму из всех.

Вот он — хозяин уюта,
золотом светится медь.
Рядом — хозяйка, как будто
впрямь собирается спеть.

Он запыхтит, затрясется,
выбросит пар к потолку —
тотчас она отзовется
где-нибудь здесь, в уголку.

Он не жалеет водицы
в синие чашки с каймой, —
значит, пора насладиться
пеньем хозяйки самой.

Бог не обидел талантом,
да и хозяин как бог,
вторит хозяйке дискантом,
сам же глядит за порог:

там, за порогом, такое,
что не опишешь всего...
Царствуй, хозяин покоя:
праведней нет ничего.

Слава и честь самовару!
Но не забудем, о нет,
той, что дана ему в пару,
талию и силуэт.

Врут, что она увядает.
Время ее не берет.
Плачет она и сгорает,
снова из пепла встает.

Пой же, и все тебе будет:
сахар, объятья и суд,
и проклянут тебя люди,
и до небес вознесут.

Пойте же, будет по чести
воздано вам за уют...
Вот и поют они вместе,
плачут и снова поют.

* * *

Красотки томный взор
не повредит здоровью.
Мы бредим с юных пор:
любовь, любви, любовью.
Не правда ли, друзья,
не правда ли, друзья,
с ней, может быть, не сладко,
а без нее нельзя?

Вперед, судьба моя!
А нет — так бог с тобою.
Не правда ли, друзья:
судьба, судьбы, судьбою?
Не правда ли, друзья,
не правда ли, друзья,
с ней, может быть, не сладко,
а без нее нельзя?

Он где-то ждет меня,
мой главный поединок.
Не правда ли, друзья,
нет жизни без поминок?
Не правда ли, друзья,

не правда ли, друзья,
жить, может быть, не сладко,
а вот не жить нельзя?!

* * *

Не сольются никогда зимы длинные и лета:
у них разные привычки и совсем несхожий вид.
Не случайны на земле две дороги — та и эта,
та натруживает ноги, эта душу берedit.

Эта женщина в окне в платье розового цвета
утверждает, что в разлуке невозможно
жить без слез,
потому что перед ней две дороги — та и эта,
та прекрасна, но напрасна, эта, видимо, всерьез.

Хоть разбейся, хоть умри — не найти
верней ответа,
и куда бы наши страсти нас с тобой ни завели,
неизменно впереди две дороги — та и эта,
без которых невозможно, как без неба и земли.

* * *

Восхищенность вашим сердцем, вашим светом,
нерастроченным теплом
мне вручило провиденье этим летом,
как последний мой диплом.

Ах, не очень торопливо (не взыщите,
что пути иного нет)
я готовился к последней той защите
пять десятков с лишним лет

Но за окнами — всё новые пейзажи
и природа уж не та!..
Всё уходит. Исчезают даже
голос ваш и красота.

Лишь трамвай, в свои пространства уползая,
в новом видится окне.
Он оставлен с тех времен как память злая
и о вас, и обо мне.

* * *

Ю. Киму

Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?
Едва твой гимн пространства огласит,
прислушаться — он от скорбей излечит,
а вслушаться — из мертвых воскресит.

Какой струны касаешься прекрасной,
что тотчас за тобой вступает хор
таинственный, возвышенный и страстный
твоих зеленых братьев и сестер?

Какое чудо обещает скоро
слететь на нашу землю с высоты,
что так легко, в сопровожденье хора,
так звонко исповедуешься ты?

Ты тоже из когорты стихотворной,
из нашего бессмертного полка.
Кричи и плачь. Авось твой труд упорный
потомки не оценят свысока.

Поэту настоящему спасибо,
руке его, безумию его
и голосу, когда, взлетев до хрипа,
он неба достигает своего.

Письмо к маме

Ты сидишь на нарах посреди Москвы.
Голова кружится от слепой тоски.
На окне — намордник, воля — за стеной,
ниточка порвалась меж тобой и мной.
За железной дверью топчется солдат...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.

Следователь юный машет кулаком.
Ему так привычно звать тебя врагом.
За свою работу рад он попотеть...
Или ему тоже в камере сидеть?
В голове убогой — трехэтажный мат...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.

Чуть за Красноярском — твой лесоповал.
Конвоир на фронте сроду не бывал.
Он тебя прикладом, он тебя пинком,
чтоб тебе не думать больше ни о ком.
Тулуп на нем жарок, да холоден взгляд...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.

Вождь укрылся в башне у Москвы-реки.
У него от страха паралич руки.
Он не доверяет больше никому,
словно сам построил для себя тюрьму.
Все ему подвластно, да опять не рад...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь — он за весь народ.

* * *

Читаю мемуары разных лиц.
Сопоставляю прошлого картины,
что удастся мне не без труда.
Из вороха распавшихся страниц
соорудить пытаюсь мир единый,
а из тряпья одежды обветшалой —
блистательный ваш облик, господа.
Из полусгнивших кружев паутины —
вдруг аромат антоновки лежалой,
какие-то деревни, города,

а в них — разлуки, встречи, именины,
родная речь и свадеб поезда;
сражения, сомнения, проклятья...
и кринолины, и крестьянок платья...
Как медуница перед розой алой —
фигуры ваших женщин, господа...
И не хватает мелочи, пожалуй,
чтоб слиться с этим миром навсегда.

* * *

После дождичка небеса просторны,
голубей вода, зеленее медь.
В городском саду — флейты да валторны.
Капельмейстеру хочется взлететь.

Ах, как помнятся прежние оркестры,
не военные, а из мирных лет!
Расплескалася в улочках окрестных
та мелодия... А поющих нет.

С нами женщины. Все они красивы.
И черемуха — вся она в цвету.
Может, жребий нам выпадет счастливый:
снова встретимся в городском саду.

Но из прошлого, из былой печали,
как ни сетую, как там ни молю,
проливается черными ручьями
эта музыка прямо в кровь мою.

Памяти Обуховой

Е. Камбуровой

Когда б вы не спели тот старый романс,
я верил бы, что проживу и без вас,
и вы бы по мне не печалились и не страдали.
Когда б вы не спели тот старый романс,
откуда нам знать, кто счастливей из нас?
И наша фортуна завиднее стала б едва ли.

И вот вы запели тот старый романс,
и пламень тревоги, как свечка, угас.
И надо ли было, чтоб сник этот пламень
тревоги?

И вот вы запели тот старый романс,
но пламень тревоги, который угас,
опять разгорелся, как поздний костер у дороги.

Зачем же вы пели тот старый романс?
Неужто всего лишь, чтоб боль улеглась?
Чтоб боль улеглась, а потом чтобы
вспыхнула снова?

Зачем же вы пели тот старый романс?
Он словно судьба расплескался меж нас,
всё, капля по капле, и так до последнего слова.

Когда б вы не спели тот старый романс,
о чем бы я вспомнил в последний свой час,
ни сердца, ни голоса вашего не представляя?
Когда б вы не спели тот старый романс,
я умер бы, так и не зная о вас,
лишь черные даты в тетради души проставляя.

* * *

Мне не в радость этот номер,
телевизор и уют.

Видно, надо, чтоб я помер —
все проблемы отпадут.

Ведь они мои, и только.
Что до них еще кому?
Для чего мне эта койка —
на прощание пойму.

Но когда за грань покоя
преступлю я налегке,
крикни что-нибудь такое
на грузинском языке.

Крикни громче, сделай милость,
чтоб на миг поверил я,
будто это лишь приснилось:
смерть моя и жизнь моя.

* * *

Отчего ты печален, художник —
живописец, поэт, музыкант?
На какую из бурь невозможных
ты растратил свой гордый талант?

На каком из отрезков дороги
растерял ты свои медяки?
Все надеялся выйти в пророки,
а тебя занесло в должники.

Словно эхо поры той прекрасной,
словно память надежды былой —
то на Сретенке профиль твой ясный,
то по Пятницкой шаг удалой.

Так плати из покуда звенящих,
пот и слезы стирая со щек,
за истертые в пальцах дрожащих
холст и краски, перо и смычок.

Дунайская фантазия

Оле

Как бы мне сейчас хотелось в Вилкове
вдруг очутиться!
Там — каналы, там — гондолы, гондольеры.
Очутиться, позабыться, от печалей
отшутиться:
ими жизнь моя отравлена без меры.

Там побеленные стены и фундаменты цветные,
а по стенам плющ клубится для оправы.
И лежат на солнцепеке безопасные, цепные,
показные, пожилые волкодавы.

Там у пристани танцуют жок, а может быть,
сиртаки:
сыновей своих в солдаты провожают.
Всё надеются: сгодятся для победы, для атаки,
а не хватит — сколько надо, нарожают.

Он из местных, он из честных, он
из конюхов безвестных,
он типичный представитель славной
армии труда.

Рядом с ним сидит инструктор в одеяниях
воскресных:
в синем галстуке, в жилетке. Тоже трезв,
как никогда.

А над ним сидит начальник — главный
этого района.

Областной — слегка поодаль. Дальше —
присланный Москвой...

И у этого-то, кстати, ну не то чтобы корона,
но какое-то сиянье над кудрявой головой.

Волны к берегу стремятся, кони тонут
друг за другом.

Конюх спит, инструктор плачет, главный
делает доклад,

а москвич командировочный как бабочка
над лугом,

и в глазах его столичных кони мчатся на парад.

Там вожди на мавзолее: Сталин, Молотов,
Буденный,

и ладошками своими скромно машут:
нет-нет-нет...

То есть вы, мол, маршируйте по степи
по полуденной,

ну а мы, мол, ваши слуги, — значит, с нас
и спросу нет.

Кстати, конюх тоже видит сон, что он
на мавзолее,
что стоит, нѐ удивляется величию своему,
что инструктор городского комитета, не жалея
ни спины и ни усердя, поклоняется ему.

Эта яркая картина неспроста его коснулась:
он стоял на мавзолее, широко разинув рот!..
...Кони все на дне лежали, но душа его
проснулась,
и мелькал перед глазами славных лет
круговорот.

Прощальная песенка волковских актеров

Прощай, прощай, прощай, прощай,
ярославская погода,
стены белые, нарисованные на синих небесах.
Тянет душу, сердце рвет, заманивает природа,
слезы чистые, прозрачные не высыхают
на глазах.

Прощай, прощай, прощай, прощай, лесов
могучих позолота!
Колесница неукротимая за облаком гремит.
Ожидают нас, зажмурившись, оловянные
болота,
петербургский неразговорчивый
таинственный гранит.

Прощай, прощай, прощай, прощай,
деревянного сарая
пыль подмостков, дух рогожи! Настало
времечко гореть.
Видать, времечко настало, настало
времечко, сгорая,
настало времечко, сгорая, ни о чем
не сожалеть...

* * *

*Александрю Галичу,
Владимиру Высоцкому,
Юлию Киму*

Вечера французской песни
нынче в моде и в цене.
А своих-то нет, хоть тресни...
Где же наши шансонье?

Пой, француз, тебе и карты,
ты — француз, ты вдалеке.
Дело в том, что наши барды
проживают в бардаке —

в том, в котором нет пророка,
чуть явись — затопчут след.
Пой, француз, ведь ты далеко,
и к тебе претензий нет.

Чем начальству ты приятен?
Тем, что текст твой непонятен.

Если ж нужен перевод,
переводчик — наш молодчик —
как прикажут — переврет.

Ты поешь и ты танцуешь,
ты смакуешь каждый стих,
если ж даже критикуешь —
ведь не наших, а своих.

Пой, француз, с тебя нет спроса,
ты ведь гость, чего грешить...
Остальное — наша проза,
не тебе ее решить.

* * *

От нервов ли, от напряженья,
от жизни, что вся наугад,
мне слышится крови движенье,
как будто далекий набат.

Мне слышится пламени рокот.
Пожар полыхает земной.
И тут ни багры не помогут,
ни струи воды ледяной.

Сокрытый от праведных взоров,
разлит, словно море, в душе,
и бравая брань брандмайоров,
увы, бесполезна уже.

Он с каждой минутой все пуще,
все явственней он и слышней
над лесом, над лугом, над пущей,
над улицей жизни моей.

* * *

Все забуду про тревогу,
про пожары и про лед.
Все припомню понемногу,
когда времечко придет.

Все оставлю за порогом,
чтоб резвиться без хлопот.
Все сойдется в доме строгом,
когда времечко придет.

Все, что, кажется, бесплодно
разбазариваем мы,
когда времени угодно,
вдруг проявится из тьмы.

Никому уже не вычесть
из реестра своего
пусть ничтожных тех количеств,
что пришлись на одного.

Пусть, хоть много или мало,
составляющих судьбу,
без которых не пристало
место занимать в гробу.

* * *

На полянке разминаются оркестры духовые
и играют марш известный неизвестно для чего.
Мы пока еще все целы, мы покуда все живые,
а когда нагрянет утро — там посмотрим кто кого.

И ефрейтор одинокий шаг высокий отбивает,
у него глаза большие, у него победный вид...
Но глубоко, так глубоко, просто глубже
не бывает,
он за пазухою письма треугольные хранит.

Лейтенантик моложавый (он назначен
к нам комбатом)
смотрит в карту полевую, верит в чудо и в успех.
А солдат со мною рядом называет меня братом:
кровь, кипящая по жилам, нынче общая для всех.

Смолкли гордые оркестры — это главная примета.
Наготове все запасы: крови, брани и свинца...
Сколько там минут осталось... три-четыре
до рассвета,
три-четыре до победы... три-четыре до конца.

Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве

Посвящаю Антону

Упрямо я твержу с давнишних пор:
меня воспитывал арбатский двор,
все в нем, от подлого до золотого.
А если иногда я кружева
накручиваю на свои слова,
так это от любви. Что в том дурного?

На фоне непросохшего белья
руины человеческого жилья,
крутые плечи дворника Алима...
В Дорогомилово из тьмы Кремля,
усы прокуренные шевеля,
мой соплеменник пролетает мимо.

Он маленький, немый и рябой
и выглядит растерянным и пьющим,
но суть его — пространство и разбой
в кровавой драке прошлого с грядущим.
Его клеветы топчутся в крови...
Так где же почва для твоей любви? —
вы спросите с сомнением, вам присущим.

Что мне сказать? Я только лишь пророс.
Еще далече до военных гроз.
Еще загадкой манит подворотня.
Еще я жизнь сверяю по двору

и не подозреваю, что умру,
как в том не сомневаюсь я сегодня.

Что мне сказать? Еще люблю свой двор,
его убогость и его простор,
и аромат грошового обеда.
И льну душой к заветному Кремлю,
и усача кремлевского люблю,
и самого себя люблю за это.

Он там сидит, изогнутый в дугу,
и глину разминает на кругу,
и проволочку тянет для основы.
Он лепит, обстоятелен и тих,
меня, надежды, сверстников моих,
отечество... И мы на все готовы.

Что мне сказать? На все готов я был.
Мой страшный век меня почти добил,
но речь не обо мне — она о сыне.
И этот век не менее жесток,
а между тем насмешлив мой сынок:
его не облапошить на мякине.

Еще он, правда, тоже хил и слаб,
но он страдалец, а не гордый раб,
небезопасен и небезоружен...
А глина ведь не вечный матерьял,
и то, что я когда-то потерял,
он в воздухе арбатском обнаружил.

* * *

На полотне у Аллы Беляковой,
где темный сад немного бестолковый,
где из окна, дразня и завораживая,
выплескивается пятно оранжевое,
где все имеет первозданный вид
и ветви как зеленая оправа,
где кто-то бодрствует, а кто-то спит
в том домике, изображенном справа, —
там я бываю запросто в гостях,
и надобности нет о новостях
выспрашивать дотошно и лукаво.

По лесенке скрипучей в сад схожу
и выгляжу, быть может, даже хмурым;
потом сажусь и за столом сижу
под лампою с зеленым абажуром.
Я на виду, я чем-то удручен,
а может, восхищен, но, тем не мене,
никто, никто не ведает, о чем
я размышляю в данное мгновенье,
совсем один в той странной тишине,
которую вселенная объята...
И что-то есть, наверное, во мне
от старого глехо* и от Сократа.

* Глехо — крестьянин (груз.).

Дерзость, или Разговор перед боем

— Господин лейтенант, что это вы хмуры?
Аль не по сердцу вам ваше ремесло?

— Господин генерал, вспомнились амуры —
не скажу, чтобы мне с ними не везло.

— Господин лейтенант, нынче не до шашней:
скоро бой предстоит, а вы всё про баб!

— Господин генерал, перед рукопашной
золотые деньки вспомянуть хотя б.

— Господин лейтенант, не к добру все это!
Мы ведь здесь для того, чтобы побеждать...

— Господин генерал, будет вам победа,
да придется ли мне с вами пировать?

— На полях, лейтенант, кровию политых,
расцветет, лейтенант, славы торжество...

— Господин генерал, слава для убитых,
а живому нужней женщина его.

— Черт возьми, лейтенант, да что это с вами?
Где же воинский долг, ненависть к врагу?!..

— Господин генерал, посудите сами:
я и рад бы приврать, да вот не могу...

— Ну гляди, лейтенант, каяться придется!
Пускай счеты с тобой трибунал сведет...

— Видно, так, генерал: чужой промахнется,
а уж свой в своего всегда попадет.

А там, за широким окном, за хрупким,
прозрачным, больничным,
вершится житейский порядок, единый
во все времена:
то утро с кефиром ночным, то вечер
с вареньем клубничным,
и все это с плачем и смехом, и с пеной,
взлетевшей со дна.

В больничное гляну окно, а там,
за окошком, — аллея,
клубится февральское утро, и санный
рождается путь.
С собой ничего не возьмешь, лишь
выронить можно, жалея,
но есть кого вспомнить с проклятьем, кого
и добром помянуть.

В больничное гляну окно — узнаю,
что может начаться,
и чем, наконец, завершится по этому свету
ходьба,
что завтра случится, пойму... И в сердце
мое постучатся
надежда, любовь, и терпенье, и слава,
и дым, и судьба.

* * *

А. Володину

Что-то знает Шура Лифшиц:
понапрасну слез не льет.
В петербургский смог зарывшись,
зерна истины клюет.

Так устроившись удобно
среди каменных громад,
впитывает он подробно
этих зерен аромат.

Он вонзает ноги прочно
в почвы лета и зимы,
потому что знает точно
то, о чем тоскуем мы.

Жар души не иссякает.
Расслабляться не пора...
Слышно: времечко стекает
с кончика его пера.

Окончание работы

Последняя крепость разрушена. Шапки долой!
Дописана повесть. Поставлена точка. Свобода!
К тому же гитара устала дремать под полой,
и дама прекрасная мерзнет у самого входа.

Антоновкой прелой, лежалой пропахли углы,
с рассеянной грустью перо золотое сжимаю
и бури мне больше не снятся, желанья круглы...
Но это не значит, что я вам того же желаю.

* * *

Почему я в этом доме,
неуютном и глухом?
Неужели нету кроме
мне пристанища кругом?

Почему я с этой дамой
среди радостей и бед?
Или я ничтожный самый
и спасения мне нет?

Что же, руки воздевая,
я гляжу в ее глаза?
Или просто страсть земная
нас уносит в небеса?

Или это мрак небесный
повергает нас на дно?
Или это мед чудесный,
что испить нам суждено?

Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы,
смычок остер, —
музыкант, соорудивший из души моей костер.
А душа, уж это точно, ежели обожжена,
справедливей, милосерднее и праведней она.

* * *

Почему мы исчезаем,
превращаясь в дым и пепел,
в глинозем, в солончаки,
в дух, что так неосязаем,
в прах, что выглядит нелепым, —
нытики и остряки?

Почему мы исчезаем
так внезапно, так жестоко,
даже слишком, может быть?
Потому что притязаем,
докопавшись до истока,
миру истину открыть.

Вот она в руках как будто,
можно, кажется, потрогать,
свет ее слепит глаза...
В ту же самую минуту
Некто нас берет под локоть
и уводит в небеса.

Это так несправедливо,
горько и невероятно —

невозможно осознать:
был счастливым, жил красиво,
но уже нельзя обратно,
чтобы заново начать.

Может быть, идущий следом,
зная обо всем об этом,
изберет надежней путь?
Может, новая когорта
из людей иного сорта
изловчится как-нибудь?

Все чревато повтореньем.
Он, объятый вдохновеньем,
зорко с облака следит.
И грядущим поколениям,
обоженным нетерпеньем,
тоже это предстоит.

* * *

Соединение сердец —
старинное приспособленье:
вот-вот уж, кажется, конец —
ан снова, смотришь, потепленье.
Вот-вот уж, кажется, пора,
разрыв почти увековечен...
Но то, что кажется с утра,
преображается под вечер.

Соединение сердец —
старинное приспособленье...
Но если впрямь настал конец,
какое, к черту, потепленье?
И если впрямь пришла пора,
все рассуждения напрасны:
что было — сплыло со двора,
а мы хоть врозь, но мы — прекрасны.

И в скорбный миг, печальный миг
теряют всякое значенье
все изречения мудрых книг
и умников нравоученья.
Понятны только нам двоим
истоки радости и муки...
И тем живем. На том стоим
и утешаемся в разлуке.

* * *

Собрался к маме — умерла,
к отцу хотел — а он расстрелян,
и тенью черного орла
горийского весь мир застелен.

И, измаравшись в той тени,
нажравшись выкриков победных,
вот что хочу спросить у бедных,
пока еще бедны они:

собрался к маме — умерла,
к отцу подался — застрелили...
Так что ж спросить-то позабыли,
верша великие дела:
отец и мать нужны мне были?..
...В чем философия была?

* * *

В день рождения подарок преподнес я сам себе.
Сын потом возьмет, озвучит и сыграет на трубе.
Сочинилось как-то так, само собою
что-то среднее меж песней и судьбою.

Я сижу перед камином, нарисованным в углу,
старый пудель растянулся под ногами на полу.
Пусть труба, сынок, мелодию сыграет...
Что из сердца вышло — быстро не сгорает.

Мы плывем ночной Москвою между небом
и землей.
Кто-то балуется рядом черным пеплом и золой.
Лишь бы только в суете не доигрался...
Или зря нам этот век, сынок, достался?

Что ж, играй, мой сын кудрявый,
ту мелодию в ночи,
пусть ее подхватят следом и другие трубачи.
Нам не стоит этой темени бояться,
но счастливыми не будем притворяться.

* * *

Оле

Надежды крашенная дверь.
Фортуны мягкая походка.
Усталый путник, средь потерь
всегда припрятана находка.
И хоть видна она нечетко,
но ждет тебя она, поверь.

Улыбка женщины одной,
единственной, неповторимой,
соединенною с тобой
суровой ниткою незримой,
от обольщения хранимой
своей загадочной судьбой.

Придут иные времена
и выдумки иного рода,
но будет прежнею она
как май, надежда и природа,
как жизнь, и смерть, и запах меда...
И чашу не испить до дна.

* * *

Вот музыка та, под которую
мне хочется плакать и петь.
Возьмите себе оратории,
и дробь барабанов, и медь.

Возьмите себе их в союзники
легко, до скончания дней...
Меня же оставьте с той музыкой:
мы будем беседовать с ней.

* * *

В нашей жизни, прекрасной и странной,
и короткой, как росчерк пера,
над дымящейся свежеею раной
призадуматься, право, пора.

Призадуматься и присмотреться,
поразмыслить, покуда живой,
что там кроется в сумерках сердца,
в самой черной его кладовой.

Пусть твердят, что дела твои плохи,
но пора научиться, пора
не вымаливать жалкие крохи
милосердия, правды, добра.

Но пред ликом суровой эпохи,
что по-своему тоже права,
не выжухивать жалкие крохи,
а творить, засучив рукава.

* * *

В больнице медленно течет река часов,
сочится в форточки и ускользает в двери.
По колким волоскам моих седых усов
стекает, растворяясь в атмосфере.

Течет река. Над нею — вечный дым.
Чем исповедаюсь? Куда опять причалю?
Был молодым. Казался молодым.
О молодости думаю с печалью.

В больнице медленно течет поток времен,
так медленно, что мнится беспредельным.
Его волной доставленный урон
не выглядит ни скорбным, ни смертельным.

На новый лад судьбу не перешить.
Самодовольство — горькое блаженство.
Искусство все простить и жажда жить —
недостигаемое совершенство.

* * *

Вот комната эта — храни ее Бог! —
мой дом, мою крепость и волю.
Четыре стены, потолок и порог,
и тень моя с хлебом и солью.

И в комнате этой ночью порой
я к жизни иной прикасаюсь.

Но в комнате этой, отнюдь не герой,
я плачу, молюсь и спасаюсь.

В ней все соразмерно желаньям моим —
то облик берлоги, то храма, —
в ней жизнь моя тает, густая, как дым,
короткая как телеграмма.

Пока вы возносите небу хвалу,
пока укоряете время,
меня приглашает фортуна к столу
нести свое сладкое бремя.

Покуда по свету разносит молва,
что будто я зло низвергаю,
я просто слагаю слова и слова
и чувства свои излагаю.

Судьба и перо, по бумаге шурша,
стараются, лезут из кожи.
Растрачены силы, сгорает душа,
а там, за окошком, все то же.

* * *

Пишу роман. Тетрадка в клеточку.
Пишу роман. Страницы рву.
Февраль к стеклу подставил веточку,
чтоб так я жил, пока живу.

Шуршат, шуршат листы тетрадные,
чисты, как аиста крыло,
а я ищу слова нескладные
о том, что было и прошло.

А вам как бы с полета птичьего
мерещится всегда одно —
лишь то, что было возвеличено,
лишь то, что в прах обращено.

Но вам сквозь ту бумагу белую
не разглядеть, что слезы лью,
что я люблю отчизну бедную,
как маму бедную мою.

* * *

Я выдумал музу Иронии
для этой суровой земли.
Я дал ей владенья огромные:
пари, усмехайся, шали.

Зевеса надменные дочери,
ценя превосходство свое,
каких бы там умниц ни корчили —
не стоят гроша без нее.

* * *

Б. Ахмадулиной

Чувство собственного достоинства —
вот загадочный инструмент:
созидается он столетьями, а утрачивается
в момент,
под бомбежку ли, под гармошку ли,
под красивую ль болтовню
иссушается, разрушается, сокрушается
на корню.

Чувство собственного достоинства —
вот таинственная стезя,
на которой разбиться запросто,
но с которой свернуть нельзя,
потому что без промедления,
вдохновенный, чистый, живой,
растворится, в пыль превратится
человеческий образ твой.

Чувство собственного достоинства —
это просто портрет любви.
Я люблю вас, мои товарищи, —
боль и нежность в моей крови.
Что б там тьма и зло ни пророчили,
кроме этого ничего
не придумало человечество для спасения
своего.

* * *

А. Кушнеру

Хочу воскресить своих предков,
хоть что-нибудь в сердце сберечь.
Они словно птицы на ветках,
и мне непонятна их речь.

Живут в небесах мои бабки
и ангелов кормят с руки.
На райское пение падки,
на доброе слово легки.

Не слышно им плача и грома,
и это уже на века.
И нет у них отчего дома,
а только одни облака.

Они в кринолины одеты.
И льется божественный свет
от бабушки Елизаветы
к прабабушке Элисабет.

* * *

Сколько сделано руками удивительных красот!
Но рукам пока далече до пронзительных высот,
до божественной, и вечной, и нетленной
красоты,
что соблазном к нам стекает с недоступной
высоты.

Текут стихи на белый свет рекою голубую
сквозь золотые берега в серебряную даль.
За каждый крик, за каждый вздох
заплачено любовью —
ее все меньше с каждым днем, и этого не жаль.

* * *

Старики умирать не боятся.
Им геройски погибнуть не труд.
Только нечего зря распалиться:
все равно их на фронт не берут.

Умирают в боях молодые,
хоть не хочется им умирать, —
лишь надежды свои золотые
оставляют меж нами витать.

И бесшумная их эскадрилья
наводняет и полдень и мрак...
Тени черные, белые крылья,
и от глаз не укрыться никак.

* * *

Над площадью базарною
вечерний дым разлит.
Мелодией азартною
весь город с толку сбит.

откровенный свой рассказ прерывая то и дело,
ночь пока не отгорела, дождь пока не отшумел.

Но за этот подвиг мой без притворства
и коварства
и за это вдохновенье без расчета и вранья
слишком горькая на вкус, как напрасное
лекарство,
эта поздняя надежда отказалась от меня.

И осталось, как всегда, непрочитанное что-то
в белой книге ожиданий, в черной книге
пустых дел...
Тонких листьев октября позолота. Жить охота,
жизнь пока не облетела, свет пока не отгорел.

* * *

Осудите сначала себя самого,
научитесь искусству такому,
а уж после судите врага своего
и соседа по шару земному.

Научитесь сначала себе самому
не прощать ни единой промашки,
а уж после кричите врагу своему,
что он враг и грехи его тяжки.

Не в другом, а в себе побеждайте врага,
а когда преуспеете в этом,
не придется уж больше валять дурака —
вот и станете вы человеком.

Песенка

Совесьть, благородство и достоинство —
вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.

Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
но зато умрешь как человек.

* * *

Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал.
А может, это школьник меня нарисовал:
я ручками размахиваю, я ножками сучу,
и уцелеть рассчитываю, и победить хочу.

Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал.
А может, просто вечером в кино я побывал?
И не хватал оружия, чужую жизнь круша,
и руки мои чистые, и праведна душа.

Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою.
А может быть, подстреленный, давно живу в раю,
и кущи там, и рощи там, и кудри по плечам...
А эта жизнь прекрасная лишь снится по ночам.

* * *

По какой реке твой корабль плывет
до последних дней из последних сил?
Когда главный час мою жизнь прервет
вы же спросите: для чего я жил?

Буду я стоять перед тем судом —
голова в огне, а душа в дыму...
Моя родина — мой последний дом,
все грехи твои на себя приму.

Средь стерни и роз, среди войн и слез
все твои грехи на себе я нес.
Может, жизнь моя и была смешна,
но кому-нибудь и она нужна.

* * *

Восемнадцатый век из античности
в назиданье нам, грешным, извлек
культ любви, обаяние личности,
наслаждения сладкий урок.

И различные высокопарности,
щегольства безупречный парад...
Не ослабнуть бы от благодарности
перед ликом скуластых наяд!

Но куда-то все кануло, сгнуло
под шершавой ладонью раба...

Несчастливую карточку вынуло
наше время и наша судьба.

И в лицо — что-то жесткое, резкое,
как по мягкому горлу ребром,
проклиная, досадуя, брезгуя
тем уже бесполезным добром.

Палаши, извлеченные наголо,
и без устали — свой своего...
А глаза милосердного ангела?..
А напрасные крики его?..

* * *

Из Вашингтона в назначенный срок
в определенном судьбой экипаже
я отправляюсь (храни меня Бог)
сквозь непонятные эти пейзажи.

Что моя жизнь? — эти краски в окне.
Сколько же в них вариантов возможных,
словно в стихах, пробужденных во мне,
и обольстительных, и безнадежных?

Что мое время? — вагон голубой,
красных холмов за окошком сплетенье.
Что мое бремя? — разлука с тобой
от отречения до обретенья.

В поисках рая глаза проглядел.
Где-то он все в стороне остается.
Видно, прозрение — поздний удел:
не заработавшим не достается.

* * *

И. Бродскому

На странную музыку сумрак горазд,
как будто природа пристанище ищет:
то голое дерево голос подаст,
то почва вздохнет, а то ветер просвищет.

Все злей эти звуки, чем ближе к зиме
и чем откровеннее горечь и полночь.
Там дальние кто-то страдают во тьме
за дверью глухой, призывая на помощь.

Там чьей-то слезой затуманенный взор,
которого ветви уже не упрячут...
И дверь распахну я и брошусь во двор:
а это в доме моем стонут и плачут.

* * *

Антону

Весь этот век, такой бесплодный —
есть дело наших горьких рук,
и только грамотою нотной
исправить можно сей недуг.

Когда народ от горя плачет,
тараща в ужасе зрачки,
хоть мало их — но много значат
простые нотные значки.

За мнимой этой простотою
под грифельком карандаша
с невыразимой остротою
вдруг раскрывается душа.

Да, да, среди тех крючков потешных
на тех линейках прописных
рождается из мук безбрежных
земное выражение их.

Рождается как продолжение
мычанья пересохшим ртом.
И всё — над бездною скольжение...
А музыка — она потом.

* * *

Не уезжай, жена моя, в леса
ни в лодке, ни в машине, ни в телеге.
Провидческие слышу голоса...
Еще нам предстоит разъезд навеки.

Его приход, увы, неумолим,
его шаги расчетливы и скоры.
Повременим, мой друг, повременим
седлать коней и заводить моторы.

Из бытия земного своего
в грядущие не верю обещанья —
ведь там уже не будет ничего:
ни боли, ни прощенья, ни прощанья.

И поражений горьких и побед
и жертвы и охотники мы сами...
Не уезжай, мой ангел: счастья нет,
тем более за дальними лесами.

* * *

Распахнуты дома. Безмолвны этажи.
Спокойным сном охвачены квартиры.
Но к зимней печке ухо приложи —
гудят за кладкою Mortier.

Гуляет тихий вечер по земле,
беспечный... Но в минуту роковую
толченый перец в склянке на столе
готов напомнить пыль порохovou.

Стоит июль во всей своей красе.
За поворотом женщина смеется.
Но шаг — и стратегическим шоссе
тропинка к дому обернется.

По улицам, сливая голоса,
неотличимы брат от брата,
текут и строятся полки и корпуса,
которым не даровано возврата.

Где родились мы? Под звездой какой?
Какие нам определяют силы
носить в себе и ярость, и покой,
и жажду жить, и братские могилы?

* * *

Мне все известно. Я устал все знать
и все предвидеть.
А между тем как запросто опять
меня обидеть.

Как мало значу я без гордых сил,
в костюме зашитый.
Мой опыт мне совсем не накопил
от бед защиты.

Судьба моя, беспомощна сама,
и в ус не дует.
История, сходящая с ума,
со мной флиртует.

Флиртуй, флиртуй, сентябрьская ночь,
кажись забавной.
Невыносимо, но не превозмочь
разлуки главной.

Она стоит как стрелочник за мной —
служака честный —
и отправляет мой состав земной
в тупик небесный.

* * *

Владимиру Фрумкину и Виктору Соколову

Калифорния в цвету. Белый храм
в зеленом парке.
Отчего же в моем сердце эта горечь,
эта грусть?
Я уже писал о том, как объятья наши жарки
от предчувствия разлуки. Ничего,
что повторюсь.

Тайный голос высших сил. Незнакомый
почерк веток.
Мы, затерянные где-то между счастьем
и бедой...
Ностальгии на века не бывает — лишь на этот,
на короткий промежуток нашей жизни золотой.
Что у вас среди тех деревьев, под стеною
белой храма?
Как горите — вдохновенно или так,
по мере сил?
Я не знаю, где точней и страшнее наша драма,
и вернетесь ли обратно, я не знаю.
Не спросил.

* * *

Б. Чичибабину

Я вам описываю жизнь свою,
и больше никакой.
Я вам описываю жизнь свою, и только
лишь свою.
Каким я вижу этот свет, как я люблю
и протестую,
всю подноготную живую у этой жизни на краю.

И с краюшка того бытья, с последней той
ступеньки шаткой,
из позднего того окошка, и зазывая и маня,
мне представляется она такой бескрайнею
и сладкой,
как будто дальняя дорога опять открылась
для меня.

Как будто это для меня: березы белой лист
багряный,
рябины красной лист узорный и дуба
черная кора,
и по капризу моему клубится утренник
туманный,
по прихоти моей счастливой стоит
сентябрьская пора.

* * *

Я умел не обольщаться
даже в юные года.
Но когда пришлось прощаться,
и, быть может, навсегда,

тут уж не до обольщений
в эти несколько минут...
Хоть бы выпросить прощенье,
знать бы, где его дают.

Не скажу, чтоб стал слезливей
с возрастом, но всякий раз
кажется, что мог счастливей
жребий выпросить у вас.

Впрочем, среди великолепий,
нам дарованных судьбой,
знать, и вам не выпал жребий
быть счастливее со мной.

* * *

Дама ножек не замочит,
друг мараться не захочет,
и на свалку спишут старый двор.
Защитите его, струны,
от изменчивой фортуны.
Наша жизнь — короткий разговор.

Что ж вы дремлете, ребята:
ведь осколки — от Арбата!
А какая улица была!
Разрушители гурьбою
делят лавры меж собою.
Вот какие в городе дела.

Ни золота и ни хлеба
ни у черта, ни у неба,
но прошу я без обиняков:
ты укрой меня, гитара,
от смертельного удара,
от московских наших дураков.

Пусть мелодия простая,
но, из сердца вырастая,
украшает наше ремесло.
Ты прости меня, гитара,
может, я тебе не пара,
просто мне с тобою повезло.

* * *

В. Фогельсону

Витя, сыграй на гитаре,
на семиструнной такой,
если, конечно, в ударе,
если она под рукой.

Дай я чехол с нее скину
и как букет поднесу...
Было: свистели нам в спину,
будто бы в позднем лесу.

Этого долгого свиста
нету в помине уже.
Нынче мы все гитаристы —
не наяву, так в душе.

Пальцы притронулись к первой,
тихо откликнулась медь...
...Только бы нотки неверной
нам невзначай не пропеть.

Пальцы касаются баса,
будто в струне той изъян...
...И до последнего часа
буду я верен друзьям.

Пальцы по всем заскользили,
трели сливая и гром...
...Тех, что добры с нами были,
брат мой, помянем добром.

Витя, сыграй на гитаре,
на семиструнной такой,
если, конечно, в ударе,
если она под рукой.

* * *

*В Женеве установлен памятник
генералу Дюфуру, не пролившему
ни одной капли солдатской крови.*

Все утрясается мало-помалу,
чтобы ожить в поминанье людском.
Невоевавшему генералу
памятник ставят в саду городском.

О генерал, не видны твои козни,
бранные крики твои не слышны.
Что-то таится в любви этой поздней
к невоевавшему богу войны.

В прошлое бронзовым глазом уставясь
сквозь пепелища, проклятья и дым,
как ты презрел эту тайную зависть
к многим воинственным братьям своим?

Или клинки в поединках ослабли?
Или душой, генерал, изнемог?
Крови солдатской не пролил ни капли,
скольких кормильцев от смерти сберег!

Как же ты, сын кровожадного века,
бросив перчатку железной войне,
ангелом бился за жизнь человека,
если и нынче она не в цене!

Я не к тому ведь, что прочие страны
зря воспевают победы свои,
но согласитесь: приятны и странны
в этом краю вождельня сии.

Может быть, в беге столетий усталых
тоже захочется праведней жить,
может, и мы о своих генералах,
о генерал, будем так же судить.

* * *

Взяться за руки не я ли призывал вас, господа?
Отчего же вы не вслушались в слова мои,
кто-то властный наши души друг от друга
уводил?..
Чем же я вам не потрафил? Чем я вам
не угодил?

Ваши взоры, словно пушки, на меня наведены,
словно я вам что-то должен...

Мы друг другу не должны.
Что мы есть? Всего лишь крохи в мутном
море бытия.
Всё, что рядом, тем дороже, чем короче
жизнь моя.

Не сужу о вас с пристрастьем, не рыдаю,
со спокойным вдохновеньем в руки
тросточку беру

и на гордых тонких ножках семеню
в святую даль.
Видно, все должно распасться.
Распадайся же... А жаль.

* * *

Как мне нравится по Пятницкой в машине
проезжать!
Восхищения увиденным не в силах я сдержать.

Кораблями из минувшего плывут ее дома,
будто это и не улица — история сама.

Но когда в толпе я шествую по улицам Москвы,
не могу сдержать отчаянья, и боли, и тоски.

Мои тонкие запястья пред глазами скрещены,
будто мне грозят несчастья с той и с этой
стороны.

Как нелепа в моем возрасте, при том, что
видел я,
эта странная раздвоенность, растерянность моя,

эта гордая беспомощность как будто на века
перед этой самой Пятницкой, счастливой,
как река.

Памяти Льва Гинзбурга

Жил, пел, дышал и сочинял,
стихам был предан очень.
Он ничего не начинал,
все так и не закончил.

Жил, пел, ходил, дышал, как все,
покуда время длилось
в своей изменчивой красе...
Потом остановилось.

Как поглядеть со стороны:
пуста тщета усилий.
Но голоса чужой страны
он оживил в России.

Никто не знает, что нужней
да и поймет едва ли...
Но становились мы нежней,
и раны зарастали.

Никто не знает, чьей вины
пожаром нас душило...
А может, не было войны?
Будь проклято, что было!

* * *

Корабль нашей жизни приближается к пристани,
и райская роща все яснее видна.

Чем больше раздумываем, тем ближе мы
к истине,
но, чем ближе мы к истине, тем все дальше она.

* * *

Становлюсь сентиментальным.

В моем облике печальном
что-то есть от поздних рощ,
по которым с перебором
ходит ветер, по которым
шелестит осенний дождь.

Лист моей щеки коснется,
как прохладная ладонь,
и минувший век проснется
весь — надежда и огонь.

Пред его закрытой дверью
подымаюсь на носки,
будто помню, будто верю,
будто млею от тоски.

* * *

Воспитанным кровавою судьбой
так дорого признание земное!
Наука посмеяться над собой
среди других наук — дитя дурное:
она не в моде нынче, не в чести,
как будто бы сулит одни мытарства...
А между тем, чтоб честь свою спасти,
не отыскать надежнее лекарства.

Утро

Погас на Масловке фонарь
и дремлет, остывая.
Сменил страничку календарь
под нервный вскрик трамвая.

Растаяла ночная мгла,
и утро заклубилось...
Собака в комнату вошла
с надеждою на милость.

Ад

Весь в туманах житухи вчерашней,
все надеясь: авось, какнибудь, —
вот и дожил до утренних кашлей,
разрывающих разум и грудь.

И, хрипя от проклятой одышки,
помяная минувшую статью,
не берусь за серьезные книжки:
все боюсь не успеть дочитать.

Добрый доктор, соври на прощанье.
Видишь, как к твоей ручке приник?
Вдруг поверю в твои обещанья
хоть на день, хоть на час, хоть на миг.

Раб ничтожный, взыскующий града,
перед тем, как ладошки сложить,
вдруг поверю, что ложь твоя — правда
и еще суждено мне пожить.

Весь в туманах житухи вчерашней,
так надеюсь на правду твою...
Лучше ад этот, грешный и страшный,
чем без вас отсыпаться в раю.

* * *

Раз и два.
Нынче ты одна, Маруся, в доме голова.
Раз, два, три.
Ничего, что денег мало, — в поле собери.

Раз и два.
Ты одна, моя Маруся, в доме голова.
Раз, два, три.
Ничего, что горя много, — плюнь и разотри.

* * *

Мой брат по перьям и бумаге,
одной мы связаны судьбой.
Зачем соперничать в отваге?
Мы не соперники с тобой.

Мы оба к сей земле пристрастны,
к ней наши помыслы спешат,
а кто из нас с тобой прекрасней —
пусть Бог и время разрешат.

* * *

Ребята, нас вновь обманули,
опять не туда завели.
Мы только всей грудью вздохнули,
да выдохнуть вновь не смогли.

Мы только всей грудью вздохнули
и по сердцу выбрали путь,
и спины едва разогнули,
да надо их снова согнуть.

Ребята, нас предали снова,
и дело как будто к зиме,
и правды короткое слово
летает, как голубь во тьме.

* * *

Смилуйся, быстрое время,
бег свой жестокий умерь.
Не по плечу это бремя,
бремя тревог и потерь.

Будь милосердней и мягче,
не окружай меня злом.
Вон уж и Лета маячит
прямо за ближним углом.

Плакать и каяться поздно.
Тропка на берег крута.
Там неприступно и грозно
райские смотрят врата.

Не пригодилась корона,
тщетною вышла пальба...
И на весле у Харона
замерли жизнь и судьба.

* * *

Проснется ворон молодой
и, глаз уставив золотой,
в оконное стекло подышит
и, разорив свое крыло,
достанет вечное перо
и что-то вечное напишет.

* * *

Р. Рождественскому

Пока еще жизнь не погасла,
сверкнув, не исчезла во мгле...
Как было бы все распрекрасно
на этой зеленой земле,
когда бы не грязные лапы,
неправый вершащие суд,
не бранные крики, не залпы,
не слезы, что речкой текут!

* * *

Л. Люкимсону

Из Австралии Лева в Москву прилетел,
до сестры на машине дожал.
Из окошка такси на Москву поглядел:
холодок по спине пробежал.

Нынче лик у Москвы ну не то чтоб жесток —
не стреляет, в баранку не гнет.
Вдруг возьмет да и спросит: «Боишься,
жидок?» —
и с усмешкою вслед подмигнет.

Там, в Австралии вашей, наверно, жара
и лафа — не опишешь пером!
А в Москве нынче хуже, чем было вчера,
но получше, чем в тридцать седьмом.

По Безбожному, Лева, пройдишь не спеша
и в знакомые лица взглядишь:
у Москвы, может быть, и не злая душа,
но удачливым в ней не родишь.

* * *

Мне не нравится мой силуэт:
невпопад как-то скомкан и скроен.
А ведь мальчик был ладен и строен...
И надежды на лучшее нет.

Поистерся мой старый пиджак,
но уже не зову я портного:
перекройки не выдержать снова —
доплетусь до финала и так.

Но тогда почему, почему,
по капризу какому такому
ничего не прощаю другому
и перчатку швыряю ему?

Покосился мой храм на крови,
впрочем, так же, как прочие стройки.
Новогодняя ель — на помойке.
Ни надежд, ни судьбы, ни любви...

Но тогда отчего, отчего
рву листы и бумагу мараю?
Не сторел — только все догораю
и молчанья боюсь своего?

* * *

Ах, если б знать заранее, заранее, заранее,
что будет не напрасным горение, сторание
терпения и веры, любви и волшебства,
трагическое после, счастливое сперва.

Никто на едкий вызов ответа не получит.
Напрасны наши споры. Вот Лермонтов-поручик.
Он некрасив, нескладен, и все вокруг серо,
но как же он прекрасен, когда в руке перо!

Вот Александр Сергеич, он в поиске и в муке,
да козыри лукавы и не даются в руки,
их силуэты брезжут на дне души его...
Терпение и вера, любовь и волшебство!

Все гаснут понемногу: надежды и смятенье.
К иным, к иным высотам возносятся их тени.
А жизнь неутомимо вращает колесо,
но искры остаются, и это хорошо.

И вот я замечаю, хоть и не мистик вроде,
какие-то намеки в октябрьской природе:
не просто пробужденье мелодий и кистей,
а даже возрожденье умолкнувших страстей.

Все в мире созревает в борениях и встрясках.
Не спорьте понапрасну о линиях и красках.
Пусть каждый, изнывая, достигнет своего...
Терпение и вера, любовь и волшебство!

* * *

О. и Ю. Понаровским

Под крики толпы угрожающей,
хрипящей и стонущей вслед,
последний еврей уезжающий
погасит на станции свет.

Потоки проклятий и ругани
худую рукою стряхнет,
и медленно профиль испуганный
за темным стеклом проплывет.

Как будто из недр человечества
глядит на минувшее он...
И катится мимо отечества
последний зеленый вагон.

Весь мир, наши судьбы тасующий,
гудит среди лесов и морей...
Еврей, о России тоскующий,
на совести горькой моей.

* * *

К старости косточки стали болеть,
старая рана нет-нет и занает.
Стоило ли воскресать и гореть?
Все, что исхожено, что оно стоит?

Вон ведь какая прогорклая мгла!
Лето кончается. Лета уж близко.
Мама меня от беды берегла,
Бога просила о том, атеистка,
карагандинской фортуны своей
лик, искореженный злом, проклиная...

Что там за проволокой? Соловей,
смолкший давно, да отчизна больная.

Все, что мерещилось, в прах сожжено.
Так, лишь какая-то малость в остатке...
Вот, мой любезный, какое кино
я досмотрел на седьмом-то десятке!

«Так тебе, праведник!» — крикнет злодей.
«Вот тебе, грешничек!» — праведник кинет...
Я не прощенья прошу у людей:
что их прощение? Вспыхнет и сгинет.

Так и качаюсь на самом краю
и на свечу догоревшую дую...
Скоро увижу я маму мою,
стройную, гордую и молодую.

Японская фантазия

Когда за окнами земля кружиться перестала,
тогда Япония сама глазам моим предстала,
спеша, усердствуя, молясь, и плача, и маня...
Друзья мои, себя храня, молитесь за меня.

Он садится на сиденье в предвкушенье
наслаждений,
он сознательно готовится к борьбе.
Сколько в граде Истамбуле
непредвиденных течений,
где спасение таится лишь в судьбе.

Но судьба, как я заметил,
это детище счастливых,
это им звучит мотив ее трубы,
ну а тем, кто видит счастье
лишь в движениях суетливых,
не до жиру, не до милостей судьбы.

Вот Ахмет, он спозаранку чуть поел —
и за баранку.
Он и кучер, он и рыцарь, он и плут,
и езда усугубляет его гордую осанку,
хоть шоферы ему форы не дают.

И когда машин лавины, словно танки,
словно льдины
разнести его на части норовят,
тут ему подспорьем служат опыт, риск,
и жест единый,
и судьба, и обаянье — все подряд.

Да, он вымотан, конечно. Да, чело
покрыто потом,
но в какой-нибудь случайной чайхане

минареты и трамваи, и бараньи шашлыки...
А у нас — одни заботы, только слезы
да штыки.

Вот стою уже я прочно на стамбульском берегу,
но гляжу на крымский берег, изогнувшийся
в дугу.

Шею вытянул до хруста, мысли черные гоня:
неужели все впустую? Как там нынче без меня?

Что за грозные решенья долетают сквозь туман?
То ли впрямь разоруженье, то ли заново обман?
Что там будет? Кем мы были? Кто мы есть,
и что нас ждет?

А на пристани турецкой собирается народ.

Все дела давно забыты, и веселье, и уют,
и они не тостов праздных и не манны
с неба ждут,
ждут, чтобы Мазлум с Ахматом здесь,
на краешке земли,
с русского на их турецкий боль мою перевели.

Песенка Белле

Машина — это дело.
Все остальное — пыль.
Вот деньги тебе, Белла:
купи автомобиль.

Садись за руль надежный,
дорожный мрак рассей,
лети на крик тревожный
спасать своих друзей.

И в том автомобиле
объезди целый свет...
Я дал бы тебе крылья,
да у меня их нет.

* * *

Благородные жены безумных поэтов,
от совсем молодых до старух,
героини поэм, и молвы, и куплетов,
обжигающих сердце и слух.

Вы провидицы яви, рожденной в подушках,
провозвестницы света в ночи,
ваши туфельки стоптаны на побегушках...
Вы и мужнины, вы и ничьи.

Благородные жены поэтов безумных,
как же мечетесь вы, семеня
в коридорах судьбы, бестолковых и шумных,
в ожидании лучшего дня!

И распахнуты крылья любви вековые,
и до чуда рукою подать,
но у судеб финалы всегда роковые,
и соперницы чуду под стать.

Благородных поэтов безумные жены,
не зарекшись от тьмы и сумы,
ваши души сияют, как факел зажженный,
под которым блаженствуем мы.

В этом мире, изученном нами и старом,
что ж мы видим, спадая с лица?
Как уродец, согретый божественным даром,
согревает и ваши сердца.

Но каким бы он в жизни ни слыл безобразным,
слышим мы из угла своего,
как молитвы возносите вы ежечасно
за бессмертную душу его.

И когда он своею трепещущей ручкой
по бумаге проводит пером,
слышу я: колокольчик гремит однозвучный
на житейском просторе моем.

. * * *

От войны войны не ищут.
У войны слепой расчет:
там чужие пули рыщут,
там родная кровь течет.

Пулька в золотой сорочке
со свинцовым животом...
Нет на свете злей примочки,
да кого спросить о том?

Всем даруется победа,
не взаправду — так в душе.
Каждый смотрит на соседа,
а соседа нет уже.

Нас ведь создал Бог для счастья
каждого в своем краю.
Отчего ж глухие страсти
злобно сводят нас в бою?

Вот и прерван век недолгий,
и летят со всех сторон
письма, словно треуголки
Бонапартовых времен.

Ироническое обращение к генералу

Пока на свете нет войны,
вы в положении дурацком.
Не лучше ли шататься в штатском,
тем более, что все равны?

Хотя, с обратной стороны,
как мне того бы ни хотелось,
свои профессию и смелость
вы совершенствовать должны?

Ну что моряк на берегу?
Что прачка без воды и мыла?
И с тем, что и без войн вы — сила,
я согласиться не могу.

Хирургу нужен острый нож,
пилоту — высь, актеру — сцена,
геолог в поиске бессменно:
кто знает дело — тот хорош.

Воителю нужна война
разлуки, смерти и мученья,
бой, а не мирные ученья,
иначе грош ему цена.

Воителю нужна война
и громогласная победа,
а если все к парадам это —
то, значит, грош ему цена.

Так где же правда, генерал?
Подумывай об этом, право,
пока вышагиваешь браво,
предвидя радостный финал.

Когда ж сомненье захлестнет,
вглядись в глаза полкам и ротам:
пусть хоть за третьим поворотом
разгадка истины блеснет.

* * *

Не каждому поэту удача выпадает.
Не каждому поэту читателей хватает,
но каждому поэту пути иного нет...
Конечно, если это не лапоть, а поэт.

От сотворенья к судьям течет людское племя.
Судья закону служит, хоть тяжело это бремя,
грабителей карая, хулителей щадя...
Конечно, если это не лапоть, а судья.

Артиста не начальство — фортуна выбирает.
Он в честь нее стократно за век свой умирает,
из передряг злодейских душой выходит чист...
Конечно, если это не лапоть, а артист.

Солдат идет с винтовкой, врага он не боится.
Но вот какая странность в душе его творится:
он пушки ненавидит, и войнам он не рад...
Конечно, если это не лапоть, а солдат.

Детство

Я еду Тифлисом в пролетке.
Октябрь стоит золотой.
Осенние нарды и четки
повсюду стучат вразнобой.

Сапожник согнулся над хромом,
лудильщик ударил в котел,
и с уличным гамом и громом
по городу праздник пошел.

Уже за спиной Ортачала.
Кура пролегла стороной.
Мне только лишь три отстучало,
а что еще будет со мной!

Пустячное жизни мгновенье,
едва лишь запомнишь его,
но всюду царит вдохновенье,
и это превыше всего.

В застолье, в любви и коварстве,
от той и до этой стены,
и в воздухе, как в государстве,
все страсти в одну сведены.

Я еду Тифлисом в пролетке
и вижу, как осень кружит,
и локоть родной моей тетки
на белой подушке дрожит.

* * *

В земные страсти вовлеченный,
я знаю, что из тьмы на свет
однажды выйдет ангел черный
и крикнет, что спасенья нет.

Но простодушный и несмелый,
прекрасный, как благая весть,
идуший следом ангел белый
прошепчет, что надежда есть.

Нянька

Акулина Ивановна, нянька моя дорогая,
в закуточке у кухни сидела, чаек попивая,
напевая молитвы без слов золотым голоском,
словно жаворонок над зеленым еще колоском.

Акулина Ивановна, около храма Спасителя
ты меня наставляла, на тоненьких ножках
просителя,
а уж после я душу сжигал, и дороги месил...
Не на то, знать, надеялся, и не о том,
знать, просил.

По долинам, по взгорьям толпою текло
человечество.
Слева — поле и лес, справа — слезы,
любовь и отечество,
посредине лежали холодные руки судьбы,
и две ножки еще не устали от долгой ходьбы.

Ах, наверно, не зря распалялся небесною
властью
твой российский костер над моею
грузинскою страстью,
узловатые руки сплетались теплей и добрей,
как молитва твоя над армянскою скорбью
моей.

Акулина Ивановна, все мне из бед наших
помнится.

Оттого-то и совесть моя трепетанием полнится.
Оттого-то и сердце мое перебой дает,
и не только когда соловей за окошком поет.

Акулина Ивановна, нянька моя дорогая,
все, что мы потеряли, пусть вспыхнет еще,
догорая,
все, что мы натворили, и все,
что еще сотворим, —
словно утренний дым над тамбовским
надгробьем твоим.

* * *

Прощайте, стихи, ваши строки, и ваши
намеки, и струны,
и ваши вулканы погасли, и, видимо,
пробил тот час...
И вот по капризу природы, по тайному
знаку фортуны
решается эта загадка: кто будет услышан из вас.

Когда вы так странно рождались,
как будто входили без спроса,
как будто с блаженной улыбкой
с господского ели стола,
вам все удавалось отменно,
и были наглы вы, а проза
была, словно нищенка, нема и словно
подачки ждала.

Но вот, будто молнии, стрелы в глазах
 неподвижных проснулись,
 но вспыхнули, зарозовели неюные щеки ее.
 И тотчас гусиные перья шершавой
 бумаги коснулись,
 и тотчас ушли, не прощаясь, и быт,
 и беда, и вранье.

А там уж как Бог пожелает, а там уж
 как время захочет,
 а там что подскажет природа, а там что
 позволят грехи...
 Покуда шершавой бумаги хоть капля слезы
 не омочит,
 кто знает — что проза такое? Кто знает,
 что значат стихи?

Американская фантазия

Л. Лосеву

Столица северного штата — прекрасный
 город Монпелье.
 Однако здесь жара такая, что хочется
 ходить в белье.
 Да, да, в белье. Да, да, в исподнем.
 Да, да, пусть даже в прошлогоднем,
 а впрочем, лучше без него.
 Как в том дарованном господнем,
 чтобы предстать
 пред этим полднем рисунком тела своего.

Да, да, пожалуй обнаженным,
лишь долларами снаряженным,
в ладошке потной их держа,
И с этой потною ладошкой,
как будто с деревянной ложкой,
перед витринами кружа.

Моя московская ладошка, в тебя вложить
совсем немножко,
и эти райские места благословят мои уста.
Мои арбатские привычки к пустому хлебу
и водичке
здесь обрывают тормоза, когда витрины
бьют в глаза.

Удар — и вой в пустом желудке, не слишком
явственный, но жуткий,
людей пугающий окрест.

Но этот тип, на вид опасный — всего лишь
странничек несчастный,
и он Вермонта не объест.

Глоток — и все преобразилось: какая жизнь,
скажи на милость!

Я распрямляюсь наяву.
Еще глоток — и что там будет:
простит ли Бог или осудит,
что так несправедно живу?

Но так, чтобы позже ложиться,
и так, чтобы раньше вставать,
а после обеда свалиться
на жесткое ложе опять.
Пугают меня, что продлится
недолго подобная блажь...
Но жив я, мне сладко ложится —
за это чего не отдашь?

Сперва с аппетитом отличным
съедаю нехитрый обед
и в пику безумцам столичным
ныряю под клетчатый плед,
а после в порыве сердечном,
пока за глазами черно,
меж вечным и меж быстротечным
ищу золотое зерно.

Вот так и живу в Подмоскowie,
в заснеженном этом раю,
свое укрепляя здоровье
и душу смиряя свою.
Смешны мне хула и злословье
и сладкие речи смешны,
слышны мне лишь выхлопы крови
да арии птичьи слышны.

Покуда старается гений
закон разгадать мировой,
покуда минувшего тени
плывут над его головой

и редкие вспышки прозрений
теснят его с разных сторон,
мой вечер из неги и лени
небесной рукой сотворен.

И падает, падает наземь
загадочный дождик с небес.
Неистовой он раз за разом,
хоть силы земные в обрез.
И вот уж противится разум,
и даже слабеет рука,
но будничным этим рассказом
я вас развлекаю слегка.

На самом-то деле, представьте,
загадочней все и страшней,
и голос фортуны некстати,
и черные крылья за ней,
и вместо напрасных проклятий,
смирив слепой их обвал,
бегу от постыдных объятий
еще не остывших похвал.

Во мгле переделкинской пуши,
в разводах еловых стволов,
чем он торопливей, тем гуще,
поток из загадок и слов.
Пока ж я на волю отпущен,
и слово со мной заодно,
меж прожитым и меж грядущим
ищу золотое зерно.

Жаркий полдень в Массачусетсе

Джоан Афферика

Какая-то птичка какой-то свисточек
настроила вдруг на июль голубой.
Не знает заботы, поет и стрекочет,
не помнит ни зла, ни обид за собой.

О, как неожидан дебют ее сольный!
Он так поражает и сердце и слух,
как дух Массачусетса, жаркий и вольный,
как Латвии дальней полуденный дух.

Я музыку эту лелею и холю
и каждую ноту ловлю и ценю,
как вновь обретенную вольную волю,
которую сам же всю жизнь хороню...

Шуршание клена. Молчанье гранита.
И птичка, поющая соло свое.
И трудно понять, где таится граница
меж болью моею и песней ее.

* * *

Вроцлав. Лиловые сумерки.
Первые соки земли.
Страхи вчерашние умерли,
новые — где-то вдали.

Будто на мартовском острове
не расставаясь живем,
всё еще братьями-сестрами
гордо друг друга зовем.

Нашу негромкую братию
не погубило вранье.
Всё еще, слава Создателю,
верим в спасенье свое.

Сколько бы мартов ни минуло,
как ни давила бы мгла,
только бы Польша не сгнула,
только б Россия смогла.

Красный клен

Красный клен, мое почтение!
Добрый день, вермонтский друг!
Азбуки твоей прочтение
занимает мой досуг.

Каждый лист твой что-то важное
говорит ученику
в это жаркое и влажное
время года на веку.

Здесь из норвичского скверика
открывается глазам
первозданная Америка,
та, что знал по «голосам».

Здесь, как грамота охранная,
выдана на сорок дней
жизнь короткая и странная
мне и женщине моей.

Красный клен, в твоей обители
нет скорбящих никого.
Разгляди среди всех и выдели
мать сына моего.

Красный клен, рукой божественной,
захиревшей на Руси,
приголубь нас с этой женщиной,
защити нас и спаси.

* * *

Париж для того, чтоб ходить по нему,
глазеть на него, изумляться,
грозящему бездной концу своему
не верить и жить не бояться.

Он благоуханием так умашен,
таким он мне весь достается,
как будто я понят уже и прощен,
и праздновать лишь остается.

Париж для того, чтоб, забыв хоть на час
борения крови и классов,
войти мимоходом в кафе «Монпарнас»,
где ждет меня Вика Некрасов.

* * *

Рахели

Сладкое бремя, глядишь, обернется копейкою:
кровью и порохом пахнет от близких границ.
Смуглая сабра с оружием, с тоненькой
шейкою
юной хозяйкой глядит из-под черных ресниц.

Как ты стоишь... как приклада рукою
касаешься!
В темно-зеленую курточку облачена...
Знать, неспроста предо мною возникли,
хозяйюшка,
те фронтовые, иные, мои времена.

Может быть, наша судьба как расхожие
денежки,
что на ладонях чужих обреченно дрожат...
Вот и кричу не попад: до свидания, девочки!
Выбора нет! Постарайтесь вернуться назад!..

Романс

В. Никулину

В Иерусалиме первый снег.
Побелели улочки крутые.
Зонтики распахнуты у всех
красные и светло-голубые.

Наша жизнь разбита пополам,
да напрасно счет вести обидам.
Все сполна воздастся по делам
грустным и счастливым, и забытым.

И когда ударит главный час
и начнется наших душ поверка,
лишь бы только ни в одном из нас
прожитое нами не померкло.

Потому и сыплет первый снег.
В Иерусалиме небо близко.
Может быть, и короток наш век,
но его не вычеркнуть из списка.

* * *

Тель-авивские харчевни,
забегаловок уют,
где и днем, и в час вечерний
хумус с перцем подают.

Где горячие лепешки
обжигают языки,
где от ложки до бомбежки
расстояния близки.

Там живет мой друг приезжий,
распрощавшийся с Москвой,
и насмешливый, и нежный,
и снедаемый тоской.

Кипа, с темечка слетая,
не приручена пока...
Перед ним — Земля Святая,
а другая далека.

И от той, от отдаленной,
сквозь пустыни льется свет,
и ее, неутоленной,
нет страшней и слаще нет...

...Вы опять спасетесь сами.
Бог не выдаст, черт не съест.
Ну а боль навеки с вами,
боль от перемены мест.

* * *

Вы говорите про Ливан...
Да что уж тот Ливан, ей-богу!
Не дал бы Бог, чтобы Иван
на танке проложил дорогу.

Когда на танке он придет,
кто знает, что ему приспичит,
куда он дула наведет
и словно сдуру что накличет.

Когда бы странником — пустяк,
что за вопрос — когда б с любовью,
пусть за деньгой — уж лучше так,
а не с буденными и с кровью.

Тем более что в сих местах
с глухих столетий и поныне —
и мирный пламень на крестах,
и звон малиновый в пустыне.

Тем более что на Святой
Земле всегда пребудут с нами
и Мандельштам, и Лев Толстой,
И Александр Сергеич сами.

Подмосковная фантазия

В. Астафьеву

Ворон над Переделкином черную глотку рвет.
Он как персонаж из песни над головой
кружится.

Я клювом назвать не осмеливаюсь
его вдохновенный рот,
складками обрамленный скорбными,
как у провидца.

И видя глаз прозорливый, и слушая речи его,
исполненные предчувствий, отчаяния и желчи,
я птицей назвать не осмеливаюсь
крылатое существо —
как будто оно обвиняет, а мне оправдаться
нечем.

* * *

Я в Кёльне живу. Возле Копелева.
В Собор захожу по утрам.
Хватает еды мне и топлива,
и мало трагедий и драм.

Из этого, правда, не явствует,
что сытостью я обольщен,
и к людям, в их помыслы частные,
мой въедливый взор обращен.

А что в этих людях таинственных?
И чем они нынче полны?
И нет ли страстей в них воинственных,
а может, уколов вины?

Вот каменщик замер над кладкою,
вот с площади выметен сор,
и улицей, будто украдкою,
задумчивый едет таксёр.

Рабы философии будничной
надежнее прячут улов,
и дух круасанов из булочной
привычен, дразнящ и здоров.

Покуда пророки витийствуют
и учат, как праведно жить,
котомку фортуны единственную
хотя б до крыльца дотащить.

Как все-таки мало несхожего
во всем, что вокруг наяву...
— Ну как? — вопрошаю прохожего.
— Да так, — отвечает, — живу.

Весь город, как мальчик с обновочкой,
с какою-то тайной в глазах...
Здесь жили и Раечка с Левочкой —
да нынче она в небесах.

* * *

Вот Тюрингии столица.
Нам бы в ней повеселиться!..
И проследовали.
В этом городе зелёном
Александр с Наполеоном
всё беседовали.

Два тирана, два кумира,
разделившие полмира.
Им прислуживали.
А они — про то и это,
то есть знание предмета
обнаруживали.

Вот и мы пивцо гоняем,
но одно лишь вспоминаем:
годы проклятые.
Не щадя ни слов, ни пыла,
лишь о том, что с нами было,
словно чокнутые.

* * *

Со скоростью сто сорок километров
под музыку ночных французских ветров
я ехал из Нормандии в Париж.
Откинувшись лениво на сиденье,
не в «Жигулях» я ехал — в «ситроене»,
московский запоздалый нувориш.

Я песни пел, я с Францией общался,
в Париж к своим пенатам возвращался,
и не понять, откуда что бралось.
Я был почти что на верху блаженства,
и каждый жест был полон совершенства...
Как что-то вдруг во мне оборвалось.

Припомнилось, привиделось, приснилось,
пригрезилось, и все остановилось
на том углу, где был я юн и слеп,
в землянке той, не слишком-то удобной,
перед лицом моей фортуны злобной
я выронил из рук свой сладкий хлеб.

Грядущего бытья нечеткий профиль:
пора считать, да вроде час не пробил,
пора забыть, да как-то не с руки...
Что это было, Господи мой Боже?!
Нормандия. Апрель. Мороз по коже.
Ночной пейзаж. И всё — не пустяки.

Не то движенье это скоростное,
а может, просто что-то возрастное:
все радости — гори они в огне...
Когда-нибудь за жизнь свою вторую
я это все, конечно, расшифрую,
а нынче это недоступно мне.

Шмель в Массачусетсе

Ну надо же: шмель подмосковный
откуда куда залетел!
А свой пиджачишко посконный
для пушего форса надел.

А свой локоточек протертый
под крылышко спрятал слегка,
а лапкой как будто нетвердой
коснулся живого цветка.

Не склонный отнюдь к сантиментам,
он словно из ковшика пил
и с русским как будто акцентом
английские фразы бубнил.

Потом покачал головою,
пыльцу утирая со щек...
И вновь загудел над травкою
шаляпинский чистый басок.

* * *

Памяти А. Д. Сахарова

Когда начинается речь, что пропала духовность,
что людям отныне дорога сквозь темень лежит,
в глазах удивленных и в душах святая готовность
пойти и погибнуть, как новое пламя, дрожит.

И это не есть обольщение или ошибка,
а это действительно гордое пламя костра,
и в пламени праведном этом надежды улыбка
на бледных губах проступает, и совесть остра.

Полночные их силуэты пугают загадкой.
С фортуны не спросишь — она свои
тайны хранит.

И рано еще упиваться победою сладкой,
еще до рассвета далече... И сердце щемит.

* * *

На почве страха и тоски
рождаются в башке химеры.
Я трачу чистые листы,
изображая их манеры.

Срисовываю их с себя,
гляжу на них пугливым оком,
как, издеваясь и сопя,
они бесчинствуют под боком.

И искаженный профиль мой
со стороны всего виднее...
Пожалуй, не найти бледнее
перед сумою и тюрьмой.

* * *

Через два поколения выйдут на свет
люди, которых сегодня нет.

Им будут странными страхи мои,
искаженный овал моего лица.
Ниточка неразделенной любви
вонзится пулею в их сердца.
Им будет робость моя чужда,
они раскованней будут и злей...
Зависть, ненависть и вражда
взойдут над просторами их полей.

* * *

Давайте чашу высечем хрустальную
из голубого хрусталя
под музыку резца печальную
в честь ловких пальцев кустика.

Давайте позабудем дерзость вздорную
на диком берегу своем;
на чашу глядя ту, на рукотворную,
иные дали воспоем.

В который раз не зря ж мы души подняли
и речь о правде завели...

На свете нет заботы благороднее,
чем украшение земли.

Она нам всем — и первый крик, и матушка,
да и последнее жильё.

Ах, только б ни кровинушки, ни пятнышка
веки на челе ее!

Новая Англия

Оле

Новая Англия. Старая песенка. Дождь.

И овсяной лепешки похрустываньё.

И по траве неизвестного хищника след.

Что-то во всем вашем, ваше величество,
облике неповторимое, грустное,
что-то такое, чему и названия нет.

Времечко, что ли, еще непривычное,

облачко, слишком уж низко бредущее,

образ ли жизни, рожденный цветком луговым?

Или вам видится, ваше величество,

непредсказуемым ваше грядущее,
или минувшее видится вам роковым?

Кто его знает, что завтра отыщется.

Может, случится, — надежд увеличится.

Кто потеряет, а кто непременно найдет.

Новая Англия. Старая песенка.

Что ж тут поделаешь, ваше величество:
что предназначено, то и стоит у ворот.

* * *

Покуда на экране куражится Сосо,
история все так же вращает колесо.

Когда же он устанет и скроется во тьму,
мы будем с прежней страстью
прислуживать ему.

И лишь тогда, пожалуй, на место встанет все,
когда нас спросит правнук: «А кто такой Сосо?»

Перед витриной

Вот дурацкий манекен, расточающий улыбки.
Я гляжу через стекло. Он глядит поверх меня.
У него большая жизнь, у меня ж —
одни ошибки...

Дайте мне хоть передышку и крылатого коня!

У него такой успех! Мне подобное не снится.
Вокруг барышни толпятся, и милиция свистит.
У него — почти что все, он —
почти что заграница,
а с меня ведь время спросит и, конечно,
не простит.

Мой отец погиб в тюрьме. Мама долго
просидела.
Я сражался на войне, потому что верил в сны.
Жизнь меня не берегла и шпыняла то и дело.
Может, я бы стал поэтом, если б не было
войны.

У меня медаль в столе. Я почти что был героем.
Манекены без медалей, а одеты хоть куда.
Я солдатом спину гнул, а они не ходят строем,
улыбаются вальяжно, как большие господа.

Правда, я еще могу ничему не удивляться,
выпить кружечку, другую,
подскользнуться на бегу.
Манекены же должны днем и ночью улыбаться
и не могут удержаться. Никогда. А я могу.

Так чего же я стою перед этою витриной
и, открывши рот, смотрю на дурацкий силуэт?
Впрочем, мне держать ответ и туда идти
с повинной,
где кончается дорога... А с него и спросу нет.

* * *

Как улыбается юный флейтист,
флейту к губам прижимая!
Как он наивен, и тонок, и чист!
Флейта в руках как живая.

Как он старается сам за двоих,
как вдохновенно все тело...
И до житейских печалей моих
что ему нынче за дело?

Вот он стоит у метро на углу,
душу раскрыв принародно,
флейту вонзая, как будто иглу,
в каждого поочередно.

Вот из прохладной ладони моей
в шапку монетка скатилась...
Значит, и мне тот ночной соловей —
кто он, скажите на милость?

Как голосок соловья ни хорош,
кем ни слыву я на свете,
нету гармонии ну ни на грош
в нашем счастливом дуэте.

* * *

Вот какое нынче время —
всё в проклятьях и в дыму...
Потому и рифма «бремя»
соответствует ему.

* * *

Тянется жизни моей карнавал.
Счет подведен, а он тянется, тянется.
Все совершилось, чего и не ждал.
Что же достанется? Что же останется?

Всякая жизнь на земле — волшебство.
Болью земли своей страждем и мучимся,
а вот соседа любить своего
всё не научимся, всё не научимся.

Траты души не покрыть серебром.
Все, что случается, скоро кончается.
Зло, как и встарь, верховодит добром...
Впору отчаяться, впору отчаяться.

Всех и надежд-то на малую горсть,
и потому, зная, во тьме он и мечется,
гордый, и горький, и острый как гвоздь,
карий и страждущий глаз человечества.

Рай

Я в раю, где уют и улыбки,
и поклоны, и снова уют,
где не бьют за былые ошибки —
за мытарства хвалу воздают.

Как легко мне прощенье досталось!
Так, без пропуска, так, налегке...
То ли стража у врат зазевалась,

то ли шторм был на Стиксе-реке,
то ли стар тот Харон в своей лодке,
то ли пьян как трактирный лакей...

«Это кто ж там, пугливый и кроткий?
Не тушуйся, все будет о'кей.
Не преминем до места доставить,
в этом я побожиться могу...
Но гитару придется оставить
в прежней жизни, на том берегу.
И претензии к прошлому миру,
и дорогу обратно домой...»

И сулил мне то арфу, то лиру,
то свирель с золотою каймой.
Но, заласканный сладким тем бредом,
дней былых позабыть не могу:
то ли продал кого, то ли предал,
то ли выдал на том берегу.

* * *

Поверь мне, Агнешка, грядут перемены...
Так я написал тебе в прежние дни.
Я знал и тогда, что они непременно,
лишь ручку свою ты до них дотяни.

А если не так, для чего ж мы сгораем?
Так, значит, свершится все то, что хотим?
Да, все совершится, чего мы желаем,
оно совершится, да мы улетим.

* * *

Погода что-то портится,
тусклее как-то свет.
Во что-то верить хочется,
да образцов все нет.

* * *

Украшение жизни моей:
засыпающих птиц перепалка,
роза, сумерки, шелест ветвей
и аллеи Саксонского парка.

И не горечь за прошлые дни,
за нехватку любви и ласки...
Все уходит: и боль, и огни,
и недолгий мой полдень варшавский.

* * *

Пока он писал о России,
не мысля потрафить себе,
его два крыла возносили —
два праведных знака в судьбе.

Когда же он стал «патриотом»
и вдруг загордился собой,
он думал, что слился с народом,
а вышло: смешался с толпой.

* * *

Лучше безумствовать в черной тоске,
чем от прохожих глаза свои прятать.
Лучше в Варшаве грустить по Москве,
чем на Арбате по прошлому плакать.

* * *

Вот постарел, и стало холодно,
и стало тихо на земле.
Не то чтоб шум житейский кончился
и крики сгнули во мгле.
Нет-нет, и крики продолжают, и розы
красные в соку,
и солнце жжет... А мне вот холодно —
никак согреться не могу.

* * *

Не пробуй этот мед: в нем ложка дегтя.
Чего не заработал — не проси.
Не плюй в колодец. Не кичись. До локтя
всего вершок — попробуй укуси.

Час утренний — делам, любви — вечерний,
раздумьям — осень, бодрости — зима...
Весь мир устроен из ограничений,
чтобы от счастья не сойти с ума.

Памяти Давида Самойлова

Что происходит под нашими крышами,
в наших сердцах, среди своих и чужих?
Вижу потомка я профиль возвышенный
и удивленье в глазах голубых.

Да, мы старались, да вот пригодится ли
наше старанье на все времена?

Дезик, мне дороги наши традиции:
верность, виктория, вобла, война,

воля, восторг, вероятность везения,
все, что угасло, как детские сны...

Да не померкнут в лукавом забвении
гении нашей кровавой вины!

И, растворяясь по капельке в воздухе,
может, когда-нибудь выйдут на свет
сладость раскаянья, слезы и отзвуки
боли, чему и названия нет.

Песенка

На пригорке стояла усадьба.
До сих пор ее остов не срыт.
То поминки, то святки, то свадебка
за деревьями вдруг прошумит.

Там когда-то пылало пожарище,
низвергались и жизнь, и покой,

и какая-то грустная барышня
на прощанье взмахнула рукой.

И во власть расставания отдана,
за морями искала жильё.
Тротуары Стамбула и Лондона
закачались под ножкой ее.

Силуэт ее скорбный рассеялся
на далеком чужом берегу...
Я глумился над ней и посмеивался,
а забыть до сих пор не могу.

* * *

Мимо кладбища едет купец молодой,
теплой пылью дороженьку вымостив.
Колокольчик звенит под дугой золотой:
Видно, Бог к нему всё еще милостив.

Ни тревоги какой, ни беды под рукой,
ни тоски, под колеса подброшенной,
и вокруг как в раю, да и сам он такой —
не названный, не лишний — а прощенный.

Ни морщинки пока на счастливом лице,
невдомек ему горечь прощания.
Ждут подарки его на заветном крыльце,
и счастливые ждут обещания.

Он другим оставляет суму и тюрьму,
что легко своим ближним даруем мы,
и разлуки — другим, а себе самому —
только празднички да с поцелуями.

А послушать: как песни покуда чисты,
как безвинны пока прегрешения...
И плывут мимо брички кресты да кресты,
как природы живой украшения.

* * *

Вы — армия перед походом
в преддверии грозных атак.
Отставка вчерашним свободам!
Всё собрано в жесткий кулак.

Соперника профиль неясный
всё четче под жгучим огнем,
и ваши солдаты прекрасны
в воинственном раже своем.

Всё будет как в том, сорок пятом:
приходит с едой аппетит.
И армия свой ультиматум
предъявит, когда победит.

Рассеется дым над полями,
но вы — уже войско без крыл
с обозами, с госпиталями,
с надгробьями братских могил.

Песенка корниловца

Я тебя давно забыл — имя лишь запомнилось.
Я тобою был любим, а теперь забыт...
Загадал себе любовь — только не исполнилось,
клялся шашкою стальнойю, да по горло сыт.

Или тебе, родина, знать меня не хочется,
или встал я поперек твоего пути...
Конь споткнется, век пройдет, сталь
на шашке сточится,
моего коня гнедого в поле не найти.

Впереди — чужой порог, пулями освищенный,
позади — родимый дом замели снега...
Я у матери моей первый и единственный,
да обратная дорога больно далека.

* * *

Русского романса городского
слышится загадочный мотив,
музыку, дыхание и слово
в предсказанье судеб превратив.

За волной волна, и это значит:
минул век, и не забыть о том...
Женщина поет. Мужчина плачет.
Чаша перевернута вверх дном.

* * *

Мерзляковский переулок
так приятен для прогулок.
Там не выпекают булок,
зато музыка звучит.
Да, звучит она, хоть тресни,
даже если люд окрестный
дни печальные влачит.

Этот остров музыкальный,
то счастливый, то печальный,
возвышается в тиши.
Этот остров неизбежный —
словно знак твоей надежды,
словно флаг моей души.

С нами дни его пребудут,
даже если позабудут,
как тот остров величать.
Даже если зло восстанет,
даже если перестанет
мир права свои качать...
будет музыка звучать.

* * *

Я обнимаю всех живых
и плачу над умершими,
но вижу замершими их,
глаза их чуть померкшими.

Их души вечные летят
над злом и над соблазнами.
Я верю, что они следят,
как плачем мы и празднуем.

* * *

Мне русские милы из давней прозы
и в пушкинских стихах.
Мне по сердцу их лень, и смех, и слезы,
и горечь на устах.

Когда они сидят на кухне старой
во власти странных дум,
их горький рок, подзвученный гитарой,
насмешлив и угрюм.

Когда толпа внизу кричит и стонет,
что — гордый ум и честь?
Их мало так, что ничего не стоит
по пальцам перечесть.

Мне по сердцу их вера и терпенье,
неверие и раж...
Кто знал, что будет страшным пробужденье
и за окном пейзаж?

Что ж, век иной. Развеяны все мифы.
Повержены умы.
Куда ни посмотреть — всё скифы,
скифы, скифы...

Их тьмы, и тьмы, и тьмы.

И с грустью озираю землю эту,
где злоба и пальба,
мне кажется; что русских вовсе нету,
а вместо них — толпа.

Я знаю этот мир не понаслышке:
я из него пророс,
и за его утраты и излишки
с меня сегодня спрос.

В альбом

И. Лиснянской

Что нам досталось, Инна,
как поглядеть окрест?
Прекрасная картина
сомнительных торжеств,
поверженные храмы
и вера в светлый день,
тревожный шепот мамы
и Арарата тень.

А что осталось, Инна,
как поглядеть вокруг?
Бескрайняя равнина,
и взмах родимых рук,
и робкие надежды,
что не подбит итог,
что жизнь течет, как прежде,
хоть и слезой со щек.

* * *

Резо Габриадзе

А вот Резо — король марионеток —
чей тонок вкус и каждый палец меток:
марионетки из его ребра.
В них много и насмешки, и добра.

И нами управляет Провиденье,
хоть ниточек и скрыта череда...
Но как похожи мы! Вот совпадение!..
Не обольщайтесь волей, господа!

* * *

Поверившие в сны крамольные,
владельцы злата и оков,
наверно, что-то проворонили
во тьме растаявших веков.

И как узнать, что там за окнами?
Какой у времени расчет?..
Лишь дрожь в душе, и плечи согнуты,
и слезы едкие — со щек.

Но эти поздние рыдания
нас убеждают неспроста,
что вечный мир спасут страдания,
а не любовь и красота.

* * *

Не обязательны пуля и кнут,
чтобы холопов плодить повсеместно.
Голод и холод почище согнут,
и унижения — это известно.

Если напрасною станет борьба
и недоступнее вновь перемена,
выйдут ответчики рок, и судьба,
и Провидение — всенепреренно.

Что же валить понапрасну на них?
Разве от этого счастья прибудет?
Нам бы удачи хотя б на двоих —
всем остальным облегчение будет.

* * *

Ничего, что поздняя поверка.
Все, что заработал, то твое.
Жалко лишь, что родина померкла,
что бы там ни пели про нее.

Памяти Алеся Адамовича

Старость — явление не возрастное.
То ли итог поединка с судьбой,
то ли, быть может, предчувствие злое,
то ли сведение счетов с собой.

И ни один златоустый потомок
не извлечет вдохновенно на свет
из отдаленных ли, близких потемок
то, чего не было вовсе и нет.

Вот и дочитана сладкая книжка,
долгие годы в одно сведены,
и замирает обложка, как крышка,
с обозначением точной цены.

Свадебное фото

*Памяти Ольги Окуджава
и Галактиона Табидзе*

Тетя Оля, ты — уже история:
нет тебя — ты только лишь была.
Вот твоя ромашка, та, которая
из твоей могилки проросла.

Вот поэт, тогда тебя любивший,
муж хмельной — небесное дитя,
сам былой, из той печали бывшей,
из того свинцового житья.

А на фото свадебном, на тусклом,
ты еще не знаешь ничего:
ни про пулю меж Орлом и Курском,
ни про слезы тайные его.

Вот и восседаешь рядом тихо
у нестрашных, у входных дверей,
словно маленькая олениха,
не слышавшая про егерей.

* * *

От стужи, от метелей и от вьюг,
от полчищ соплеменников несчастных,
бывало, улетали мы на юг
для поисков пристанищ безопасных.

Так жили мы в иные времена,
но давние дороги позабыты,
и к северу торопится война,
и юг сожжен, и компасы разбиты.

Пророчества сбываются теперь.
Видать, пришло им времечко сбываться:
распахиваю запертую дверь,
но... продолжаю, как всегда, бояться.

* * *

Меня удручают размеры страны проживания.
Я с детства, представьте, гордился
отчизной такой.
Не знаю, как вам, но теперь мне милей
и желаннее
мой дом, мои книги, и мир, и любовь,
и покой.

А то ведь послушать: хмельное, орущее, дикое,
одетое в бархат и золото, в прах и рванье —
гордится величиём! И все-таки слово «великое»
относится больше к размерам, чем к сути ее.

Пространство меня удручает, влечет,
настораживает,
оно — как посуды слепому на шатком крыльце:
то белое, красное, серое, то вдруг оранжевое,
а то голубое... Но черное в самом конце.

* * *

История, перечь ей — не перечь,
сама себе хозяйка и опора.
Да здравствует, кто сможет уберечь
ее труды от суетного вздора!

Да, не на всех нисходит благодать,
не всем благоприятствует теченье.
Да здравствует, кто сможет разгадать
не жизни цель, а свет предназначенья!

* * *

Малиновка свистнет и тут же замрет,
как будто я должен без слов догадаться,
что значит все это и что меня ждет,
куда мне идти и чего мне бояться.

* * *

Тщеславие нас всех подогревает.
Пока ж никто и не подозревает,
как мы полны тщеславием своим,
давайте в скромных позах постоим.

А это значит: не боксер на ринге,
не заводила — оторви да брось,
а глазки в пол, а ручки на ширинке,
а пятки вместе, а носочки врозь.

И вот тогда удача улыбнется,
тогда и постреляем по своим.
Кто рвется к власти — всласть ее нажрется...
А нынче в скромных позах постоим.

* * *

Что есть полоски бересты,
разбросанные перед нами?
Они — как чистые листы,
украшенные письменами.

Из тех рисунков и значков
к ним, в нашу жизнь, под наши своды
врывается из тьмы веков
исповедальный крик природы.

Непраздным опытом полна,
она тот крик в листы заносит,
и что-то все твердит она:
предупреждает или просит?

* * *

Новелле Матвеевой

Мы — романтики старой закалки
из минувшей и страшной поры.
Мы явились на свет из-под палки,
чтоб воспеть городские дворы.

Струн касались рукою привычной,
и метался меж нами, как зверь,
целомудренный ангел столичный,
одурев от любви и потерь.

Ну а нынче, запутавшись между
давней страстью своей и виной,
расплатиться хотим за надежду
самой горькой дворовой ценой.

* * *

Слово бурь не предвещало — было
пламенным сначала.
Слово за слово. И снова — то в восторге,
то в тоске.

От прозренья их качало. С неба музыка
звучала.

Голубая кровь стучала у ораторов в виске.

И оглохнув и ослепнув в одночасье
в день ненастный,
встали все лицом друг к другу,
Бога общего моля,
и потом армянской красной
и азербайджанской красной,
только красной, только красной кровью
залило поля.

А потом они лежали на земле своей
несчастной.

А живые воздевали в горе руки над собой:
ибо кровь бывает красной, только красной,
только красной,
одинаковой, прекрасной, страстной,
но неголубой.

* * *

Под копытами снег голубой примят.
Еду в возке я по чужой стороне...
Так грустно, брат мой, грустно, мой брат!
Ах, кабы вспомнил кто обо мне.

Там горит огонек у того леска.
Еду в возке я. Дуга на коне...

Все тоска окружает, тоска, тоска!
Ах, кабы вспомнил кто обо мне.

Все чужие леса да чужая даль.
И мороз страшней, и душа в огне...
А печаль-то, мой брат, печаль, печаль!
Ах, кабы вспомнил кто обо мне.

* * *

Ехал всадник на коне.
Артиллерия орала.
Танк стрелял. Душа сгорала.
Виселица на гумне...
Иллюстрация к войне.

Я, конечно, не помру:
ты мне раны перевяжешь,
слово ласковое скажешь...
Все затянется к утру...
Иллюстрация к добру.

Мир замешан на крови.
Это наш последний берег.
Может, кто и не поверит —
ниточку не оборви...
Иллюстрация к любви.

* * *

Анджею Мандальяну

По Польше елочки бегут. Над Польшей
птицы пролетают.
Видны задумчивые лица и голубые небеса.
И снова сводит нас судьба,
и эти встречи обещают
любовь, и слезы, и надежды,
и неземные чудеса.

Когда бы грянул яркий свет, чтоб жить
нам в идеальном мире
среди нетоптаной природы, не зная
горечи разлук!..
А тут хотя бы так, мой друг, в твоей
прокуренной квартире,
в твоих видавших виды креслах согрело
нас пожатье рук.

Не будем плакать о былом. Пускай
всё так — и это дело.
Успеть бы сердцем поделиться, последний
снег смести с крыльца...
По Польше елочки бегут, и, значит,
Польша не сгинела,
а если Польша не сгинела — еще далече
до конца.

* * *

Вот приходит Юлик Ким и смешное напевает.
А потом вдруг как заплачет, песню
выплеснув в окно.

Ничего дурного в том: в жизни всякое бывает —
то смешно, а то и грустно, то светло,
а то темно.

Так за что ж его тогда не любили наши
власти?
За российские ли страсти? За корейские ль
глаза?
Может быть, его считали иудеем? Вот так
здрасьте!
Может, чудились им в песнях диссидентов
голоса?

Страхи прежние в былом. Вот он плачет
и смеется,
и рассказывает людям, кто мы есть
и кто он сам.

Впрочем, помнит он всегда,
что веревочка-то вьется...
Это видно по усмешке, по походке, по глазам.

Детская песенка

Король ушел на пенсию,
отставлен от двора,
Сменить свою профессию
пришла ему пора.
От трона королевского
он обалдел сполна...
И тут не спросишь, не с кого —
такие времена.

Король ушел на пенсию
под дудку и свирель,
и завершилась песнею
вся эта канитель.
Кричит в восторге публика,
тарашит мир глаза:
«Да здравствует республика!»
такие чудеса.

Нет карнавала радужней.
Но в той толпе, как врос,
стоит тиранчик завтрашний,
засунув пальчик в нос.

Никто и не спохватится:
пред ними даль светла...
Но время быстро катится —
такие вот дела.

* * *

Теперь уж снегá не оставят,
теперь уж они навсегда,
и летние бредни растают
в морозном пару навсегда.

Тот замысел первоначальный
потухнет, отброшенный вспять,
и вы вашей ручкой печальной
не сможете грядку вскопать.

Не будет ни кинзы, ни лука.
Повянут, взойти не успеv...
И эта вселенская мука
страшнее, чем ярость и гнев.

Как это не к месту, некстати:
апрель, а земля в серебре!
Вы только взгляните, представьте,
что значим мы в этой игре?

В январские шубы одеться?
Всё вспомнить и вновь повторить?..
Когда бы хоть облик гвардейца,
так было б о чем говорить.

Но вам не поможет оковы
разбить до скончания лет
мой праведный, мой бестолковый,
беспомощный мой силуэт.

Песенка Льва Разгона

— Лева, как ты молодо выглядишь!
— А меня долго держали в холодильнике...
(в лагере)

Я долго лежал в холодильнике,
омыт ледяною водой.
Давно в небесах собутыльники,
а я до сих пор молодой.

Преследовал Север угрозой
надежду на свет перемен,
а я пригвоздил его прозой —
пусть маленький, но феномен.

По воле судьбы или случая
я тоже растаю во мгле,
но эта надежда на лучшее
пусть светит другим на земле.

* * *

А. Приставкину

Насколько мудрее законы, чем мы, брат,
с тобою!
Настолько, насколько прекраснее солнце,
чем тьма.
Лишь только начнешь размышлять
над своею судьбою,
как тотчас в башке — то печаль, то сума,
то тюрьма.

А долго ль еще колесить нам по этим дорогам
с тоскою в глазах и с сумой на сутулой спине?
И кто виноват, если выбор, дарованный
Богом,
выходит нам боком? По нашей, по нашей
вине.

Конечно, когда-нибудь будет конец
этой драме,
а нынче все то же, что нам непонятно самим:
насколько прекрасней портрет наш
в ореховой раме,
чем мы, брат, с тобою, лежащие в прахе
пред ним!

В карете прошлого

1

В карету прошлого сажусь. Друзья в восторге.
Окрестный люд весь двор заполонил.
Тюльпаны в гривах вороной четверки,
и розу кучер к шляпе прицепил.
С улыбкою я слышу из-за шторы
ликующий шумок скороговорки...
Не понимаю: чем я угодил?
Как будто хлынул свет во все каморки,
которыми кишат еще задворки,
как прошлого неповторимый жест...
Не понимаю сути сих торжеств.

2

Я что хочу? В минувший век пробраться.
Быть может, там — секреты бытия,
что так бездарно в канувшем таятся
и без которых нынче жалок я.
Вот и рискую. А куда деваться?
И обойдусь, такое может случиться,
без ваших правд и вашего вранья.
Как просто все! Чего же тут бояться?
И визы ведь не нужно добиваться
и всяких циркуляров и словес,
пожалованных будто бы с небес.

3

Мы трогаемся. Тут же ироничный,
глумливый хор арбатский слышен вслед.
Как понимать? На мне костюм приличный,
не под судом, долгов как будто нет.
Я здесь рожден, я — баловень столичный,
к мытарствам и к хуле давно привычный...
Не понимаю: чем я застю свет?
Кому мешает мой поступок личный?
Чей шепоток несется фанатичный,
что мне, мол, не уехать далеко?..
Не понимаю: едется легко.

4

Откинувшись, я еду по бульварам,
Пречистенке, Никитской и Сенной.

Вот дворник с запотевшим самоваром,
а вот субботний митинг у пивной,
где некто норовит надраться даром.
Его городской порочит с жаром,
а барышня обходит стороной.
Попахивает анекдотцем старым
с папашей-недотепой и гусаром...
И в этот водевильный ералаш
въезжает мой стерильный экипаж.

5

Стоит июль безветренный и знойный,
на козлах кучер головой поник,
Мясницкою плетется скот убойный
(народ не только баснями велик).
Виновного в тюрьму ведет конвойный,
и оба лучшей участи достойны,
но каждый к э т о й участи привык.
Прошла война, грядут другие войны,
их воспевает бардов хор нестройный,
героев прославляя имена
всё те же, что и в наши времена.

6

Минувшее мне мнится водевильным,
крикливым, как пасхальное яйцо.
Под ярмарочным гримом, под обильным,
лубочное блестит его лицо.
Потряхивая бутафорским, пыльным

отрепьем то военным, то гражданским,
комедиант взбегает на крыльцо
и голосом глухим и замогильным
с каким-то придыханием бессильным
вещает вздор, сивухой томим...
Минувшее мне видится таким.

7

И все-таки я навзничь пораженным
не падаю. Не проявляю прыть.
На всем пути, в былое протяженном,
Америки, я вижу, не открыть.
И не каким-то городским пиджачиком,
а путником, в раздумья погруженным,
я продолжаю потихоньку плыть;
все тем же завсегдаем прожженным,
картинками из быта окруженным...
Кого-то, знать, их правда потрясла,
но не меня. Я не из их числа.

8

И вижу: ба, знакомые все лица
и речи, и грехи из года в год!
В одежке, может, малая крупца
нас различает — прочее не в счет.
Так стоило ли в даль сию тащиться,
чтоб выведать, в чем разница таится?
Уж эта ловля блох из рода в род!..
Куда течешь, ленивая столица?

Успел уже и кучер притомиться:
Он в этом разбирается весьма,
хоть не учил ни счета, ни письма.

9

Отбив бока и с привкусом отравы
во рту, я поздно начал понимать:
для поисков мифической державы
вояжи ни к чему предпринимать,
итоги их, как водится, лукавы,
а за пределы выходить заставы —
ну разве что суставы поразмять.
Дворовые пророчества, вы правы:
я жертвой стал совсем пустой забавы,
с которой с детства кем-то связан был...
Движение я переоценил!

10

«Дай Бог», — я говорил и клялся Богом,
«Бог с ним», — врага прощая, говорил
так, буднично и невысоким слогом,
так, между дел, без неба и без крыл.
Я был воспитан в атеизме строгом.
Перед церковным не вздыхал порогом,
но то, что я в вояже том открыл,
скитаясь по минувшего дорогам,
заставило подумать вдруг о многом.
Не лишним был раздумий тех итог:
пусть Бога нет, но что же значит Бог?

11

Гармония материи и духа?
Слияние мечты и бытия?
Пока во мне все это зреет глухо,
я глух и нем, и неразумен я.
Лишь шум толпы влетает в оба уха.
И как тут быть? Несовершенство слуха?
А прозорливость гордая моя?
Как шепоток, когда в гортани сухо,
как в просторечье говорят, «непруха»...
А Бог, на все взирающий в тиши, —
гармония пространства и души.

12

Скорей назад, покуда вечер поздний
движенья моего не перекрыл!
И там и здесь — одни и те же козни,
добро и зло, и пагубность чернил,
кровавой сечи шум и запах розни,
хотя неумолимей и серьезней,
но тот же, тот же, что и прежде был...
И всякий день, то знойный, то морозный,
нам предстает судьбою нашей грозной.
История нам кажется дурной.
А сами мы?.. А кто тому виной?..

13

И в наши дни, да и в минувшем веке,
как это парадоксом ни зови,

всё те же страсти бьются в человеке:
в его мозгу и в жестах, и в крови.
Всех нас ведет путеводитель некий,
он сам приподымает наши веки,
и нас сжигает то огонь любви,
а то страданье о родимом бреге,
то слепота от сытости и неги...
А то вдруг распояшется толпа,
откинув чубчик праздничный со лба.

14

...Чем тягостней кареты продвиженье,
тем кажется напраснее езда.
Печально распалять воображенье,
но расслаблять не стоит повода.
Крушение надежд — не поражение,
и наших лиц святое выраженье,
авось, не исказится от стыда.
Стакан вина снимает напряженье...
Как сладостно к пенатам возвращенье!
Да не покинем дома своего,
чтоб с нами не случилось бы чего.

Мы ль из капли прорастаем
с горькой тайной на челе?

Видя близкую разлуку,
помня поздние слова...

И рука ласкает руку
безнадежно и едва.

* * *

Уроки пальбы бесполезны —
они словно поздний недуг.
И вы свой характер железный
поглубже упрячьте, мой друг.

Он был и воспет и освистан
по возрасту и по судьбе.
А нынче уже не до истин,
а только презренье к себе.

* * *

Что было, то было. Минувшее не оживает.
Ничто ничего никуда никого не зовет.
И немец, застреленный Ленькой,
в раю проживает,
и Ленька, застреленный немцем,
в соседях живет.

Что было, то было. Не нужно ни славы,
ни денег.
По кущам и рощам гуляют они налегке.
То перышки белые чистят, то яблочко делят,
то сладкие речи на райском ведут языке.

Что было, то было. И я по окопам полазил
и всласть пострелял по живым — все одно
к одному.
Убил ли кого? Или вдруг поспешил
и промазал?..
...А справиться негде. И поздно решать самому.

* * *

Роза сентябрьская из Подмосковья
так добросердна и так высока,
будто небесное в ней и мирское,
даже случайное, но на века.

И не какой-то там барышней жаркой,
красное платье взяв поносить,
вдруг обернется ордынской татаркой:
только про милость ее и просить.

Ну а покуда мы жизнь свою тешим
и притворяемся, будто творим,
всё — в лепестках ее неоскудевших:
страсть, и разлука, и вечность, и Рим.

* * *

Хороша она или плоха,
выплакана или недопета,
музыка стиха всегда тиха
и непредсказуема, как Лета.

Буковок беспечный разворот,
слова одинокого наплывы,
строфы, что строги, а то глумливы,
будто мы не знаем, что нас ждет.

Странной фразы тусклый силуэт,
шепот, заклинания, надрывы...
Это не о том, что счастья нет,
а о том, что все-таки мы живы.

**Что этот мир без нас,
без вместе взятых?**

А. Гладилину

Еще не перечитаны все книжки,
сердце не омрачи, разлуки тень,
я, старый человек, тебе, мальчишке,
шлю поздравленье в юбилейный день.

История литературы нашей
капризна, переменчива и зла,
и выглядит счастливый век проспавшей,
и новых козней ждет из-за угла.

А мы опять чураемся безверья,
пока скорбим и помыслы чисты,
и сладко рисковать, и наши перья
нацелены на белые листы.

Душа горит, нога достала стремя,
не жди похвал, о славе позабудь:
ведь что мы есть — решат молва и время
уже без нас. Потом. Когда-нибудь.

И ты, мой друг, теперь уже парижский,
глядишь на мир с порога своего...
Что нам с тобой до прихотей прописки?
Теперь она не значит ничего.

Что этот мир без нас, без вместе взятых?
Он весь расположился у крыльца.
А хроника времен пятидесятих —
не кончилась.
И нету ей конца.

* * *

Б. Кархофф

Когда петух над марбургским собором
пророчит ночь и предрекает тьму,
его усердье не считайте вздором,
но счета предъявляйте не ему.

Романс

Не предвкушай счастливых дней,
преподнесенных небесами.
Омыты горькими слезами,
они взойдут в душе твоей.

И времечко не то, и свечка оплыла.
Из всяких громких слов рубахи не сошьешь.
Я должен, должен жить, затем чтоб ты жила,
ведь я и сам живу, покуда ты живешь.

Не жди безоблачной любви,
и громогласной и безгрешной:
она ведь не простор безбрежный,
а тайный сговор меж людьми.

Любовь то вознесет, раскинувши крыла,
то сгубит ни за грош, а что с нее возьмешь?
Я должен, должен жить, затем чтоб ты жила,
да я и сам живу, покуда ты живешь.

К потомкам

Вы размахнетесь крылами — всё как надо,
что ни взмах,
разноцветные ворота к храмам раскрывая.
Мы ж исчезнем так банально со слезами
на глазах.
Будет вам над чем смеяться, недоумевая.

И не то чтобы случайно: мол, ошиблись
в тесноте,
а намеренно, надменно, как приговорили:
мол, не стоит оправданий, мол, другие вы,
не те...
Мы не те? Да вы-то те ли? Те ли? Да и вы ли?

А на рублище елейном, а на праведных
шелках —
кровь и ложь, всё наше с вами —
то плаха, то пашня...
Нам бы с песней в чисто поле —
да оружие в руках!
Нам обняться бы навеки — да в обнимку
страшно!

* * *

Антону

Что-то сыночек мой уединением стал
тяготиться.
Разве прекрасное в шумной компании
может родиться?
Там и мыслишки, внезапно явившейся,
не уберечь:
в уши разверстые только напрасная
просится речь.

Папочка твой не случайно сработал
надежный свой кокон.
Он состоит из дубовых дверей
и зашторенных окон.
Он состоит из надменных замков
и щеколд золотых...
Лица незваные с благоговением смотрят
на них.

Чем же твой папочка в коконе этом
прокуренном занят?
Верит ли в то, что перо не продаст,
что строка не обманет?
Верит ли вновь, как всю жизнь,
в обольщения вечных химер:
в гибель зловещего Зла и в победу Добра,
например?

Шумные гости, не то чтобы циники —
дети стихии,
ищут себе вдохновенья и радостей в годы
лихие,
не замечая, как вновь во все стороны
щепки летят,
черного Зла не боятся, да вот и Добра
не хотят.

Все справедливо. Там новые звуки
рождаются глухо.
Это мелодия. К ней и повернуто папочки ухо.

Не время их свело, а жажда их свела,
не блажь и не каприз, а восхищенье словом.

Отгородясь на век от праздничных сует,
лишь букву и мотив приемлют, словно братья...
Знать, есть особый смысл и вдохновенный свет
и в высшей их вражде, и в их рукопожатье.

Отъезд

С Моцартом мы уезжаем из Зальцбурга.
Бричка вместительна. Лошади в масть.
Жизнь моя, как перезревшее яблоко,
тянется к теплой земле припасть.

Ну а попутчик мой, этот молоденький,
радостных слез не стирает с лица.
Что ему думать про век свой коротенький?
Он лишь про музыку, чтоб до конца.

Времени нету на долгие проводы...
Да неужели уже не нужны
слезы, что были недаром ведь пролиты,
крылья, что были не зря ведь даны?

Ну а попутчик мой ручкою нервной
машет и машет фортуне своей,
нотку одну лишь нащупает верную —
и заливается, как соловей.

Руки мои на коленях покоятся,
вдох безнадежный густеет в груди:
там, за спиной — «До свиданья, околица!»...
И ничего, ничего впереди.

Ну а попутчик мой божеской выпечки,
не покладая стараний своих,
то он на флейточке, то он на скрипочке,
то на валторне поет за двоих.

Проза

БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР

*Посвящаю моим сыновьям
Игорю и Антону*

Это не приключения.
Это о том, как я воевал.
Как меня убить хотели, но мне повезло.
Я уж и не знаю, кого мне за это благодарить.
А может быть, и некого.
Так что вы не беспокойтесь. Я жив и здоров.
Кому-нибудь от этого известия станет радостно,
а кому-нибудь, конечно, горько.
Но я жив. Ничего не поделаешь.
Всем ведь не угодишь.

Сено-солома

В детстве я плакал много. В отрочестве — меньше.
В юности — дважды. Первый раз это было перед самой
войной, вечером. Я сказал девочке, которую любил, ска-
зал с деланным равнодушием:

— Ну что ж, раз так, значит, конец...

— Ну что ж, значит, конец,— неожиданно спокой-
но согласилась она. И быстро пошла прочь. И тогда я
заплакал — ведь она уходила. И утирал слезы ладонью.

Второй раз я плачу сейчас здесь, в моздокской сте-
пи. Я несу командиру полка очень ответственный пакет.
Черт его знает, где он, этот командир полка! Песчаные

холмы похожи один на другой. Ночь. А я второй день на передовой. А за невыполнение задания — расстрел. А мне восемнадцать лет.

Кто это сказал о расстреле? Это Коля Гринченко сказал, когда я отправлялся. У него была красивая улыбка, когда он говорил об этом.

— Держись, а не то кокнут, и все...

Приставят меня к стенке. Впрочем, какие здесь стены.

И я утираю слезы. «Ваш сын оказался трусом и...» Так будет начинаться извещение... Ну почему это именно меня послали с пакетом?

Вот Коля Гринченко — такой сильный, ловкий парень. Он бы уже давно добрался. Сидел бы сейчас в теплой землянке штаба полка. Пил бы чай из кружки. Подмигивал бы связисткам и улыбался красивым ртом.

А вдруг сейчас ухнет мина? Отыщут меня утром. Командир полка скажет командиру батареи:

— Что же это вы, лейтенант Бураков, неопытного солдата послали? Не дали осмотреться человеку, привыкнуть. Вот из-за вашего равнодушия погиб хороший человек.

«Ваш сын пал смертью храбрых при выполнении ответственного оперативного задания...» Так будет начинаться извещение...

— Эй, куда идешь?

Это мне кричат. Я вижу там окопчик, и из него мне рукой машут. Мало ли куда я иду?

— Стой! — кричат за спиною.

Останавливаюсь. Подхожу. Кто-то с силой втягивает меня в окопчик за рукав.

— Куда шел? — зло спрашивают.

Я объясняю.

— А ты знаешь, что там немцы? Еще бы сто метров...

Мне объясняют. Это наш передовой дозор, оказывается.

Потом меня долго ведут в землянку. Командир полка читает донесение и посматривает на меня. И я чувствую себя тщедушным и маленьким. Я смотрю на свои не очень античные ноги, тоненькие, в обмотках. И на здоровенные солдатские ботинки. Все это, должно быть, очень смешно. Но никто не смеется. И красивая связистка смотрит мимо меня. Конечно, если бы я был в сапогах, в лихой офицерской шинели... Хоть бы дали чаю. Я бы посидел за этим столом из ящика. Я бы сказал этой красавице о чем-нибудь таком... Конечно, у меня такой вид...

— Идите на батарею, — зло говорит командир полка, — и скажите вашему командиру, чтобы он таких донесений больше не посылал.

Он делает ударение на слове «таких».

— Хорошо, — говорю я. И слышу тихий смех красивой связистки. Она смотрит на меня и смеется.

— Вы давно в армии? — спрашивает полковник.

— Месяц.

— В армии нужно отвечать не «хорошо», а «есть»... и потом, это... носки вместе, пятки врозь...

— Сено-солома, — говорит кто-то из темного угла.

— Я знаю, — говорю я. И выхожу. Почти бегу.

Опять степь. Идет снег. И тишина. Как-то даже не верится, что это фронт, передовая, что рядом опасность. Теперь-то уж я не собьюсь с пути.

Представляю, как смешно я выглядел: расставленные ноги, и руки в карманах шинели, и пилотка, натянутая на уши. А эта красавица... И даже чаю не предложили... Коля Гринченко, когда говорит с офицерами, всегда чуть улыбается. И очень изящно козыряет и говорит при этом: «Так точно». А мне слышится: «Приказывай, приказывай. Я-то тебя насквозь вижу». Он-то видит. А ботинки у меня здоровенные. Это даже хорошо. Увесистая мужская нога. И снег хрустит. Мне бы только шапку-ушанку, и я не выглядел бы таким жалким. Вот сейчас приду, доложу. Напьюсь горячего чаю. Посплю. Теперь я имею право.

За спиной у меня автомат, на боку — две гранаты, с другого бока — противогаз. Очень воинственный вид. Очень. Кто-то сказал, что воинственность — признак трусости. А я трус? Когда в восьмом классе мы поссорились с Володькой Аниловым, я первый крикнул ему:

— Давай стыкнемся! — и мне стало страшно.

Но мы пошли за школу. И товарищи окружили нас. Он первый ударил меня по руке.

— Ах так?! — крикнул я и толкнул его в плечо.

Потом мы долго ругали друг друга, не решаясь напасть.

И вдруг мне стало смешно, и я сказал ему:

— Послушай, ну я дам тебе в рыло...

— Дай, дай! — крикнул он и выставил кулаки.

— Или ты мне дашь. Кровь пойдет. Ну какая разница?

Он вдруг успокоился. Мы пожали друг другу руки по всем правилам. Но потом дружбы уже не было.

Трус я?

Вчера на рассвете мы остановились среди этих вот холмов.

— Все, — сказал лейтенант Бураков, — прибыли.

— Что это? — спросили его.

— Это передовая.

Он впервые был на фронте, как и мы все, и поэтому говорил торжественно и с гордостью.

— А где немцы? — спросил кто-то.

— Немцы там.

«Там» виднелись холмики, поросшие кустарником, реденьким и чахлым.

И я подумал, что мне совсем не страшно. И удивился, как это лейтенант так просто определил позиции врага.

Нина

— А ты красивый, — говорит Сашка Золотарев.

Я бреюсь перед осколочком зеркала. Брить нечего. В землянке холоднее, чем на дворе. Руки красные. Нос красный. Кровь красная. Пока брился, весь изрезался. Разве я красивый? Уши врозь. Нос картошкой.

Для чего я бреюсь? Вот уже три дня на передовой, и ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого. Для чего же я бреюсь? Вчера под вечер у входа в нашу землянку остановилась та самая красивая связистка.

— Привет, — сказала она.

А я посмотрел на нее и понял, что я небрит. Я увидел себя в ее глазах. Я словно отразился в них. Большие такие глаза. Цвет я не запомнил. Я кивнул ей.

— Как жизнь? — спросила она.

— Идет, — сказал я мрачно.

— А что это ты такой хмурый? Не кормили, что ли? Я достал папиросы.

— Ого, — сказала она, — папиросы.

— Тебе что, делать нечего? — спросил я.

— Давай покурим, — сказала она. И сама взяла из пачки папиросу.

Мы курили и молчали.

Потом она сказала:

— А ты совсем еще малявка, да?

— Что это значит?

— Это рыбка, которая только из икры.

Я полез в землянку, а она смеялась вслед.

— Приходила Нинка? — спросил потом Коля Гринченко.

— Да. А ты ее знаешь?

— Я всех знаю, — сказал он.

Вот я побрился. У меня еще есть папиросы. Я чувствую, что она придет. И я расстегнул воротник гимнастерки. Пусть у меня будет лихой вид. И я расстегнул шинель и засунул руки в карманы. И встал за ящик с минами так, чтобы не видно было обмоток.

Кто я? Я боец, минометчик. У нас полковые минометы. Я рискнул жизнью. Может быть, чудо, что меня еще не ранили. Приходи, связистка, штабная крыса. Приходи, я угощу тебя папиросами. Приходи, может быть, завтра лежать мне, раскинув руки...

— А ты красивый, — говорит Сашка Золотарев. А я сплевываю и отворачиваюсь. Может, он смеется. Но губы мои, губы мои расползаются.

Сашка соскабливает глину с ботинок палочкой, потом покрывает ботинки толстым слоем тавота.

Придет Нина или не придет? Я скажу ей: «Привет, малявка...» Мы покурим с ней. Потом будет вечер. Если это война, то почему не стреляют? Ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого.

— А почему никого из начальства нет? — спрашиваю я.

— Совещаются, — говорит Сашка.

Хорошо, что я все-таки высокий и не такой толстый, как Золотарев. Если бы мне шинель по росту!

Приходит Коля Гринченко. Очаровательно улыбается и говорит:

— Старшина — гад. Себе жарит яичницу, а мне концентрат дает. — И смотрит на нас с Сашкой.

— Не шуми, — говорит Сашка.

— Это ему не тыл, — не понимает Коля, — здесь ведь разговор короткий. В затылок — и привет. И не узнают.

— Пойди скажи ему об этом, — говорит Сашка.

А старшина стоит за Колиной спиной, и на подбородке у него сияет жирное пятнышко.

— Понятно, — говорит он.

Все молчат. Он поворачивается и уходит в свою землянку. Все молчат. У Сашки блестят ботинки, как подбородок старшины. У меня вспотели ладони. Коля Гринченко красиво улыбается. А из землянки старшины и в самом деле тянет глазуньей.

— Глазунья хороша с луком, — говорит Сашка.

Приходит Шонгин. Это старый солдат. Он знаменитый солдат. Он служил во всех армиях во время всех

войн. Он в каждую войну доходил до передовой, а потом у него начинался понос. Он ни разу не выстрелил, ни разу не ходил в атаку, ни разу не был ранен. У него жена, которая провожала его на все войны.

Приходит Шонгин и ест редис. И молчит.

— Откуда редиска?!

Шонгин пожимает плечами.

— Дай редисочки, Шонгин, — просит Сашка.

— Последняя, — говорит Шонгин.

Хорошо, когда нет начальства. Никто не командует, никуда не гонят. Как я шел с пакетом! Ведь это же черт знает что... Как будто Колю Гринченко не могли послать. В семнадцать лет мой отец создавал в подполье комсомол, а я стою, сутулый и смешной, и я ничего не создал, а только хвастаюсь своим благородством, которого, может быть, и нету...

А Шонгин достает редисочки одну за другой. Красные шарики летят в рот, хрустят.

— Шонгин, дай редисочки, — прошу я.

— Последняя, — говорит Шонгин.

Я загадываю: если Шонгин достанет еще редиску, Нина придет. Шонгин лезет в карман. Достает кисет. Не придет. И вдруг Коля говорит:

— Вот и Ниночка...

Я оборачиваюсь. С невысокого холмика спускается она. Рядом с ней незнакомая связистка. Нина идет легко. Шинель застегнута на все крючки. Шапка-ушанка... ах! Какая у нее ушанка!... Она немного набекрень. Привет, малявка! Все смотрят в ее сторону, все. Она идет.

— А-а-а! — Это Шонгин кричит. — А-а-а! — И падает. И Сашка падает. И Коля Гринченко.

— Ложись!

Я кидаюсь лицом вниз. Вот оно!.. Где-то далеко-далеко разрыв. Короткий. И шуршание. И тишина.

Кто-то смеется. У входа в землянку стоит старшина:

— Хватит валяться, ежики.

Мы молча поднимаемся. Коли нет. Он бежит к холму, туда, где легко шла Нина. Я вижу издалека, как она медленно поднимается с грязного снега. А та, другая, лежит неподвижно. Лицом вверх.

Мы медленно, не сговариваясь, идем туда. И другие солдаты идут. Это первая наша мина. Первая. Наша.

Война

Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове моей — шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь научить меня подчиняться тебе беспрекословно? Крик командира — беги, исполняй, оглушительно рывкай «Есть!», падай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины — зарывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом — выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку о траву. Гибнут друзья — рой могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо, три раза...

Я многому уже научился. Как будто я не голоден. Как будто мне не холодно. Как будто мне никого не жалко. Только спать, спать, спать...

Потерял я ложку как дурак. Обыкновенная такая ложка. Алюминиевая. Почерневшая. С зазубринами. И все-таки это ложка. Очень важный инструмент. Есть нечем. Суп пью прямо из котелка. А если каша... Я даже дощечку приспособил. Щепочку. Ем кашу щепочкой. У кого попросить? Каждый ложку бережет. Дураков нет. А у меня — дощечка.

А Сашка Золотарев делает на палочке зарубки. Это память о погибших.

А Коля Гринченко кривит губы в усмешке:

— Не жалей, Сашка. На наш век баб хватит.

Золотарев молчит. Я молчу. Немцы молчат. Сегодня.

Лейтенант Бураков ходит небритый. Это для форсу. Я уверен. Огонь открывать не приказано. Идут какие-то переговоры. Вот и ходит наш командир от расчета к расчету. А минометы стоят в траншеях, в ложбинке. А траншеи вырыты по всем правилам устава. А уставы мы не учим.

Ко мне подходит наводчик Гаврилов. Подсаживается. Смотрит на мою самокрутку:

— Ты что это раскурился?

— А что?

— Искры по ветру летят. Темно уже. Заметят, — говорит он и оглядывается.

Я гашу самокрутку о подметку. Ярким фейерверком сыплются искры. И тут же на немецкой стороне отзывается шестиствольный миномет. И где-то позади нас шлепаются мины. И Гаврилов ползет по снежку.

— Говорил... твою мать! — кричит он.

Разрыв за разрывом. Разрыв за разрывом. Ближе, ближе... А мимо меня бегут мои товарищи. А я сижу на снегу... Я виноват... Как я буду смотреть в глаза ребятам! Вот бежит лейтенант Бураков. Он что-то кричит. А мины падают, мины падают.

И тогда я встаю и тоже бегу и кричу:

— Товарищ лейтенант!.. Товарищ лейтенант!

Охает первый миномет. Сразу становится уютнее. Словно у нас объявились сильные спокойные друзья. И смолкают крики. И уже все четыре миномета бьют куда-то вверх из ложбинки. И только телефонист, худенький юный Гургенидзе, восторженно вскрикивает:

— Попадалься!.. Эвоэ!.. Попадалься!

Я делаю то, что мне положено. Я подтаскиваю ящики с минами из укрытия. Какой я все-таки сильный. И ничего не боюсь. Таскаю себе ящики. Грохот, крики, едкий запах выстрелов. Все смешалось. Ну и сражение! Побоище! Дым коромыслом... Впрочем, я все выдумываю... По нас ни разу не выстрелили. Это мы сами шутим. Но я виноват. И все знают об этом. И все ждут, когда я сам приду и скажу, как я виноват.

А уже становится темнее. Болит моя спина. Я еле успеваю хватать снег и глотать его.

— Отбой! — кричит Гургенидзе.

Я все расскажу командиру батареи. Пусть не думает, что я таюсь.

— Товарищ лейтенант...

Он сидит на краю окопчика и водит пальцем по карте. Он смотрит на меня, и я понимаю: ждет, когда я признаюсь.

— Я виноват. Я совсем не подумал об этом... Давайте со мной что хотите...

— А что я должен с тобой делать? — задумчиво спрашивает он. — Ты что, натворил что-нибудь?

Смеется? Или забыл? Я рассказываю ему все. Начистоту. Он смотрит с удивлением. Потом машет рукой:

— Послушай, иди отдыхай. При чем тут твоя самокрутка? Просто мы перешли в наступление. Просто нужно было стрелять. Иди, иди.

Я иду.

— Смотри не засни. Замерзнешь, — говорит вслед лейтенант.

Через час мы снова на ногах. Мы снова палим в немцев. Наступление. Я не вижу его. Какое наступление, если мы сидим на месте? Неужели так будет всегда? Грохот, запах пороха, крик Гургенидзе «Попадался! Не попадался!..» и эта проклятая ложбинка, из которой ничего не видно. А где-то наступление. Идут танки, пехота, кавалерия, поют «Интернационал», падают, знамен не выпуская из рук.

И когда небольшое затишье, я бегу на наблюдательный пункт. Я посмотрю хоть краешком глаза: а какое оно, наступление? Я подышу им. А НП — это не что-нибудь, а просто верхушка холма, и там на склоне лежат, едва высунув головы, наблюдатели, а комбат Бураков смотрит в стереотрубу. Я ползу по крутому склону и высовываюсь до пояса. И слышу, как запевают птицы. Птицы!

Кто-то стягивает меня за ногу вниз.

— Жить надоело? — шипит комбат. — Ты что здесь околачиваешься?

— Посмотреть хотел, — говорю я.

Наблюдатели смеются.

— Птицы откуда-то, — говорю я.

— Птицы? — переспрашивает комбат.

— Птицы...

— Какие птицы? — спрашивает из окопчика телефонист Кузин.

— Птицы, — говорю я и уже сам ничего не понимаю.

— Разве это птицы? — устало смотрит на меня комбат.

— Птицы... — смеется Кузин.

Я уже начинаю понимать, что это такое. Один из наблюдателей напяливает на палку свою шапку и поднимает над собой. И тотчас запевают птицы.

— Понял? — спрашивает комбат.

Он хороший человек. Другой бы начал топтать ногами и материться. Он хороший человек, наш комбат. Сейчас бы меня убили, если бы не он. Это он, наверное, за ноги меня подтянул.

Становится темнее, темнее. Серые сумерки окутывают холмы. И я слышу, как далеко-далеко бьет пулемет.

— Пулемет! — кричу я.

Никто не обращает на меня внимания.

— Пошли наши, — говорит комбат Бураков, — сейчас начнем. — И потом говорит мне: — На-ка погляди.

Я припадаю к стереотрубе. Я вижу степь. На краю ее, на дальнем, на фоне серого неба вытянулся полоской населенный пункт. И там из конца в конец, как фейерверк, протянулись разноцветные линии трассирующих пуль. И я слышу тарахтение пулеметов, дробь автоматов. Но я не вижу наступления. Я не вижу людей.

— Пошли, пошли! — кричат за моей спиной.

— Где, где?

И вдруг я вижу: по степи кое-где перебегают, согнувшись в три погибели, одиночные фигурки. Редко-редко.

— Хватит, — говорит комбат, — иди на батарею.

Я скатываюсь с холма. Я бегу. А навстречу мне плывет, покачиваясь на холмах, «виллис». А в нем сидит генерал. Я не знаю, что мне делать: пробежать или пройти строевым, приложив ладонь к козырьку...

Генерал Багров. Он меня не видит. Он размахивает руками. А «виллис» приближается к наблюдательному пункту. И там уже вытянулся в ожидании комбат. И ребята стоят. И стереотруба стоит на своих трех ногах неподвижно.

И генерал выскакивает из машины, подбегает к комбату:

— По своим бьешь! По своим?!

Комбат молчит. Только голова мотается из стороны в сторону.

А потом генерал смотрит в стереотрубу, а комбат что-то объясняет ему. И генерал жмет ему руку.

«Чудеса!» — думаю я.

— Отбой! — кричит в телефон Кузин.

На батарее тишина. Все словно прислушиваются. А минометы, как собаки, присели на задние лапы и тоже молчат.

— Что у тебя с ладонями? — спрашивает старшина. Ладони мои в крови. Я не понимаю, откуда может быть кровь. Я пожимаю плечами.

— Это от минных ящичков, — говорит Шонгин. Сейчас мне будут делать перевязку.

Старшина поворачивается и уходит. Это он, наверное, пошел санинструктора звать. Я стою с вытянутыми руками. Сколько, наверное, крови вытекло! Сейчас меня перевяжут, и я напишу домой письмо...

— Иди вымой руки, — говорит, обернувшись, старшина, — сейчас позицию менять будем.

Колокольчик — дар Валдая...

Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умирать. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову — и все? И мое горячее тело уже не будет горячим?.. Пусть будут страдания. Кто сказал, что я боюсь страдать? Это дома я много боялся. Дома. А теперь я все уже узнал, все попробовал. Разве не достаточно одному столько знать? Я ведь пригожусь для жизни. Помогите мне. Ведь это даже смешно — убивать человека, который ничего не успел совершить. Я даже десятого класса не кончил. Помогите мне. Я не о любви говорю. Черт с ней, с любовью. Я согласен не любить. В конце концов, я уже любил. С меня хватит, если на то пошло. У меня мама есть. Что будет с ней?.. А вы знаете, как сладко, когда мама гладит по голове? Я еще не успел от этого отвыкнуть. Я еще нигде толком не побывал. Я, например, не был еще на Валдае. Мне ведь нужно посмотреть, что это за Валдай? Нужно? Кто-то ведь написал: «...И колокольчик — дар Валдая...» А я даже таких строчек написать не смогу. Помогите мне. Я все пройду. До самого конца. Я буду стрелять по фашистам, как снайпер, буду единоборствовать с танками, буду голодать, не спать, мучиться...

Кому я говорю все это? У кого прошу помощи? Может быть, вот у них, у этих бревен, которыми укреплен блиндаж? Они и сами не рады, что здесь торчат. Они ведь соснами шумели так недавно... А когда мы уезжали на фронт, помнишь нашу теплушку? Ах да, конечно же помню. Мы стояли у раскрытых дверей и пели какую-то торжественную песню. И у нас были гордо подняты головы. А эшелон стоял на запасных путях. Где? На Курском вокзале. По домам нас не пустили. Я только успел позвонить домой. Наших никого не было. Только старуха соседка Ирина Макаровна. Злая, подлая старуха. Сколько она мне крови попортила! Она спросила меня, где стоит эшелон.

— Жалко, — лицемерно сказала она, — не сможет мама повидаться-то с тобой.

И я повесил трубку и вернулся к своим. А через час появилась у вагона Ирина Макаровна и сунула мне сверток. А потом, когда мы пели, она стояла в маленькой толпе случайных женщин. Кто она мне? Прощай, Ирина Макаровна. Прости меня, разве я знал? Я никогда не смогу понять это... Может быть, ты и есть то лицо, у которого следует просить защиты? Тогда защити меня. Я не хочу умереть. Говорю об этом прямо и не стыжусь...

В свертке были сухари и четвертинка подсолнечного масла. И я поклялся сохранить один сухарь как реликвию... Съел. Значит, не смог сделать такого пустяка? А чего же я прошу? А разве не сам я, когда прилетела «рама» и все полезли по щелям, стоял на виду?

— Лезь скорей! — кричали мне.

А я не прятался. Ходил один и посмеивался вслух. Если бы они знали, что у меня внутри делается! А я не

могу побежать на виду у всех. Пусть никто не знает, что мне страшно. Но себе-то самому я могу сказать правду? Вот я и говорю. Я сам себе судья. Я имею на это право. Я не Петька Любимов. Помнишь Петьку Любимова? Ну конечно, помню. Петр Лаврентьевич Любимов. Мой сосед по квартире. Когда началась война, он по вечерам выходил на кухню и говорил:

— Немцы, паскуды, прут... Надо всем вставать на защиту. Вот у меня рука подживет — пойду добровольцем.

— Тебя и так призовут, Петенька, — говорили ему.

— Так — не штука. Так всякий пойдет. А когда Родина в опасности, нужно не ждать. Самому идти. — И спрашивает меня: — А ты Родину-то любишь?

— Люблю, — говорил я. — Этому меня еще в первом классе научили.

А однажды я встретил его в военкомате. Это когда я повестки разносил. Он меня не видел. Разговаривал с капитаном каким-то.

— Товарищ капитан, — сказал он, — вот я освобождение принес.

— Какое освобождение?

— Броня. Как специалист броню получил. Не хотят меня на производстве отпускать...

— Ну зайдите вон туда и оформляйте. Броню так броню, — сказал капитан.

Броня так броня. Вот так Петька. Какой же он специалист незаменимый, когда он часовщиком на Арбате в мастерской работал. И пошел Петька оформляться. Прошел мимо меня. Прошел. Остановился. Покраснел.

— Видал? — спросил меня. — Вот так-то. Умирать кому охота?

Наверно, он и сейчас по брони живет. Как будто он известный конструктор или великий артист.

...Этот блиндаж не нами оборудован. Он хороший, этот блиндаж. Он поменьше, правда, чем штаб полка, где Нина сидит, но все-таки неплохой. Видно, отсюда наспех уходили. Вот фотографию женскую уронили. Не-красивая молодая женщина улыбается с нее. А кто-то ее любит. Что ж он захватить-то ее позабыл?

— А ты, Сашка, броню получал? — спрашиваю я.

— Кто ж мне ее даст? — говорит Сашка. — Ее не всем дают.

— Дал бы кому надо, — говорит Коля Гринченко, — была бы тебе броня.

— Наверное, много давать? — спрашивает Сашка.

— Тысячи три. Барахлишко бы продал ради такого дела. Набрал бы.

— Барахлишка набрал бы. У меня один шифоньер три тысячи стоит.

— Ну вот и дал бы.

— А-а-а... — машет Сашка рукой. — Иди-ка ты...

— А ты что не дал? — сердится Шонгин.

— А у меня денег не было, — смеется Коля.

— Болтать ты горазд... — говорит Шонгин.

Лафа

Восьмой день бьют наши минометы. У нас уже трое ранено. Я их не видел. Когда вернулся на батарею, их уже унесли. Мы переезжаем с места на место, и у нас уже не то что землянок — путевых окопчиков нет. Некогда

возиться. Это наступление. Когда оно началось, Коля Гринченко говорил:

— Лафа, ребята. Теперь будет лафа. Теперь мы будем отлично питаться. Теперь проживем на трофейном добре. Хватит концентраты лопать.

Тогда мы все ему поверили. И напрасно. Мы и артиллерия всюду приходим последними, когда ничего уже нет.

И опять концентрат. И дубовые сухари. И Коля Гринченко говорит старшине:

— Старшина, какого хрена этот концентрат! Где фронтная норма?

— А ты помнишь, ежик, как ты мне грозился? — спрашивает старшина.

— А ты докажи, — улыбается Гринченко.

— Ну вот и помалкивай, — говорит старшина.

Теперь у него грозное оружие против Коли. И Коля боится его. Я это вижу. Но иногда он забывает, что боится, и тогда переходит в наступление. И это бывает очень смешно.

Я помню, как мы вошли в первый населенный пункт, тот самый, который я видел с НП. Это было разбитое степное село. В уцелевших хатах уже хозяйничали кавалеристы: переодевались, спали, играли на гармонике, а в одной даже блины пекли. И мы, конечно, всюду попадали с опозданием. Куда же нам деваться?

— Пошли, — говорит Гринченко.

И мы с Сашкой Золотаревым идем за ним. Вот входим в хату. В хате жарко. Топится печь. Пусто. Лишь над сковородкой склонился казак. Это по лампасам видно.

— Здорово, земляки, — говорит Гринченко с порога, — принимай гостей.

Коля очень здорово умеет с людьми разговаривать. Очень по-свойски. Он при этом улыбается. Он так улыбается, что нельзя не улыбнуться в ответ. И вот казак оборачивается, и я вижу скуластое лицо и раскосые глаза.

— Вот так казак! — говорит Коля. — Откуда ты такой взялся?

— Что надо? — спрашивает казак.

— Ты калмык, наверно, а не казак. Калмык, да? — И Коля говорит нам: — Давай, ребята, располагайся. Эх ты, казак калмыцкий!

И Коля кладет на скамью свой вещмешок. А калмык берет вещмешок и швыряет к порогу. Он стоит перед высоким Гринченко такой маленький, скуластый и широкоплечий.

— Что, тебе калмык не нравился? Уходи назад.

— Ты что, гад... — Лицо у Коли покрывается красными пятнами.

— Иди, иди, — спокойно говорит калмык.

— Я кровь проливал, а ты меня на мороз гонишь?!

Сашка берет Колю за локоть:

— Не психуй, Мыкола.

— Уводи свой люди, — говорит калмык.

— Не сердись, пожалуйста, — говорю я.

— Уходи давай...

Вдруг открывается дверь и входят казаки. Их трое.

— Что за беда? — спрашивает один.

Калмык молчит. Мы с Сашкой молчим. Коля тоже молчит. Потом он улыбается и спрашивает калмыка:

— Что ж молчишь, калмык? — И потом говорит казакам: — Вот гад... сам к печке, а русского — на мороз!

— Чего они приперлись? — спрашивает казак у калмыка.

— Давайте-ка, ребята, сыпьте отсюда, — говорит нам другой казак. А третий говорит калмыку:

— Давай, Джумак, обедать.

А мы молча уходим из хаты. На мороз. В сумерки. Если Гринченко что-нибудь сейчас скажет, он мне опротивеет. Мне кажется, что это я обидел человека. Коля молчит. «Кровь проливал»... Он ведь и царапины не получил!

Теперь мы уже за этим населенным пунктом. Бейте, минометы, бейте! Дуй, ветер! Сыпь, дождь пополам со снегом! Мокни, моя спина! Болите, мои руки!..

Что делать, чтобы не мерзли ноги? Ах, сапоги нужны. Широкие. На три номера больше. Чтобы всякого наvertеть-наvertеть... Чтобы нога как в гнезде была... А еще нужно ходить. А мы почти и не ходим. Все время приходится менять позиции. Значит, садись в машины и пошел-пошел! Дождь идет. Дождь идет прямо с неба. Снег идет. Откуда-то сбоку. Ветер — со всех сторон. Днем и ночью мы промокаем насквозь. К утру подмораживается. Шевелиться не хочется.

Я думаю о Нине. Мне кажется, что она на одной из машин. Погиб телефонист Кузин. Пуля вошла ему в рот. Она была уже на излете, слабая. Но что-то успела задеть, и он умер.

Разговоры

Это, наверное, первая ночь, когда мы спим нормально. Мы лежим на полу покинутой хаты. Лежим на шинелях. Укрываться нельзя. Жара. Шонгин натопил печь. Нас набилось в хате с избытком. Только летает медленно и однообразно красный светлячок шонгинской самокрутки.

— Дай закурить, Шонгин, — просит Сашка Золотарев.

Шонгин молчит. Летает красный светлячок.

— Дай закурить, Шонгин, — прошу я. Мы ведем игру неторопливо, привычно.

— Да он спит, — говорит Коля Гринченко.

Красный светлячок жалко и неподвижно повисает в воздухе. Я вглядываюсь в темень и словно вижу стиснутые губы Шонгина и открытые мигающие глаза.

— Курить хочется, — говорит Сашка, — разбудить его, что ли?

— Не буди, — говорит Коля, — пусть человек поспит. Сам возьми, сколько тебе надо.

— Табак у него в противогазной сумке лежит, — говорю я.

— Я вам возьму, — говорит Шонгин, — я сам насыплю.

— Ну вот, человека разбудили, — говорит Коля.

Слышно, как кряхтит Шонгин.

Мы лежим и старательно затягиваемся горьким дымом самокрутки.

Тишина. Потом кто-то говорит из темноты:

— Хорошо б сюда Нина пришла бы. Мы бы с ней беседу провели.

Сашка Золотарев смеется.

— А я толстых люблю, — говорит он, — и чтобы выше меня.

— У Нинки муж есть, — говорю я.

Сашка смеется:

— У меня тоже жена есть. Может, Нинкин-то сейчас у моей олады ест.

— Война, — говорит Коля, — все перемешалось. А потом, если любовь, так ведь тут не прикажешь...

Сашка смеется.

— Паскуды вы, ребята! — говорит Шонгин и поворачивается на другой бок.

— А я на гражданке с такой и не пошел бы, — говорят из темноты.

А я пошел бы.

— У меня такая девочка была. Катя ее звали, вот была красавица. Коса до пояса. Нинка — это так...

— А тебе ее не навязывают, — раздраженно говорит Коля.

— Не нравится, — говорю я, — не бери. Верно, Коля?

— У твоей Кати нос, наверно, пупочкой был, — смеется Сашка, — ты ведь таких любишь. Чтоб нос пупочкой и чтоб от нее тестом пахло...

— Досмеешься, Золотарев, — угрожают из темноты.

Ты жива еще, моя старушка?

Жив и я. Привет тебе, привет!

Пусть струится над твоей избушкой...

Это Коля поет.

И вдруг открывается дверь. И голос комбата врывается в темень:

— Кто там пессимизм разводит?

И снова тишина.

Что будет завтра? Куда нас понесет? Из дому писем нет. У Сашки на палочке не осталось места для зарубок. Если меня ранят, попаду я в госпиталь. Наемся. Приеду в отпуск домой. Пойду в школу. И все увидят мои костыли. И нашивку за ранение на груди. И может быть, медаль мне дадут, так ее тоже увидят. И выйдет Женя. И уже она не будет посмеиваться. А все будут смотреть то на нее, то на меня. А я скажу ей: «Привет, Женечка». И пойду, пойду по коридору. А она догонит меня: «Может, ты зайдешь ко мне домой? Я соскучилась по тебе». — «К тебе? Домой? Что ты, что ты. Незачем. За это время многое изменилось». И пойду я по коридору. А девочки скажут ей тихо: «Дура ты, Женька. Сама виновата».

— У меня от тыквы живот болит, — говорит Сашка.

— Я ее на гражданке сроду не ел, — говорит кто-то.

Коля советует:

— А ты, Сашка, пойдти сходи.

— Дурак, — говорит Сашка, — тыква вещь хорошая, только когда не сырая.

— А я борщ люблю, — говорят из темноты, — густой, чтобы ложка стояла. Мне никаких вареников не надо.

А у меня нету ложки. Я как без рук без ложки. Надо мною смеются, над щепочкой моей. И сам я смеюсь... А ложки-то нет у меня... И сапог нету. Были бы у меня сапоги, не так бы мы с тобой, Нина, разговаривали...

Нина, ты тоненькая такая. Вот мы идем с тобой по городу. Вот навстречу идет Женя. Она все понимает. И молчит. Дура она. А мы идем. А на мне черные брюки, белая рубашка с отложным воротничком, а через плечо — аппарат «лейка». И никакой войны.

— А еще я съел бы сметаны, — говорят из темноты.

Нина

Сколько ни хожу в штаб полка, сколько на Нину ни смотрю — она не замечает. А свои, штабные, говорят с ней просто: «Нина, дай кружку...», «Что, милая, устала?...», «Давай покурим...», «Здорово, Ниночка! Вот и еще раз увиделись!..» — и обнимают ее. А она подаёт кружку, улыбается, курит, сидя на ящике, и целует вернувшихся с задания, целует прямо в небритые щеки.

Это потому, что они свои. А кто они, эти свои? Они — штабные крысы. А я прихожу с батареи. Я жизнью рискую. У меня руки сбиты, шинель обожжена, губы потрескались. Но они — свои.

Я пролезаю в штабной блиндаж. Там тепло. Горит веселая пузатая трехлинеечка. Пахнет хлебом. И никого. Только Нина сидит с наушниками у приемника.

— «Дон», «Дон», я — «Москва»... Прием. «Дон», «Дон», я — «Москва», как слышно? Прием.

— Здорово, Нина, — говорю я развязно.

Она кивает мне. Это так по-приятельски, так хорошо. Это так неожиданно.

— Как меня слышно? Вот теперь хорошо? Прием... — Она снимает наушники.

— Садись, вояка. Отдыхай.

— Некогда, — говорю я и сажусь. На нары. И смотрю на нее. Она смеется:

— Ну чего уставился?

— Так. Давно не видел, как женщина смеется. Там ведь у нас, на батарее, женщин нет. Сашка вот Золотарев иногда улыбнется, Коля Гринченко, а женщин нет.

Она снова смеется:

— Этот ваш Коля сюда часто ходит. Все мне про свои геройства рассказывает. Не люблю хвастунов.

— Ты приходи к нам.

— Куда это?

— На батарею.

— Чайку попьем?

— Посидим покурим...

— Посидим покурим, — смеется она.

Какой я бравый был, когда вошел. Какой бравый! Даже пламя лампы заходило ходуном. А теперь оно не шелохнется.

— Хочешь, чайком напою?

— Я чай не пью, — говорю я. И усмехаюсь.

— А, понимаю, — говорит Нина, — ты к спирту привык.

— Привык не привык, а предпочитаю. Чаем будем на гражданке баловаться.

Она смотрит на меня прямо, не мигая, и смеется:

— Чудак ты. У нас разведчики — такие ребята, а от чая не отказываются... Ну и чудак ты. А я приду к вам, на батарею. Ладно? Посидим покурим... а?

— Да?

— Да... А у тебя глаза хорошие.

У меня белые крылья вырастают за спиной. Белые-белые. И от них светло, как от ракеты над передовой... Бред.

— И все-то ты врешь насчет спирта.

Это она говорит издалека. Я ее не вижу. Только два больших глаза. Круглых. Серых. Насмешливых.

Выходят какие-то люди. Топают сапогами. Говорят разные слова. А я слышу:

— «Дон», «Дон»... у тебя глаза хорошие... перехожу на прием, прием.

— От лейтенанта Буракова? — спрашивают меня.

— Так точно.

— На-ка вот.

Я беру бумагу. Кладу ее в карман. Иду к Нине:

— Так ты придешь?

— Куда?... А, на батарею? Посидим покурим? Да?

— Приходи.

— А я не курю ведь, — смеется она. — Так посидим, да?

— Что, Ниночка, красивых солдатиков завлекешь? — слышу я за спиной.

— Вот ведь все спокойно, тихо, а мне муторно как-то. Предчувствие у меня, — говорит Шонгин, — и тишина мне не в радость. Ну не радуется она меня.

Маленький, худенький Гургенидзе стоит перед лейтенантом Бураковым. На кончике носа у него капля. Он размахивает руками:

— Отпускай меня домой четыре дня. Кварели — мой дом. Принесу разный пурмарили, еда. Вино, хачапури, лобио. Этот каша уже нэлзя.

Лейтенант смеется:

— А кто воевать будет?

— Я буду, — клянется Гургенидзе. — Кто будет?

Я буду. Пока здесь война нэту.

— А как же ты добираться будешь?

— Что?

— Как поедешь?

Гургенидзе смотрит на лейтенанта с сожалением.

— Давай отпуск. Сдэляем.

Комбат смотрит на нас:

— Ну как, отпустим?

— Да, видите, какое дело, товарищ лейтенант, — говорит Шонгин, — отпустить бы можно, — а вдруг начнется? Как же без такого связиста?

— Вот так, — говорит комбат, — не можем мы без тебя.

— Зачем нэ можем? — волнуется Гургенидзе. — Можем. Четыре дня войны нэту.

— А ты, Гургенидзе, сходи к немцам, спроси, когда начнут. Может, и можно поехать, — предлагает Сашка Золотарев.

Все смеются. Не выдержали. Гургенидзе пытается понять, что произошло. Потом машет рукой.

— Ээээ! — И сам смеется.

И капелька, не удержавшись на кончике носа, летит на землю.

И комбат говорит, посерьезнев:

— Отдыхайте. Все. Вечером будем работать.

И уходит.

Вечером опять ничего. Я просил ее заходить на батарею. Для чего она придет? Для чего? Что ей здесь

делать? Как в парк пригласил: «Приходите, погуляем». Если бы она видела мои руки, покрытые шрамами и мозолями, руки мои в заусенцах, руки мои, которые отмыть невозможно, так въелась в кожу копоть... Я скажу ей: «Послушай, давай без фокусов. Ты ведь видишь все, ты ведь понимаешь. Ну давай просто: ты и я. Чтоб я знал, что ты ко мне идешь. Пусть все видят. Ну давай, а? Послушай, мы ведь с тобой одногодки. Ведь это же ерунда, что мужчина обязательно должен быть старше. Я ведь тебя давно знаю, давно-давно. Ну, пожалуйста, не делай вид, что тебе все равно. Я знаю, что ты это от смущения посмеиваешься надо мной». И когда я буду это говорить, выйдет белая луна, и снег заискрится, и никого кругом не будет, и обмотки мои будут не видны.

— Ты чего не отдыхаешь?— спрашивает Коля Гринченко.

Ну что мне сказать?

— А я вчера с Ниночкой договорился. Сегодня придет.

— Врешь ты все, Коля, — облегченно говорю я.— Как же ты врешь!

— Поглядишь, — говорит он. — Лови момент.

Коля стоит передо мной. От него пахнет одеколоном. Побрился. Побрился? Неужели придет? Ну да, конечно, она же смеялась, а я...

Вот над немецкими траншеями взвивается ракета белая-белая. Где-то одиноко и грустно стучит и смолкает пулемет.

Коля Гринченко покуривает в кулак. Улыбается.

— Да, а Ниночка сейчас придет. Побеседуем.

— Она ведь замужем, — говорю я, — ничего у тебя не выйдет.

Он улыбается. И покуривает. Потом отходит в сторону. И молчит. Раз молчит, значит, правда. Значит, она придет. Дурак я, дурак. Просил, унижался. А ведь надо так, как Гринченко говорил. Да, надо так. Обнять, прижать, чтобы косточки хрустнули, чтобы слова не могла вымолвить, чтобы почувствовала: вот мужчина! Это им нравится. Это. А разговоры... кому они нужны? Ах ты, Нина сероглазая! Я теперь знаю, что тебе сказать...

За блиндажом урчит «виллис». И слышится женский смех. И я вижу, как Коля бросается туда. Приехала! И я слышу голос ее:

— Здравствуй, здравствуй. А улыбочка-то, улыбочка! Невозможно устоять. А я вот в гости к вам. На минутку. Упросила майора, чтоб с собой взял. Вот вы как живете! Смотри пожалуйста, и немцы рядом! Чего ж ты, Коля, молчишь? Как будто и войны нет — такой ты щеголь, Коля. И бриться успеваешь. А у вас тут мальчик есть, черноглазенький такой, он-то где?

— Какой еще черноглазенький? — спрашивает Гринченко.

— Ну такой, черноглазенький.

Я слышу ее тихий смех. Она хорошо смеется. Подойти? А почему я должен подойти? А почему это обязательно про меня? Вот и Гургенидзе — черноглазый. И комбат — черноглазый...

Темный тонкий ее силуэт выплывает из-за блиндажа. Словно темная луна. Остановилась и слегка покачивается:

— Вот ты где, воин... Посидим покурим, а?

Она подходит, подходит, подходит...

— Интересно как! — говорит она. — Вот на войне у меня свидание. Ты что же молчишь? А-а-а, ты, наверно, спирту напился, да?

— Ничего я не пил.

— Ну, расскажи что-нибудь...

— Пойдем туда, за минные ящики, посидим.

— О, какой ты! Сразу — в угол.

— При чем тут это?

— При том, что каждому этого хочется. А на передовой тем более. Что завтра будет?

— Ты мне нравишься, Нина.

— Я знаю.

— Знаешь? Задаешься просто.

— Что ты, что ты, мальчик. Мне Коля Гринченко ваш рассказал, как ты во сне со мной разговариваешь.

— Врет он все!

Из-за блиндажа закричали:

— Нина! Шубникова! К машине!

— Ну вот. Пора. Так ты и не сказал мне ничего. Кто ты, что ты, что делать будем, — говорит она и ладонью проводит по щеке моей. — Ну, прощай. Война ведь. Может, и не увидимся.

— Я завтра приду к тебе. Ты мне нравишься.

— Я многим нравлюсь, — говорит она, — здесь ведь никого, кроме меня-то, нет.

Она бежит к машине. Она быстро бежит. А над немецкими окопами все чаще и чаще взлетают ракеты.

Эх, махорочка-махорка...

Так из затишья возникает гром, так в сером утре появляются неожиданные краски: красное — на сером, рыжее — на сером, черное — на белом. Пламя, ржавое, искореженное железо, неподвижные тела.

Нина укатила с майором в штаб. Последняя ракета над немецкими позициями как последний цветок. Сейчас Нина кричит, наверное, в микрофон: «Волга», «Волга», я — «Дон»... Как слышно? Прием...» А у меня в руках толстенькая, мирная такая мина. Сейчас я передам ее заряжающему. И миномет охнет, приседая на задние лапы.

Я знаю, как будет. Ох, какой я уже опытный! И ладони мои уже не болят.

А Коля Гринченко сидит на опорной плите миномета. Он очаровательно улыбается. И поет тихонечко, для себя:

Эх, махорочка-махорка...

— Немцы прорвались, слышал? — спрашивает Сашка.

— Пехота?

— Нет, танки.

— Сюда идут?

— По тылу ходят...

— Много?

— Штук сорок, говорят.

Высоко над нами плывут немецкие бомбардировщики. Им не до нас. Они сбросят бомбы далеко в тылу, в нашем.

— Будет медикам работенка, — говорит Сашка.
А Коля напевает:

Эх, махорочка-махорка...

И тогда справа на сопочке разрывается немецкий снаряд. И в ответ дружно ударяют наши минометы. Все четыре. А потом еще раз. И еще.

А за нашей спиной вспыхивают рыжие кусты разрывов. И горячий ветер касается шеи. И в затылке противно ноет. Немецкая артиллерия отвечает все чаще и чаще.

— Нашупали! — кричит кто-то.

Я ношу и ношу мины. Я уже не задумываюсь ни над чем. Каждое движение привычно до черта. Десять шагов назад. Холодного шестнадцатикилограммового «поросенка» — в ладони. Десять шагов вперед. Можно даже с закрытыми глазами. Несколько раз туда и обратно. И пальцы сами расстегивают крючки шинели. И подхватывают снег, и заталкивают его в рот. И вдруг возникает глупая мысль: кончится бой, возьму сахар, смешаю со снегом — получится мороженое...

Десять шагов вперед. Десять — назад. «Поросят» — все меньше и меньше. Сколько времени прошло? Счастливые часов не наблюдают... В спину ударяет взрывной волной. Я не могу устоять. Я падаю.

— А-а-а-а-а!.. — кричит кто-то. И снова, уже слабее: — А-а-а-а!..

Это я сам кричу. Я вижу спины товарищей. Они ведут стрельбу. Они меня не видят. Слава богу! Все у меня цело, ничего не болит. Чего я раскричался? Вот

если бы прямое попадание... Но это невозможно. Почему именно в меня? А почему бы и нет? И вдруг особенно сильный разрыв. И снова крик. Это уже не я кричу. Это кто-то другой кричит. Он так кричит, что нельзя не оглянуться. Я вижу, как Коля подбегает к нему, а потом закрывает лицо ладонями и бежит обратно. И, не добежав до своего миномета, останавливается и стоит, нагнувшись.

Кто там был, у первого миномета? Никого вспомнить не могу. Никого. Вот так начисто всех. А у Сашки на палочке не осталось места для зарубочек. А командир взвода Карпов кричит, чтобы мы свертывали позицию. И все быстро-быстро работают. Скорей-скорей... Сейчас разнесут нас немцы, если будем копать. И уже минометы прицеплены к ЗИСам. И мы выкарабкиваемся из ложбинки, где была наша позиция. Где будет новая наша позиция? Что ждет нас впереди? Все молчат. А у меня перед глазами — черные пятна на снегу, воронка и фигура в шинели, медленно бредущая к нам. Я не хочу думать об этом, а оно сидит в голове, и никак от него не избавиться.

— Вот и нету первого, — говорит Сашка.

— Нету, — говорю я.

— И ребят нету, — говорит Сашка.

— Помолчи... — Это Шонгин требует. Он сидит согнувшись.

А машины идут. И я не замечаю уже стрельбы. Я только вижу бледное лицо Коли. Он смотрит куда-то вперед и даже не шевельнется.

— Слышь, Коль, — говорит Сашка, — скоро с Нинкой-то прощаться. В другую дивизию нас перебросят...

Коля сидит все так же.

— Помолчи, — говорит Шонгин.

— Сейчас еще танков не хватает по нашу голову, — говорит Гаврилов, — они по тылам ходят.

Мы проезжаем мимо какого-то пожарища. Сарай стоял, наверное. Он сгорел. Дымятся головни. И пахнет так отвратительно тоскливо. Запах гари, запах гари... Это не то слово.

С новых позиций мы ведем огонь по врагу. Три наших миномета рывкают куда-то через холмы. А я подношу и подношу мины.

А ведь могло ударить в наш миномет. Не в первый, а в наш. И не подносил бы я мин. Может быть, я шел бы по полю, медленно, враскачку, а потом упал бы. Здесь пока спокойно. Нас пока не накрыли. И снова:

— Отбой!

И опять — по машинам. И — в ночь, в ночь, в темень.

Мы топчемся в темноте вокруг машин. Цепляем минометы. А где-то высоко, в черном небе, гудят бомбардировщики.

— Наши идут.

— А днем-то их не видеть.

— Пусть хоть ночью.

Подходит командир взвода младший лейтенант Карпов. Он руки потирает. Щеки потирает. Замерз или волнуется наш командир взвода?

— Опять переезжаем? — спрашивает Сашка Золотарев.

— А как же, — говорит Карпов, — вперед идем, ребята. Хватит отсиживаться...

— Отсиживались... — говорит Шонгин, — вон скольких потеряли!

— Война, — говорит Карпов тихо, — уж вам ли, Шонгин, старому солдату, говорить об этом?

Все молчат. Слова — это просто смешно. Действительно война. Ну что тут скажешь? Карпов виноват? Вон он какой краснощекий, молодой, энергичный... Я виноват? Коля?

Мы сидим в машине. Бездорожье. Машину покачивает, как корабль. Мы покачиваемся из стороны в сторону. Хорошо еще, что едем. А то ведь могло развезти все кругом. Попробуй потаскай на себе ЗИСы. Мы едем. Идет снег пополам с дождем. Мы промокаем постепенно. Сначала это даже хорошо: прохладно становится после запарки. И холодные капельки уютно затекают за шиворот. А вот сейчас уже бы ни к чему. Хватит. Я знаю, через минуту нас начнет бить мелкая дрожь. И тогда попробуй-ка согрейся. И ноги замерзают. Быстро и наверняка. И мы движемся в сторону нового боя. Уже ясно слышны разрывы и автоматные трели. И озаренное небо выплывает из-за холма.

«Где ваша дочь?..»

Как все хорошо складывается. Завтра напишу письмо домой. Я жив. Что осталось от батареи? Два миномета и не больше тридцати человек. А я жив. Меня даже не царапнуло. Завтра напишу письмо. Домой.

— Давай постучимся... — говорит Сашка Золотарев.

Ночь. Хатка какая-то. Окна темны.

Я стучу в ставню. «Мадам, не будете ли вы столь любезны...» Никто не отвечает. «Мадам, я остался в живых. О, если б вы знали, что там было!..» Я стучу в ставню. «Ботфорты — сюда, мундир — в гардероб, шпагу — на стул...» — «Благодарю вас... А где же ваша дочь?..»

— Спать... Спать.. Спать... — говорит Коля.

Я стучу в ставню. «Вальдшнеп?.. Сыр?.. Вино?..» — «О, благодарю вас. Ломтик холодной телятины и ром. Я солдат, мадам». Я стучу в ставню.

— Замерзнем к черту.

— Пошли в другую.

— Еще разок постучи.

Я стучу в ставню. Сашка стучит в ставню. Коля стучит в ставню.

«Вот ваша комната. Спокойной ночи». — «Спокойной ночи, мадам. А где же ваша дочь?..»

— Чего вам еще?

На пороге раскрытой двери — женщина. Она закутана.

— Нам бы переночевать, мамаша.

— Мы в живых остались, — говорю я.

— Радость-то какая... — говорит женщина, — только вас и не хватало.

— Мы зайдем? — спрашивает Коля.

— Холодно очень, — говорит Сашка.

— Мы переночуем только и уйдем, — говорю я.

В сенях холод. В комнате тепло. Чадит коптилка. Кто-то ворочается на печи. Комната маленькая. Куда мы все ляжем?

Женщина сбрасывает платок. Она совсем молодая.

— Ложись сюда, — говорит она Коле. Она в угол показывает. Хорошее место у Коли. — А ты сюда, — говорит она Сашке.

Золотарев ложится на свою шинель, расстелив ее под столом. И Коля молча раздевается. А меня устраивают на короткой лавке под печкой. Лежать можно только на боку. А, черт с ним! Лишь бы лежать. А сама хозяйка ложится на койку. На раскладную. Заваленную каким-то тряпьем. Она лезет под это тряпье, не снимая полушубка.

Я кладу шинель на лавку. Гаснет синий огонек коп-тилки. Чья-то рука проводит по волосам моим.

— Лезь ко мне, — говорит с печки тихий голос, — у меня тепло.

— А ты кто?

— Какая разница? Лезь. У меня тепло.

— Манька, — равнодушно говорит хозяйка, — смотри у меня...

— Тебя не спросила, — говорит Манька с печи. А рука ее гладит меня, гладит. — Лезь сюда.

— Обожди, ботинки сниму.

— Лезь. Какая разница?

Вдруг услышат?.. «Где ваша дочь, мадам?..» Вдруг услышат... Вот тебе и дочь!.. Возле Маньки тепло. Если я прикоснусь к ней, все полетит к черту. Манька... Неужели так и называть?

— Тебя как зовут?

— Мария Андреевна...

Вот тебе раз! Как же так... У нее горячий упругий живот, руки маленькие, цепкие.

— Сколько вам лет?

— Шестнадцать. А что?

— Тишшше...

— А что? А что?

— Услышат...

— Пусть... Иди поближе.

— Манька, — говорит хозяйка, — ой смотри,

Манька...

— Сама разберусь, — говорит Манька.

А внизу покашливает Сашка Золотарев.

А Коля говорит:

— Хозяйка, а тебе не холодно?

А Мария обвилась вокруг меня, и уже не понять, где я, где она. Все перепуталось.

— А сердце-то у тебя ой как бьется, — смеется она прямо в ухо, — испугался, что ли?

А Коля спрашивает:

— Тебе не холодно, хозяйка?

Так просто? И Нина вот так же? И все?..

— Ты что, неживой, что ли?

— Пусти меня.

— Да уж я шучу, дурачок...

— Пусти, Мария...

— Мария... — говорит хозяйка, — как же, Мария.

Дура белобрысая, а не Мария.

— Пусти, хуже будет.

— Ну давай так полежим, ладно?

— Пусти...

— Ну и вались на свою лавку, раз тебе с людьми тесно.

...На лавке — прохладно. Сашка покашливает.

Коля говорит из своего угла:

— Хозяйка, замерзла ведь в тряпье-то. Хочешь, шинелью накрою?..

...Кто-то ходит по хате. И что-то шепчет. Это тихий торопливый шепот. Слов я не разбираю. Это, наверное, Мария там, на печке. А может быть, это хозяйка. А может быть, это и не шепот, а тишина. Но кто-то всхлипывает. Как трудно, наверное, в этом маленьком поселке. А меня завтра засмеют. Засмеют, засмеют! И поделом мне. Сама просила. Уговаривала... Засмеют. Утром встану пораньше, пойду в другую хату, или в штаб пойду, или в машину пойду... А она как огонь горячая. Мария Андреевна. Она первая смеяться будет. Шестнадцать лет... Коля про таких говорит «кровь с молоком»... А кто-то и в самом деле плачет. Или это за окном?

— Кто это? — спрашиваю я.

— Не ори, — говорит хозяйка, — лег и спи.

Это у меня бред. А меня засмеют, засмеют... И все-таки кто-то плачет. А может быть, это Мария смеется?..

Утром Сашка Золотарев говорит:

— Похоже, что здесь припухать. Комбат картошку ест. Машины разбиты.

Сашка уже умылся. От него пахнет морозом. Щеки у него, как у ребенка, пунцовые. Уже успел все разузнать. А Коля спит. А в хате — ни Марии, ни хозяйки.

— Что ж с нами теперь будет? — спрашиваю я.

— А ничего не будет, — говорит Сашка, — подождем новую технику — и снова.

— А машины побиты?

— Начисто.

— А кухня работает?

— Какая там кухня...

Сашка достает из мешка три пачки горохового концентрата.

— Вот выдали. Будем варить. Колю-то будить надо. Вставай, Мыкола!

И вдруг входит хозяйка. И снимает платок с головы. И я вижу, что она совсем молодая. И красивая.

— Вставай, Мыкола, — говорит Сашка. Но Коля спит.

— Зачем будишь-то? — спрашивает хозяйка. — Пускай его спит. Устал ведь.

Она говорит строго очень, а сама все на Колю смотрит.

— Давай сварю, — говорит она и берет у Сашки концентрат.

...Мы сидим за столом. Мы молчим. Едим похлебку гороховую. Мы едим деревянными ложками. А у меня ложки нету. Вот уйдем отсюда, и достану я свою дощечку. А уж этой деревянной сейчас поем. Давно ложки у меня не было... Мы едим гороховую похлебку, хлеба нет. Коля ест медленно. Изредка на хозяйку посматривает. А она сидит напротив. И тоже иногда на него глядит. И все. А я жду, что Мария вот-вот начнет смеяться. А она и не смотрит на меня. Я сейчас только и разглядел ее как следует. Она курносая такая. И лицо широкое. И на лоб смешная челочка спадает. А на носу — несколько крупных не то веснушек, не то просто родинок.

— Ну как, конопушечка, — говорит ей Сашка, — как жить дальше будем?

— Проживем, — говорит Мария.

— Вкусная штука получилась, — говорит Коля и смотрит на хозяйку.

— А что это вы друг на друга и не похожи вроде? — спрашивает Сашка. — Живете вместе, сестры как будто, а не похожи...

— А мы и не сестры, — говорит Мария, — мы чужие. Просто живем вместе.

— А похлебочка-то ничего получилась, — говорит Коля. И смотрит на хозяйку. А она ничего не говорит. И вдруг входит Шонгин.

— Ну вот, принесло, — громко говорит хозяйка.

А Шонгин садится на табурет.

— Много народу побило, — говорит он, — и раненые есть. Увезли. — И достает кисет.

— Покурим? — спрашивает Сашка.

— А чего курить? — говорит Шонгин. — Тут и на одну не наберется. — И показывает кисет.

— А ты где спал, Шонгин? — спрашивает Коля.

— А я и не спал, — говорит Шонгин, — раненых больно много было. Пока всех подобрали — и утро.

— Сейчас бы покурить, — говорит Сашка.

— Покури, покури, — говорит Шонгин и затягивается. Он пускает большие клубы дыма. И говорит: — Вот зашел поглядеть, как вы тут.

А хозяйка наливает в чашки молоко. И Коля говорит:

— Слышь, Шонгин, концентрату тебе не хватило. Может, молока попьешь?

— Козье молоко, — говорит Мария.

— А я уже ел, — говорит Шонгин, — ел. Гургенидзе ранило. Я супу сварил ему и себе.

Бедный маленький грузин. Совсем мальчик. С вечной каплей на носу. «Попадался — не попадался...»

— Сильно его, Шонгин?

— Приблизительно ничего себе, — говорит Шонгин, — на машине лежит, на последней. Сейчас повезут.

Я бегу по свежему снегу. К машине. Возле нее ходят солдаты. Гургенидзе лежит на соломе, в кузове. В обгорелой шинели. Он поднимает забинтованную голову. На кончике носа повисает капелька.

— Попадалься, — грустно улыбается он.

А мы с ним не дружили. Так, знали друг друга. А у него покрасневшие веки часто-часто вздрагивают.

— Куда тебя?

— Голова попадалься, живот попадалься, нога тоже попадалься... Шонгин мэня носил на своем спина...

— Ничего, Гургенидзе, теперь отдохнешь. Все хорошо будет.

Мотор тарахтит. Гургенидзе откидывается на солому. Руки у него на груди сложены.

— Какой у нас часть?— спрашивает он.— Какой номер?

— Отдельная минометная батарея, друг.

— Нэт, полк какой?

— Кажется, 229-й...

— А дивизия какой?

— А зачем тебе?

— Госпиталь спрашивают...

Мотор гудит ровно. Кузов подрагивает.

— Какой дивизия?

— А черт ее знает! — кричу я.

Машина идет по свежему снегу. Рука Гургенидзе торчит из кузова. Это он прощается с нами. Уехал, уехал... А ложку забыл я у него выпросить!

Комбат говорит мне:

— Собирай всех. Пора. Отдохнули.

...В хате нет никого. За домом на бревне сидит хозяйка и Коля. Она молчит. Голову подперла ладонью. Глаза у нее красные. Губы, как у девочки, надуты. А Коля курит и тоже молчит.

— Пора, Коля, — говорю я, — комбат приказал...

— Знаю, — говорит он и встает. И смотрит на меня.

Я жду его.

— Знаю, — говорит он.

Я ухожу. Пусть прощаются.

Дорога

— Видал у немцев машины? — спрашивает Коля. — Брезент, и все такое. Сидят, как дома. А тут...

— Я же ног не чувствую, — говорит Сашка Золотарев. — Я бы валенки обул. Пимы. Морда — черт с ней, главное — ноги. Может, у меня большой палец уже отвалился, а? Сниму ботинок, а он выпадет.

А мне бы не валенки. Мне хотя бы сапоги. С широким голенищем. Чтобы они как корабли. Встал в воду — ничего, встал в снег — ничего. Хоть ночь стой. Пожалуйста.

Степь, степь, степь. Когда мы остановимся? Идет наступление. Кочует наша батарея. То в одну часть ее направляют, то в другую. Где-то, неизвестно где, остался полк, которому были мы приданы. А там — Нина. Нина, Нина, очень ты мне хорошо улыбалась. И не могу я тебя позабыть. Кто ты и откуда? Ничего мне не изве-

стно. Где я тебя разыщу? Все померкло, потускнело все, что было. Где-то Женя в тумане, вдали. Только ты, Нина. И зачем ты так хорошо со мной говорила?

— А я во сне разговариваю? — спрашиваю у Коли.

— Один раз говорил. С Нинкой Шубниковой.

— Что?

— Садись рядом, Нина. Ну, садись. Посидим покурим — так говорил. Потеха.

— А она тебе про меня говорила?

И зачем спросил? Сейчас он посмеется. Выдумает что-нибудь...

— Нет, не говорила, — хмурится Коля. — Чего говорить. Она с начальником штаба полка живет. Помнишь, майор такой высокий?

Помню, помню. Если бы он этого не сказал, теплее было бы. Если когда-нибудь встречу с ней, ну просто так, случайно, ведь может быть такое, я ей скажу...

— Когда я в кавалерии служил, — говорит Шонгин, — вот была беда, это уж в самом деле горе. С марша пришел, а спать нельзя: коня расседлай, напои, накорми, а время останется — сам отдыхай.

— А у англичан официантки солдат обслуживают, — говорит Коля, — и к обеду — коньячок.

— Врешь ты все, Гринченко, — ворчит Шонгин.

Машины стоят. Впереди — пробка. Вечереет.

— Слезай, ребята. Грейся.

Писем из дому нет. Что там?..

— Шонгин, ты из дому письма получаешь? — спрашиваю я.

Он смотрит на меня внимательно.

— Получаю, а как же, — говорит он, достает кисет и предлагает мне закурить: — На-ка вот. Погрейся.

Если до утра вот так простоим, можно простудиться окончательно. Какие у Шонгина глаза были! Ласковые, добрые. Вчера, когда мы концентрат гороховый варили, он мне и Коле в котелки насыпал по горсти пшена. Пшено разварилось — густо было. Сам ведь подошел: «Ну-ка, ребятки, добавочки я вам насыплю...»

— Шонгин, дай закурить, — говорит Сашка.

Шонгин топчется на месте: ноги греет.

— И так хорош, — бубнит он.

Когда темно, снега не видно. Словно теплей становится. Подходит командир взвода Карпов. У него всегда румяные щеки. Даже в сумерках это видно.

Он смеется:

— Что, вояки, замерзли?

— Замерзнешь, — говорит Коля, — старшине-то тепло. Он о радиатор греется. Может, костер разведем, товарищ младший лейтенант, а?

— Никаких костров, — говорит Карпов.

Шонгин, как сторож, топчется по снегу и рукой постукивает по котелку.

Подходит Гаврилов и говорит тихонько:

— Ребята, впереди машины с крупой какой-то...

И водители спят...

— Ну и что? — спрашивает Шонгин.

— А ничего, — говорит Гаврилов, — я к тому, что спят водители.

— А неплохо бы нам по котелку крупы отсыпать, — говорит Сашка Золотарев.

И он уходит в темноту, туда, к машинам, где спят водители. И все глядят ему вслед. И все молчат.

Если это пшено, можно сварить кулеш. Если гречка — ее хорошо с молоком. Если перловка — с луком. Вытерплю я до утра или нет? Все промокло на мне. Все. Вдруг я заболею воспалением легких?

Из дому писем нет. Где же ты, почта полевая?

Школяры

Я заряжаю автоматные диски. Заряжаю и молчу. — О чем грустишь, ежик? — спрашивает старшина.

А мне трудно ему ответить. Что я отвечу?

— Это я так, — говорю я, — дом вспомнил...

Тебе-то хорошо, старшина. Ты яичницу ешь. А мы гороховый концентрат всухомятку жрем. Тебе-то хорошо, старшина. А мы которые сутки толком выспаться не можем...

— Наши к Ростову подошли, — говорит старшина.

...У тебя вон какая физиономия жизнерадостная. А нас все меньше и меньше. И этот песочек моздокский скрипит на зубах у меня и скрипит на душе. Дал бы ты мне, старшина, сапоги, что ли. Потрескалась картонная подметка на моих американских ботинках. Я ведь ноги в костер сую, когда холодно. А ботинки красивые, красные. А что от них осталось?

— Ты бы, ежик, ботинки тавотом смазал, — говорит старшина, — смотри, они у тебя совсем никудышные.

...А какие ботинки носил я перед тем, как в армию ушел? Не помню. Или у меня были модные туфли шоколадного цвета и белый рант, как полоска приборя? Или я об этом только мечтал? Наверное, носил я черные ботинки «сорокоходовские». А зимой калоши надевал. Да, да, калоши. На последнем комсомольском собрании я их в школе забыл. Забыл. Пришел домой без калош. А уж война была, и никто не заметил моей пропажи. Так и ушел я. А были у меня новые калоши. Глянцевые. А теперь не знаю, будут ли у меня такие?

А когда было последнее комсомольское собрание, Женя сидела в углу. Она ничего не говорила, пока мы брали слово один за другим и клялись погибнуть за Родину. Потом она сказала:

— Мне жаль вас, мальчики. Вы думаете, это так просто — воевать? Войне нужны молчаливые, хмурые солдаты. Воины. Не надо шуметь. Мне жаль вас. И ты... — она кивнула на меня, — ты ведь ничего не умеешь еще, кроме чтения книжек. А там — смерть, смерть... И она очень любит вот таких молоденьких, как вы.

— А ты? — крикнул кто-то.

— Я тоже пойду. Только я не буду кричать и распинаться. Зачем? Я просто пойду.

— А мы тоже пойдем. Что ты нам нотации читаешь?

— Нужно быть внутренне готовым...

— Заткнись, Женька...

— Иначе никакой пользы от вас не будет.

— Заткнись!..

— Хватит, — сказал комсорг, — что это мы, как семиклассники, расшумелись?

А когда я в воротах тебя поцеловал, да так, что ты охнула и сама меня обняла, это что же? Это, значит, я, кроме книжек, ничего не умею?

— Завтра поедем минометы получать, — говорит старшина, — еще ночь понежишься, ежик.

— Какие минометы? — спрашиваю я.

— А ты не спи. Завтра пополнение придет. Будешь обучать сосунков?

— А разве я смогу?

— Что ж, тебе три года воевать, чтобы школярам наше дело объяснить?

Наше дело? Мое дело? Это о минометах? Я буду обучать?

— Буду, — говорю я.

...Школяры. Я ведь тоже был школяром. А теперь я не школяр, значит? А на том собрании я был школяром. И когда все зашумели, и я зашумел. Женя сказала:

— Вы шумите, как школяры. А ведь там этого нельзя. Там нужна суровость.

И она посмотрела на меня. Я тоже посмотрел на нее. Кто-то сказал, что, если девушка любит, она не выдерживает взгляда — краснеет и опускает глаза. Значит, она меня не любила. Не любила.

— Пошли всем классом! — крикнул кто-то.

— Пошли! — крикнули мне.

— Заткнись, — сказали мне, — заткнись, трепло...

Потом вошел директор школы, и комсорг сказал:

— Ладно, продолжим повестку дня.

А на повестке стоял один вопрос: учеба комсомольцев.

— Когда с дисками кончишь, зайдешь в каптерку, — говорит старшина и уходит.

...А после собрания мы шли по набережной все вместе. И Женя шла с нами и только не смотрела на меня. Было темно. Настороженно.

— А десятого нам не видать, ребята, — сказал кто-то. И тотчас завывла сирена. А я очутился с Женей.

— Значит, мы — школяры? — спросил я.

— Конечно, — сказала она миролюбиво.

— Значит, из нас воины не получатся?

— Конечно.

— Чтобы быть воином, нужно быть широкоплечим, да?

— Да, — засмеялась она.

— И равнодушным, да?

— Нет, — сказала она, — этого я не говорила.

— Пойдем туда, — я указал в темный переулок.

Мы шли по переулку. Было еще темнее. Еще настороженнее. И вдруг запахнулось окно. С треском. На третьем этаже. И оттуда посыпался смех. А потом поплыла музыка. Патефон играл старое довоенное танго.

— Как будто ничего и не случилось, да?

— Да, — сказал я.

Окно захлопнулось. Музыка стихла. И снова завывала сирена.

...Я зарядил все диски и иду в каптерку. Это не каптерка, а обыкновенная изба, где старшина остановился.

Старшина греет руки у печки. Наш комбат сидит за столом. Пишет. А комвзвода Карпов, розовощекий такой, бредет у окна. И сквозь белую мыльную пену видно, какие розовые у него щеки.

А перед комбатом стоит руки по швам Сашка Золотарев.

— Значит, воровал чужое пшено? — спрашивает комбат.

— Воровал, — вздыхает Сашка.

— Чужую кашу съел! Когда воровал, думал, что другой голодным останется?.. Думал?..

— Думал, товарищ лейтенант.

— И что же?

— Хотел сам наесться...

— А ты знаешь, что за это?..

— Знаю, а как же... — тихо говорит Сашка.

— Он всем раздал, — говорю я с порога.

Комбат смотрит на меня пронзительно. Ударит? Хоть бы ударил.

— Жулье, а не батарея! — говорит он.

— Разболтались, — говорит Карпов. — Это у них Гринченко — образец... Все про любовь да про жратву разговоры...

— Ладно, Карпов, брейся, — говорит комбат, — я же о другом.

А мне хочется спросить Карпова, где он был, когда мы, необстрелянные, под совхозом № 3 первый бой принимали. Он тогда в училище по режиму питался...

— Кругом! — кричит на меня комбат.

Я иду к себе. Может быть, Женя и права? Может быть, я и в самом деле школяр? Скоро кончится зима. Скоро мы вернемся на передовую. Вот тогда посмотрим, какой я школяр... И опять я встречу Нину. «Привет, малявка, — скажет она, — давно мы с тобой не виделись. Посидим покурим, да?»

Разговоры

Мы стоим в разбитом населенном пункте уже четвертые сутки. Здесь был совхоз.

Большой искромсанный ветряк, как печальная птица, смотрит сверху на нас.

Здесь сошлись потрепанные батареи, обескровленные батальоны, поредевшие в наступлении полки. Здесь в бывших блиндажах возникли склады, и невыспавшиеся интенданты раздают, выдают, снабжают.

Здесь проходят дороги на север. Туда ушло наступление. Оттуда все глуше доносится канонада. А по этим дорогам торопятся на передовую новые части. В новом обмундировании. Как с иголки. На новых машинах. И они разглядывают нас с любопытством и почтением, со страхом и завистью.

Я уже давно не видел Нину. Я уже забываю ее лицо. Я уже забываю ее голос. Как быстро все на войне...

Коля Гринченко начистился, отоспался. Снова весел. Сашка Золотарев через каждые два часа варит себе что-нибудь в котелке в добавление к общей еде. И спит.

Глазки у него совсем маленькие. Щеки еще пунцовой. Теперь и не поймешь, у кого пунцовой — у него или у Карпова. А младший лейтенант Карпов ходит победителем в своем овчинном полушубке, в лихо сдвинутой шапке, с прутиком в руке. Он этим прутиком похлестывает себя по голенищам, как теленок, хвостом отгоняющий мух.

Голос у него стал звонче. И почему-то мы с ним чаще сталкиваемся.

— Ему делать-то нечего, — говорит Коля Гринченко, — вот он и суется куда ни попало.

— Командир, — говорит Шонгин.

— На передовой-то его и не слышно было, — говорит Сашка, — скоро воспитывать начнет.

— Командир, — говорит Шонгин. — Как же без этого?

— Он скоро до нас доберется, — говорю я, — вон он как на Колю все поглядывает.

— Он меня не любит, — говорит Коля, — вот комбат, тот любит. А этот нет.

— Комбат — это, конечно, другое дело, — говорит Шонгин, — этот с веточкой ходить не будет.

— Он умный, наш комбат, — говорит Сашка Золотарев.

Подходит младший лейтенант Карпов. Он бьет по голенищам веточкой. Он говорит Коле:

— Ты что, Гринченко, пряжку морскую носишь? Мы ведь артиллерия.

— Так точно. Артиллерия, — говорит Коля и улыбается.

— И поэтому сними пряжку и спрячь ее на память.

— Есть снять пряжку, — козыряет Коля и улыбается.

— Я ведь серьезно говорю, — говорит Карпов сдержанно-сдержанно, — здесь на фронте эти фокусы ни к чему.

— Так точно, — говорит Коля и улыбается.

Карпов оглядывает нас. Мы не улыбаемся. Сашка смотрит в сторону. Шонгин стоит смирно, руки по швам. А я хочу встать смирно, а не могу. То левая нога согнется, то правая.

— Снять и доложить, — говорит Карпов. И ударяет веточкой по голенищу. И уходит.

Коля торопливо снимает пряжку с ремня. Красивую пряжку с якорями.

— Так я же не противился, — говорит он, — что это его?

— Командир он, — говорит Шонгин, — а ты молокосос. А ну-ка тебя так...

Коля уходит, размахивает ремнем.

— Нарвется, — говорит Сашка Золотарев.

Непонятно, о ком это он: о Карпове или о Коле. Мы уходим тоже. В свою избу. В ней тепло.

Коля сидит на лавке. Меняет пряжку.

— Уйду к разведчикам. Лихие ребята, — говорит он.

Мы сидим и молчим. Сидеть надоело, молчать — тоже, говорить — тоже.

Пополнения нету.

— Отправили бы куда-нибудь подальше, все равно без дела сидим, — говорит Сашка. — Поехали бы мы в городишко... В увольнительную ходили бы. В парке, наверное, оркестр играет. Скоро яблони цвести начнут...

— Тебе бы Карпов дал бы там, — говорит Коля.

— Яблони и без тебя зацветут, — говорит Шонгин, — а оркестров сейчас нету. Ни к чему они вроде... Вот когда я на фронт уходил, тогда оркестр играл.

— Это был последний оркестр, — говорю я, — потом всем дали пулеметы. Все пулеметчиками стали.

— Э-э, болтать-то, — говорит Шонгин.

— Да, да. Теперь оркестры не играют. Теперь только тогда, когда город какой-нибудь освобождается.

...А когда я уходил, оркестр не играл. Была осень. Шел дождь. И мы с Сережкой Гореловым стояли на трамвайной остановке. И на нас были вещевые мешки. А в кармане лежал пакет из военкомата. И в нем — наши направления в отдельный минометный дивизион.

— Сами доедете, — сказал нам начальник второй части, — не маленькие.

Мы и поехали.

Никто нас не провожал. И Женя не пришла. Мы ехали по вечерней Москве и молчали.

А на Казанском вокзале было страшно тесно. И мы сели на пол. И это нам нравилось. Сережка курил и все время сплевывал на пол. Мы с ним играли в солдат, и нам нравилась игра. А я все время поглядывал по сторонам: может быть, увижу Женю. Нет, оркестры не играли нам на прощание. Только на возвышении стоял рояль, и к нему подсел какой-то хмельной морячок и заиграл старинный вальс. И все замолчали и стали слушать. И я слушал, а сам все время поглядывал по сторонам: не идет ли Женя.

Это был какой-то незнакомый вальс, но чувствовалось, что он старинный. Даже дети, которые плакали, вдруг перестали плакать. А морячок раскачивался на стуле, и длинный чуб его свисал и касался клавиш.

— Вот мы с тобой и солдаты, — шепотом сказал мне Сережка.

Морячок играл старинный вальс. Женщины, дети, старики, солдаты, офицеры... И я был счастлив, что сижу на полу вокзала, что рядом — мой вещмешок, что я солдат, что завтра, может быть, дадут мне оружие.

И я был счастлив, что я с ними, что хмельной морячок играет на рояле. И мне очень хотелось, чтобы Женя

появилась здесь и увидела нас в этом мире, к которому мы причастились, который так непохож на наши дома, на нашу вчерашнюю жизнь...

А морячок играл старинный вальс. В зале было душно. Но никто не шумел. Все слушали музыку. Они и раньше слушали музыку. И наверное, получше этой. Но эта была особенная. И потому все молчали.

А вальс все звучал и звучал. И офицер с красной повязкой, и два солдата комендантского патруля тоже слушали. Офицер — хмуро, солдаты — удивленно.

— Вот мы с тобой и солдаты, — сказал Сережа.

А морячок продолжал играть. И длинный чуб его полоскался по клавишам. Потом он вдруг опустил руки. Они соскользнули вниз и повисли. А голова ткнулась в клавиши, и рояль издал странный грустный звук. Все молчали. И тогда к морячку подошел офицер с красной повязкой на рукаве, и козырнул, и что-то сказал. Вдруг все, кто был ближе, закричали на офицера.

— Что же это, братишки... — сказал морячок, — а если мою мамашу фрицы сожгли?

— Сидит здесь в тылу, — сказал Сережа, — пошел бы туда, знал бы, как с повязкой ходить...

— И чего он привязался? — сказала какая-то женщина.

И тогда я побежал туда и крикнул офицеру:

— Ты, штабная крыса, нечего к людям приставать!

Офицер не слышал меня. А один из патрульных солдат сказал мне устало:

— Иди-ка, парнишка, домой.

...Фронтные сумерки лезут в окна. Света мы не зажигаем.

— Когда я в кавалерии служил, — говорит Шонгин, — мы, бывало, с марша придем, коней накормим и давай кулеш варить.

— А старшина сегодня опять сахару недодал, — говорит Коля.

— Стала мне теперь жена по ночам сниться, — говорит Сашка Золотарев, — не видать нам, ребята, увольнительных.

— Когда я учился в восьмом классе, — говорю я, — у нас учитель по математике был очень смешной. Только отвернется, а мы подсказываем, а он за это двойку, да все не тому...

Дорога

Мы отправляемся на базу армии за минометами. Мы — это младший лейтенант Карпов, старшина, Сашка Золотарев и я. Карпов забирается к водителю в кабину, мы трое устраиваемся в кузове старенькой нашей полуторки.

И машина идет. Надоело это глупое сидение в населенном пункте. Лучше ехать. И все надоело. Мы улыбаемся с Сашкой и подмигиваем друг другу.

Старшина устроился возле самой кабины на мягком сиденье из пустых американских мешков. К кабине прислонился, руки сложил на животе, ноги короткие вытянул и прикрыл глаза.

— Едем, ежики, — говорит он, — смотрите не вывалитесь, пока я вздремну.

Едем.

Может быть, Нину где-нибудь встречу. Газик идет легко, потому что подморозило. Он торопится с холма на холм. А впереди — тоже холмы. А за ними — другие. Нам ехать-то всего сорок километров. Это такой пустяк. Посмотрю, как там в глубоком тылу поживают.

Дорога не пуста. Машины, машины... Танки идут. Пехота идет. Все — к передовой.

— А под Москвой сибиряки немцев причесали, — говорит Сашка. — Если бы не они, кто знает, как вышло бы.

— Сибиряки все одного роста, — говорю я, — метр восемьдесят. Специально подобраны.

— Дурачки, — говорит старшина, не открывая глаз, — при чем мамины калоши? Техника под Москвой все решила, техника...

А какой смысл спорить? Пусть себе говорят. Я знаю хорошо, что там было. Мне очевидцы рассказывали. И когда шли сибиряки, немцы катились на запад без остановки. Я знаю. Потому что сибиряки стояли на смерть. Они все охотники, медвежатники. Они с детства смерти в глаза смотрят. Они привыкли. А мы? Вот на нас танки пойдут, ведь мы глаза закроем. И не потому, что мы трусы. Просто мы не привыкли... Смогу я на танк выйти? Нет, не смогу. С минометами это проще.

Тут передовая далеко. Стреляй себе, постреливай, позицию меняй. А лицом к лицу... Хорошо, что мы не пехота.

Вдруг наша полуторка останавливается. Впереди дорога пуста. Только далеко-далеко какой-то одинокий маленький солдатик стоит и смотрит в нашу сторону.

Старшина спит. Мы с Сашкой соскакиваем на дорогу. Младший лейтенант Карпов спит в кабине. Нижняя губа у него отвисла, как у старика. Водитель поднял капот.

А солдатик бежит к нам. Маленький солдатик. Меньше и не придумаешь. Он бежит к нам и размахивает руками.

— Гляди, гляди, — говорит Сашка. — Сибиряк бежит.

Я смеюсь. Очень уж маленький этот солдатик. Вот он подбегает к нам, и я вижу, что это девочка. Она в шинели. Аккуратно затянута ремнем. И на плечах — погоны старшины. А лицо маленькое, и нос на нем как крохотный бугорок.

— Подвезите, ребята. Целый час торчу. Все машины — к фронту, а обратно ни одной. А мне вот так надо, — говорит она и проводит рукой по горлу.

Я помогаю ей взобраться в кузов. Мы с Сашкой отдаем ей свои плащ-палатки, и она садится на них.

— Вы откуда, мальчики?

Мы киваем в сторону передовой.

— А пятнадцатая уже шла?

Мы переглядываемся с Сашкой и пожимаем плечами.

Наш газик наконец трогается. Старшина спит. Он даже всхрапывает.

— Это потрясающе! — говорит наша попутчица и смеется. — Храпит, как на печи.

— Он поспать любит, — говорит Сашка.

Когда она смеется, губы у нее уголками загибаются кверху. Как у клоуна.

Старшина! А я солдат. А куда она такая маленькая, тоненькая, совсем девочка?

Что случилось: всех подняло, понесло, перепутало?.. Ползают школьники по окопам, умирают от ран, безрукими, безногими домой возвращаются...

Девочка-старшина... Что случилось?

— Сорок «юнкеров» позавчера на базу налетели, — говорит она, — это потрясающе! Мы с ног сбились.

— А что бы на передовой ты делала? — спрашивает Сашка. — Там ведь и похуже бывает.

— Плакала бы, наверно, — говорит она и смеется.

...Что случилось?.. Плакала бы, конечно. Я ведь тоже почти плакал. Перед войной я смотрел кинокартину. Там все бойцы были как бойцы: взрослые, опытные, они знали что к чему. А я не знаю, Сашка не знает, и эта девочка не знает... А старшина спит, и Карпов настоящий командир, хоть и хмурый...

— Меня зовут Маша, — говорит она. — Я старшина медицинской службы. Я в классе всех мальчишек была.

— А ты похвастаться любишь, да, старшина? — говорит Сашка.

Старшина просыпается. Он долго смотрит на Машу.

— Ты еще откуда взялась? — спрашивает он.

— А можно не тыкать? — спокойно говорит Маша.

У старшины шапка ползет на затылок:

— Да как ты со мной разговариваешь?

— Это потрясающе, до чего безграмотный мужчина, — обращается она к нам.

Мне хочется смеяться. Старшина долго разглядывает Машу, потом замечает нашивки на ее погонах.

— Я вас спрашиваю, товарищ старшина, откуда вы? Машина снова останавливается. Водитель снова поднимает капот. Из кабины выходит Карпов.

— Как там дела? — спрашивает он у нас.

— Ваши солдаты замерзли тут, пока вы спали, — говорит Маша.

— Ого! — говорит Карпов. — Какой приятный пассажир. А вы-то не замерзли?

И он приглашает ее в кабину.

Она легко выпархивает из кузова. Машет нам рукой приветственно.

Как, должно быть, в кабине тепло!.. От мотора воздух жаркий, сидеть мягко. Вся дорога — как на ладони.

Карпов лезет за ней.

— Нет, нет, — говорит она, — может быть, мне вернуться, товарищ младший лейтенант?

— Сидите уж, — холодно говорит Карпов. Он забирается в кузов.

— Что это ты, Золотарев, ноги растопырил? — говорит он. — Сидеть по-человечески не умеешь, что ли?

...Едем. Уже темнеет. Если через полчаса не будет базы, замерзну к черту.

Сашка весь замотался, только нос виден. Красный толстый нос.

— Человеку кровать нужна, а не кузов, — бубнит он, — и теплая печка, и еда повкусней, и любовь...

— А работать кто будет, ежик? — спрашивает старшина.

Когда вернусь домой, буду хорошо учиться. Спать буду ложиться в десять часов вечера. Зимой надену меховую шубу, чтобы никакой черт меня не взял...

Мы останавливаем какую-то машину. Спрашиваем. Оказывается, до базы еще около восьмидесяти километров.

— Как же так? — удивляется Карпов. — Ведь сказали, сорок.

— Другой дорогой надо было ехать, — отвечают с машины.

— Проспал дорогу, черт, — шипит Сашка.

Выходит из кабины Маша.

— За первым поворотом отсюда — совхоз № 7, — говорит она.

— Правда?

— Я неправды не говорю, к вашему сведению.

...Мало домов осталось целыми в этом совхозе. Мало. Но когда сводит пальцы, и губы заоченели, и ноги как деревянные — какая разница, сколько домов? Есть дома, и в них пускают, и в них тепло, и можно попить кипяточку.

Карпов выбирает дом побольше и поцелей и приглашает туда Машу:

— Тут вам будет удобнее. — И обращается к нам: — А вы, друзья, вон в тот, окно светится.

— Я пока у машины побуду, — говорит водитель, — после смените меня.

Я смогу выдержать еще одну минуту. Мы с Сашкой бежим к дому. Нам открывает девочка. Она в платке. В валенках.

— Кто пришел? — спрашивают из комнаты.

— Это наши, мама, — говорит девочка.

Девочку зовут Вика. Ее мама тоже в платке и в шали. Она похожа на мою маму. Очень.

Она приглашает нас в комнату. Мы сбрасываем шинели.

— Не найдется ли у вас кипяточку? — спрашиваю я замерзшими губами.

Мы вываливаем на стол дубленые свои сухари.

— Больше, хозяйюшка, ничего не имеем, — говорит Сашка, — рады бы.

— Ничего, ничего, — говорит она, — сейчас я вас покормлю.

— А Карпов-то к Маше полез, — говорит Сашка, — и старшину взял на побегушках быть.

Мы сидим за столом. Вика тоже сидит и смотрит на нас большими глазами. А ее мама ставит на стол сковороду. А на сковороде дымится пирог. Черт знает что! Как она похожа на мою маму...

— Здесь госпиталь останавливался, — говорит она, — подарили мне бутылочку спирту. Выпейте, мальчики, погрейтесь.

У нее большие синяки под глазами. Мы не отказываемся от спирта. Я выпиваю свою рюмку и чувствую, что задыхаюсь. Сажу с открытым ртом. Она смеется:

— Нужно было выдохнуть воздух перед глотком. Я совсем забыла предупредить вас. Заедайте пирогом.

Я ем пирог. Как она все-таки похожа на мою маму. У меня кружится голова.

Кружится у меня голова.

— Это из ваших сухарей сделала, — говорит она.

— Еще таянем? — спрашивает Сашка.

— Таянем, — говорю я.

Она наливает нам спирту.

— Надо бы и вам, хозяйюшка, — говорит Сашка.

Она улыбается и качает головой. А у меня голова кружится, кружится.

— Маме нельзя, — говорит Вика.

— Немножечко, — просит Сашка.

— Маме нельзя, — говорю я, — чего привязался?

Она гладит меня по голове и подкладывает мне пирог. Кружится моя голова. Жарко стало. Сашка отодвинулся куда-то далеко. И Вика отодвинулась. И мама... Это чтобы мне не так жарко было...

— Вы здешняя? — спрашивает Сашка.

— Мы из Ленинграда, — говорит Вика.

— Как приятно, — говорю я, — а я из Москвы. Какое совпадение... Какая встреча... Где-то у черта на куличках... Я очень рад, очень рад... Если поедете в Ленинград через Москву, позвоните, пожалуйста, ко мне домой...

Сашка ест пирог. Пока он ест, я немного посплю. Положу голову на стол и посплю.

— погоди, — говорит Сашка, — я тебя доведу.

Он кладет меня на расстеленную шинель.

— Я устал что-то, — говорю я.

— Спи, мальчик, спи, — говорит мама. Она стоит надо мной.

— Мама, — говорю я, — я жив-здоров. Скоро вернусь... С победой...

...Утром в комнате тишина. На Сашкином месте спит водитель. В доме никого нет. Надеваю шинель. Бегу к машине. Вокруг нее ходит с автоматом на груди Сашка.

— А я? — спрашиваю я. — Что же ты меня-то не разбудил?

— А ты спал — не добудишься, — говорит Сашка, — ты зашиб вчера. Тебя разморило.

— А ты так и ходишь? Один?

— А я выспался, — говорит Сашка. — Ну, походи немного, я погреюсь схожу.

Я — подлец и мерзавец. Вот я бы на его месте так, наверное, будил бы, пока не разбудил. Я бы больше своей нормы и не ходил бы, наверное. Я — скотина. Проучить меня нужно. Я — предатель. Хоть бы кто-нибудь полез сейчас в машину, я его перерезал бы очередью. Из дому выходит старшина:

— Ну как, ежик, все в порядке?

Я ничего не отвечаю. А ему и не нужно это. Он забирается в кузов, зевает во весь рот:

— Иди зови ребят. Ехать надо.

— ...Погодите немного, — говорит нам мама Вики, — сейчас пирог из картофеля готов будет.

— Спасибо, нам пора, — говорю я.

— Вы пирог за наше здоровье съешьте с дочкой, — говорит Сашка.

Мы идем к машине. Маша сидит в кузове. Она улыбается нам.

— Выяснили точно. Еще тридцать километров до базы, — говорит водитель.

— Это потрясающе! — говорит Маша.

— Все сели? — высовывается из кабины Карпов.

И вдруг я вижу: бежит от дома через дорогу Вика. Она протягивает сверток. Я на ходу успеваю взять его.

— Это пирог! — кричит она. — До свиданья!

Мы долго машем ей руками.

— Как спалось? — спрашивает Сашка у Маши.

— Мы с хозяйкой — отлично, — смеется она, — а вот товарищ младший лейтенант не спал, кажется.

— Они спали, — говорит старшина.

— Ну, значит, вы не спали, — смеется Маша, — кто-то три раза за ночь будил нас, в дверь стучал: «Маша, мне надо с вами поговорить!»

— Я не стучал, — говорит старшина.

Нина

Карпов выходит из штаба дивизии. Мы смотрим на него.

— Пополнение уже ушло к нам, — говорит он. — Мы разминулись. Ждать не стали.

— Вот и хорошо, — говорит старшина, — забот меньше.

— Будем американский бронетранспортер получать, — говорит Карпов, — тоже штучка ничего себе. Берите, старшина, сапоги на складе, грузите полуторку и отправляйтесь. Мы в бронетранспортере.

Сапоги! Вот они когда. Настоящие сапоги. Вот теперь-то только и начнется по-настоящему. Сапоги... А то ведь, как обозник, в обмотках хожу. Даже стыдно. Автомат и обмотки. Ну уж теперь повоюем!

Карпов уходит по всяким отделам.

— В сапоги можно навертеть тряпок до черта, — говорит Сашка, — никакой мороз не прошибет.

— И не промокнут, — говорю я.

— Хорошо, — говорит Сашка, — тавотом подмазал и гуляй.

— И ложку можно за голенище заткнуть, — говорю я.

— Обуваться-то — одно удовольствие, — говорит Сашка, — потянул, и готово.

— Надо за ушки тянуть, — говорю я.

— Конечно, за ушки, — говорит Сашка. Он уходит знакомых поискать. Земляков. А я тоже похожу. Посмотрю, как тут люди живут.

Идет война. Идет она себе без передышки. Делает свои дела. Ни на кого не смотрит. Идет война. Ржавеет мой автомат. Ни разу я не выстрелил из него.

— Ты откуда взялся, господи?! — слышу я за спиной.

Это Нина! Она в гимнастерке. Пустой котелок в ее руке. Это же Нина...

— В гости приехал?

— Тебя искал, — говорю я, — с тех пор все ищу.

Она смеется. Она рада. Я вижу.

— Ах ты, мой дорогой... Вот дружок настоящий. Не забыл, значит?

Ей холодно стоять. Мороз ведь и ветер.

— Пойдем-ка поедим. Поговорим, что да как, да?

Она тянет меня за руку. Я иду за ней. Иду за ней.

Мы сидим с ней в штабной столовой. В бараке. Никого нет.

— Все уже обедали, — говорит она, — это я опоздала. Сейчас выпросим у Феди порцию.

— Федя, — говорит она в окошечко повару, — дай, Федя, супу. Ко мне дружок с передовой приехал...

И Федя наливает полную миску супу для меня. А Нина отламывает кусок хлеба от своего.

— С миру по нитке?.. — спрашивает в окошечко черный усатый Федя.

— Здесь тепло, — говорю я.

— Ну как там у вас? — спрашивает она. — Коля как поживает?

— Нина, — говорю я, — а ведь я и в самом деле тебя искал. Думал-думал о тебе... Что же ты молчала?

— А мы сейчас поедем с тобой, а потом покурим, да?

— Что же ты молчала?

— Не пошла бы я обедать, наверное, и не встретилась бы.

— Вот теперь я вижу, какие у тебя глаза. Зеленые. А то вспоминаю, а вспомнить не могу. Какие они? Какие? А тут понял наконец.

— Ты ешь, ешь. Остынет. Трудно там у вас?

— Знаешь, я даже представил однажды, как мы с тобой после войны встретились. На тебе — розовая жакетка, а шапки никакой...

— Совсем никакой?

— Мы идем по Арбату...

— Да ты ешь. Холодный, наверное, суп, да?

— Мне ведь скоро уезжать. Обрато. Хочешь, я тебе письмо напишу?

— А я тут девчонкам рассказывала. Там, говорю, у меня дружок есть. Черноглазенький. На всю войну — один. А они мне не верили. Смеялись. А ты ведь помнил меня, да?

— Почему же один? Других у тебя нету?

— А другим-то ведь другое нужно...

Черноусый Федя внимательно смотрит на меня. Чего он смотрит? Может быть, жалеет, что супу дал? Может быть, он тот самый «другой»?..

— Послушай, да я ведь это всерьез. Я ведь думал о тебе. Я никогда ни о ком так не думал, как о тебе.

— Ну вот и ты тоже. — Губы у нее кривятся. — Как хорошо-то было...

А на самом краешке миски, словно червячок, одиноко повисла лапша. Белая, печальная такая. А Нина подперла щеку кулачком и смотрит мимо меня. А в зеленых ее глазах я вижу окно барака. А за ним — зеленые сумерки наступают.

— А здесь даже выстрелов не слышно, — говорит Нина, — только раз бомбили.

— Послушай, Нина, — говорю я, — ну, хочешь, я буду письма тебе писать? Просто так. Как мы там живем... А то ведь пропадешь ты. Где тебя искать-то потом?

Дурочка она какая! Неужели она не понимает? Что я, соблазнитель какой-нибудь, что ли?.. Война. Это ведь не Женя. Там все казалось, казалось. А это ведь настоящее. Неужели она не видит? Я теперь понимаю все. Вот дурочка...

— Что ж ты думаешь, я как другие? Хочешь, докажу? Хочешь, при тебе сейчас домой напишу про все. Сама отправишь...

Черноусый Федя все смотрит на меня. Делать ему нечего, что ли?

— Вот и опять у нас с тобой свидание... да?

— И когда война кончится, мы поедем вместе...

— Прямо посередке войны у нас с тобой свидание. Вот только мороженым не торгуют. Федя, — говорит она, — нет ли у тебя мороженого?

— Для вас, Ниночка, все есть, — говорит Федя, — только оно у нас горячее. В виде кипяточка.

— Я когда до войны гулять ходила, всегда мне кавалеры мороженое покупали. А один был такой — не купил. Я его быстренько разогнала... А у нас в городе парк был...

— Нина, скоро мне ехать.

— Жалко мне тебя, — говорит она, — тебе не воевать надо. Много ты навоюешь, а? Только не сердись, не сердись. Это я ведь не к тому, что не можешь. Просто зачем это тебе, да?

— А тебе?

— А мне уж и подавно. Вот Федя в ресторане работал. Ресторан «Поплавок». Да, Федя? Отбивные готовил. Салаты...

— Мне ведь уезжать, — говорю я, — ты скажи — напишешь мне? Мне ведь легче жить будет.

— Напишу, — говорит она, — напишу.

Мы идем к выходу. Позвякивает ложка в котелке.

— Послушай, Нина, а тот майор, он что...

— Тот?

— Да, тот...

— О, ты его заметил.

Мы снова останавливаемся у самой двери. Она стоит рядом со мной. Совсем рядом.

Какая она все-таки маленькая, хрупкая, тоненькая. Какая она беззащитная. Я возьму ее за плечи, за круглые ее плечи... Я поглажу ее голову ладонью. Пусть она не объясняет. Я не хотел спрашивать, не хотел...

— Ты что, жалеешь меня, да?

— Нет, только и ты меня не жалеи, Нина.

— А что ж ты дальше-то делать будешь?

— Буду ждать писем твоих.

— А если не дождешься? Всякое ведь бывает...

— Дождусь. Ты ведь обещала.

— Зачем тебе это, глупый?..

Глупый я, глупый. Что-то я не так сказал. Не о том говорил.

— Вот у тебя крошка хлебная на щеке, — говорю я.

Она смеется. Смахивает крошку.

— Пора идти нам с тобой. Хватятся тебя.

— Пусть хватятся, — говорю я. — Пусть хватятся. Семь бед — один ответ.

— Смелый ты у меня какой, — смеется она. И проводит ладонью по моей голове.

Мы выходим в тамбур. Я касаюсь ее плеча.

Она отводит мою руку. Очень ласково отводит.

— Не надо, — говорит она, — так лучше.

И целует меня в лоб. И бежит в начавшуюся метель.

...У штаба дивизии стоит бронетранспортер. Сашка ходит вокруг. Разглядывает.

— Сейчас поедem, — говорит он.

Потеха

Бронетранспортер — очень удобная машина. Он словно серый жук. Он всюду пройдет, отовсюду вылезет. В нем уютно. Тепло. Печка электрическая работает. Можно даже поспать на ходу.

Я не сплю. Я подремываю. Что будет к вечеру, когда мы догоним свою батарею?

Может быть, будет тяжелый бой? Может быть, никого мы уже не застанем... Вот приедем на место, будем ждать писем от Нины... А Сашка спит. По-настоящему. А Карпов сидит рядом с водителем и не то спит, не то просто уставился неподвижно в разбитую дорогу.

...А старшина привез сапоги. А если мне не достанется?..

— Товарищ младший лейтенант, — говорю я, — если бы дорога хорошая была, вот бы мы мчались, наверное.

Но Карпов не отвечает. Спит, видно, Карпов.

— Федосьев, — говорю я водителю, — а хорошая теперь у нас машина.

— А я не Федосьев, — говорит он, — я Федосеев. Федосеев я. Все меня путают. И Федоскиным называют, и по-всякому. А я Федосеев. На войне-то разве разберешься: Федосеев или Федосьев? Некогда разбираться. Было раз — Федишкиным назвали. Потеха ведь. А я Федосеев. Сорок лет уже Федосеев. Как говорится, с самого первого дня младенчества.

Мы везем бочку вина. Это на всю батарею. Это фронтовая норма.

— А винцом-то пахивает, — говорит Федосеев.

У него оттопыренные розовые губы, белые брови, зубы редкие, крупные. Он говорит нараспев.

Он, наверное, никогда не выходит из себя. С ним уютно, надежно.

— А винцом-то пахивает, — говорит он.

Бочка большая. Отверстие заткнуто деревянной пробкой. Прочно. Не выбить. Да если и выбить, все равно: как до вина дотянуться? А на батарее сейчас прини-

мают пополнение. Новички. Юные ребята, наверно. Стоят, озираются. Потеха. Школяры.

Коля Гринченко вышагивает, наверное, перед ними. Фасонит. А Шонгин, наверное, покуривает и говорит Коле: «Болтать ты горазд, Гринченко...» А старшина привез сапоги. А если мне не достанется?

— А если газу прибавить, — спрашиваю я, — что получится, а, Федосеев?

— Получится прибавление скорости, — говорит Федосеев, — скорость увеличится. Это если газу прибавить. Только здесь нельзя. Дорога плохая. Трясти будет, если газу прибавить...

— Ну и пусть трясет.

— А зачем нам?

— А интересно ведь, когда трясет...

— Машину-то жалко. И люди спят. Пусть поспят. Это мы с тобой не спим. А они спят. И пусть.

А если я без сапог останусь? Меня не жалко? Гнал бы ты, Федосеев, покрепче. Может, успеем еще.

— А винцом-то попахивает, — говорит Федосеев.

А ведь действительно вином пахнет. Ароматный дух идет от бочки. И есть хочется.

Только вина нам не пить. Оно — в бочке. И пробка величиной с кулак.

— А пробку можно вытащить, — говорит Сашка на ухо мне.

— Вдруг Карпов услышит? Он нам даст...

— Конечно, можно, — говорит Карпов, не поворачивая головы.

— Это только прикажите — пара пустяков, — говорит Федосеев.

Мы съезжаем с дороги и останавливаемся у одинокого столба. Мы вытаскиваем пробку. Легко. Она как по маслу вылезает из своего гнезда. И сквозь морозный воздух пробивается облачко винного дурмана. Все сильнее и сильнее.

— Каждый пробует свою норму, — говорит Карпов, — не больше.

— Закусить бы, — говорит Сашка.

— Закусывать на батарее будем, — говорит Карпов.

Федосеев делает очень просто. Он берет резиновый шланг, которым бензин переливают, и опускает один конец в бочку.

— Котелочки подставляйте, — смеется Сашка, — чтобы не пролилось.

Золотое вино льется в подставленный котелок. Сашка прикладывается. Мы смотрим на него.

— Бензином воняет, — говорит он.

— Это ничего, — говорит Карпов и сплевывает.

Он отпивает несколько глотков.

— Чистый бензин, — говорит Федосеев, — шланг ведь. Ну-ка я попробую...

Мы распиваем пробу. Вино крепкое. Это чувствуется сразу.

— Нужно не дышать, когда пьешь, — говорит Сашка.

— Бензинный дух — это самое полезное, — говорит Федосеев. — Никаких болезней не будет. Это привыкнуть надо. Я-то вот ничего. Мне не противно. Привычка. Ну-ка дай-ка котелочек-то...

— Ну, теперь давайте по норме отливайте, и все, — говорит Карпов.

— А какая норма? — спрашиваю я.

Никто не может объяснить, какая норма.

— Пока пьется, — говорю я.

— Но-но, — говорит Карпов, — это что еще за штучки!

Я уже знаю, как будет. Выпью, и теплое, как огонь, пойдет по телу. Станет жарко, томно, странно.

— Ты не пей много, Федосеев, — говорит Карпов, — тебе машину вести.

— Водичка, — говорит Федосеев. — Я этого добра могу два литра, и ни в одном глазу. Водичка.

— Да, — говорит Сашка, — это тебе, брат, не водичка. Водичка.

Я уже не могу пить. В котелке еще много, а я уже не могу. Губы у меня почему-то стянуло. Трудно рот раскрыть. А у Сашки весь подбородок в вине. Он только успевает передохнуть — и снова к котелку. А Карпов хватается рукой за бронетранспортер.

— Черт, от голода уже сил нет никаких, — говорит он.

— Пора бы ехать, — говорит Федосеев и лезет в кабину.

— Нашел место, где остановиться, — говорит Карпов, — на самых буграх. Ногу поставить некуда. Вот там поровнее место-то.

— А ты здорово ухлестнул, — говорит Сашка Карпову.

— Я еще не так могу. Я чистый спирт могу, — говорит Карпов.

— А тебя как зовут? — спрашивает Сашка.

— Меня Алексеем зовут, — говорит Карпов.

Щеки у него красные-красные. И у Сашки тоже. Они как два брата.

Мы залезаем в машину.

— Тебе дать еще, Алеша? — спрашивает Сашка.

Карпов мотает головой. Сашка сосет шланг. Вино льется в котелок.

— Ну-ка попей, — тычет Сашка котелок Карпову, — попей, Алеша, водичку...

Руки у Сашки короткие, словно два обрубка, а вместо головы винная бочка.

Вот это голова!

— А куда же ты пробку-то воткнешь? — смеюсь я. — В рот, что ли?

А Сашка качает своей бочкой и молчит.

— А где шланг? — спрашивает Федосеев.

— В бочке, — говорит Сашка.

— Купается, — смеюсь я.

— Купается? — спрашивает Карпов. — Я и не видел.

— Эх ты, Алеша, — смеюсь я.

Он хороший, этот Карпов, зря я на него обижался. Вон у него губы какие обиженные-обиженные. Я щеко-чу его шею.

— Эй, Алеша, — говорю я, — не грусти.

Сашка положил голову на бочку и спит. Пусть поспит. Он тоже хороший. Все хорошо. Вот когда мне сапоги дадут, я еще не так воевать буду.

— Сашка, — говорю я, — заткни бочку, противно.

А Сашка плачет. Большие слезы текут по щекам. Как у ребенка.

— Куда я еду? — всхлипывает он. — Надо мне больно ехать с вами! Меня Клава ждет... Где ты там, Клава?

Как противно пахнет. Смесь вина и бензина. А если смешать духи с персиками? Все равно противно. А если розы — с гуталином?.. Вот если тихонечко нить, тихонечко-тихонечко, по-комариному, тогда легче.

— Тебе что, плохо, парень? — спрашивает Федосеев.

А мне не плохо. Только запах противный. И ноги не протянешь. Тесно.

— Приходи ко мне, — говорит Карпов, — я тебе покажу мою собаку.

— Куда приходиться?

— Улица Волжская, дом восемь.

— Потеха, — говорит Федосеев.

А Сашка плачет крупными слезами. Он вспоминает свою Клаву. И утирает слезы ладонями. А мне не хочется плакать. Зачем плакать?.. А у Сашки опять вместо головы бочка. Она кружится, эта бочка, нет спасенья.

— Из-за фрицев этих ты меня, Клавочка, позабудешь... Купи мне пачку «Норда» на память... Простимся у порога, Клавочка, купи себе платок пестрый, — слышится из бочки, — а придешь — еще денег дам...

А я не плачу. Я лучше поною. Так дышать легче. Потому что этот запах проклятый... прости меня, Нина. Тоненькая, маленькая, вся странная... неизвестная... прости меня.

— Куда мы? — спрашивает Карпов.

— На батарею, — говорит Федосеев. — Вон они уже летят, летят.

— Пьян ты, что ли, Федосеев?.. Кто это летит?.. Это ракеты, что ли? Ты на передовую меня везешь.

— Она самая. Вон она, рядышком.

— А на что мне она, Федосеев? Мне там делать нечего. Заворачивай ко мне на чашку чаю...

Я бы тоже чаю попил. А то этот запах проклятый...

...Открываю глаза. Стоит наш бронетранспортер. Впереди выстрелы отчетливо уже слышатся. В голове туман. Сашка спит. Карпов спит. Откинул голову, открыл рот.

Мы вино пили. Противно даже.

— Что это мы стоим?

— Прибыли. А батареи нет. Никого нет, — говорит Федосеев. — Ушел фронт.

Надо догонять... А ты хорош был. Как оно тебя, а?

Машина идет вперед. Фары погашены. Снег идет крупный-крупный. От него светло кругом. Призрачно светло. Как во сне. Я вижу сон. Или я пьян еще? Идет наступление, а мы напильсь. Это пьяный бред — там впереди белая фигура. Она стоит на нашем пути. Она подняла руки. В одной — автомат, в другой — фонарь «летучая мышь». Желтый огонек ничего не освещает.

— Стой, Федосеев, — говорю я.

Машина останавливается. Карпов проснулся.

Он смотрит на фигуру. Он руку тянет к кобуре.

— Это же свои, — говорит Федосеев, — узнаем-ка, что там такое.

А вдруг это немцы? Где мой автомат? Нету моего автомата. Он где-то там, под бочкой. Под винной бочкой. А фигура приближается, приближается. Федосеев распахивает дверцы.

— Ребятки! — кричит фигура. — Ребятки, помогите нам по-быстрому. Тут дружков наших побило. Зарыть надо...

Фигура приближается к машине. Это солдат. Он весь в снегу. Пола шинели оторвана.

— Чем побило? — спрашивает Карпов и зевает.

Он зевает, словно с печки слез. Он зевает, когда там убитые лежат! Он пьян, этот Карпов.

— Пулями побило! — говорю я.

— Не суйтесь не в свое дело, — говорит Карпов. — Где убитые?

Солдат машет фонарем.

— Тама, тама, — говорит он, — все... семеро. А нас двое живых-то. Помогите, ребятки.

— Там бой идет, — говорит Карпов, — как же мы можем на батарею опоздать?

— И так опоздали, — говорит Федосеев.

— Пить не надо было, — говорю я и удивляюсь, как я смело говорю.

А Карпов смотрит на меня и молчит. Он ничего не говорит, потому что нечего ему сказать.

— Напились все как свиньи. А тут бой идет, — громко говорю я. — Пошли, Федосеев?

Мы вылезаем из машины. Карпов тоже. Молча. Потом — заспанный Сашка. Мы берем лопаты, ломик и идем за солдатом.

— Такое было, такое было, — говорит он на ходу, — с первого дня такого не было. Шесть часов друг дружку молотили. Потом только вперед пошли.

Мы идем по снежным буграм. Нет, не сон это. Там впереди страшный бой продолжается. Мне слышно хорошо. Вот, Ниночка, твой вояка и отличился. А под невысоким холмом долбит замерзшую землю одинокий солдат. А тот, что с нами шел, говорит:

— Вот, Егоров, подмогу я привел. Сейчас мы быстро, Егоров. Ты давай, давай долби ее. Сейчас мы все возьмемся.

А чуть в стороне лежат тела убитых. Их снегом запырило. Шинели белые, лица белые. Семь белых людей лежат и молчат. Какой же это сон? Это убитые. Наши. А мы вино пили.

— Ничего себе командир, — говорю я Сашке, — сам напился и нам позволил.

— Молчи ты... — говорит Сашка.

— Берись-ка за лопаты, — говорит Карпов.

— Всем надо браться, — усмехаюсь я.

Сашка и Федосеев смотрят на меня.

— А я тоже берусь, — спокойно говорит Карпов. — Вот и у меня лопата есть.

А семеро лежат неподвижно, как будто их это не касается. Мы роем молча. Час или два. Земля поддается с трудом. Но она поддается. Сейчас мы будем хоронить убитых. Как я на них посмотрю?

— Да погаси ты фонарь, — говорит Карпов.

Егоров гасит фонарь. Но ничего не меняется. Он ведь почти и не светил совсем. И что это Карпову вздумалось фонарь гасить?

Яма получилась глубокая. И вот тот, первый, солдат лезет в нее.

— Ну, давай, Егоров, — говорит он. И я понимаю, что это значит. А Егоров делает нам знак, и мы идем за ним. Неужели мне сейчас брать мертвых руками и тащить их к могиле? Сашка и Егоров берут первого. Несут. Федосеев нагибается ко второму. Карпов смотрит на меня. А почему бы мне и не взять? Возьму за ноги.

Это ведь не голова. Я должен взять. Именно я. Не Карпов, а я. Я беру убитого за ноги. Мы несем.

— Осторожно, ребятки, — говорит из ямы первый солдат, — не уроните.

— Никак Леня, — говорит Егоров, проходя мимо.

— Это наш Леня, — говорит первый солдат, — давайте его сюда.

Он принимает у нас тело Лени и бережно укладывает его.

Потом мы приносим еще одного, еще одного.

— Салтыкова сверху. Он молодой был, — говорит первый солдат, — ему лежать легче будет.

— А ты помолчать не можешь? — спрашивает Карпов.

— А им ведь не обидно это, товарищ младший лейтенант, — говорит солдат, — а помолчать я могу, конечно.

Мы укладываем всех. Аккуратно. Они лежат в шинелях. Они лежат в сапогах. У всех новые сапоги. Мы молча орудуем лопатами. Мы делаем все, что нужно. Все, что нужно. Вот уже и сапоги скрылись под слоем земли. И на холмике лежит каска. А чья — неизвестно.

...Мы снова едем туда. На выстрелы. Мы молчим.

Открытый счет

...А кто считал, сколько раз мы уже позицию меняем? Кто считал? А сколько я «поросят» передал заряжающему нашему Сашке Золотареву? А как у меня руки болят...

Мы ведь не просто позицию меняем: лишь бы переменить. Мы вперед идем. Моздок уже за спиной где-то. Давай, давай! Теперь-то я уже наверняка ложку достану.

Хорошую, новенькую ложку буду иметь. А вот бой кончится, выдаст старшина мне сапоги... Это когда кончится. А когда он кончится?.. Все кланяется Коля Гринченко. Он припадает к прицелу. Выгибается весь. Он ведь длинный.

— Взво-о-од!.. — кричит Карпов. Он взмахивает веточкой. Он стоит бледный такой. — Огонь!

Сашка Золотарев сбросил с себя шинель. Ватник распахнул. Губы белые. Он только закидывает мины в ствол, только закидывает. И ахает каждый раз. И миномет ахает.

Сквозь залпы и крики слышно, как в немецком расположении начинает похрюкивать «ванюша». И где-то за батареей нашей ложатся его страшные мины.

— Как бы не накрыл, — говорит Шонгин. Он даже кричит: — Накроет, и все тогда!

— Отбой! — кричит Карпов.

— Слава богу, — жалобно смеется Сашка, — руки оторвались. Заменить-то нечем.

Приходят из укрытия ЗИСы. Цепляем минометы. И снова хрюканье «ванюши», и шуршание мин над головой, и визг их где-то за спиной. Пронесло. Опять пронесло.

Как противна беспомощность собственная. Что я, кролик? Почему я должен ждать, когда меня стукнет? Почему ничего от меня не зависит? Стою себе на ровном месте, и вдруг — на тебе... Лучше в пехоту, лучше в пехоту... Там хоть пошел в атаку, а-а-а-а!.. И уж кто

кого... и никакого страха — вот он враг. А тут по тебе бьют, а ты крестишься: авось да авось... Вот опять. Похрюкивает «ванюша» все настойчивей, упрямей. Все чаще ложатся мины, все ближе. Истошно кричат наши ЗИСы, выкарабкиваются из зоны огня... Скорей же, черт!

И снова похрюкиванье. Мирное такое. Раз и еще раз. И вой...

— Ложись!

Шонгин сзади кружится на одном месте.

— Грибы собираете? — кричит Карпов.

— Обмотка...

И он кружится, кружится, ловит свою обмотку, словно котенок с клубком играет.

В бок мне ударяет чем-то. Конец?.. Слышно, бегут. Это ко мне. Нет, мимо. Жив я!

Мамочка моя милая... жив... Снова жив... Я жив... я еще жив... у меня во рту земля, а я жив... Это не меня убили...

Все бегут мимо меня. Встаю. Все цело. Mamочка моя милая... все цело. Там недалеко Шонгин лежит. И Сашка стоит над ним. Он держится рукой за подбородок, а рука у него трясется. Это не Шонгин лежит, это остатки его шинели... Где же Шонгин-то? Ничего не поймешь. Вот его котелок, автомат... ложка! Лучше не смотреть, лучше не смотреть.

— Прямое попадание, — говорит кто-то.

Коля берет меня за плечи. Ведет. И я иду.

— Землю-то выплюнь, — говорит он, — подавишься.

Мы идем к машинам. Они уже трогаются. Возле Шонгина осталось несколько человек.

— Давай, давай, — подсаживает меня Коля.

— Все целы? — спрашивает Карпов.

— Остальные все, — говорит Коля.

...К вечеру въезжаем в какой-то населенный пункт. И останавливаемся. Неужели все? Неужели спать? Подходит кухня. В животе пусто, а есть не хочется.

Мы сидим втроем на каком-то бревне. Я отхлебываю суп прямо из котелка.

— Фрицы сопротивляются, — говорит Сашка.

— Теперь уже пошло, — говорит Коля.

— Теперь наши стали и днем летать, — говорю я.

— А голова-то у тебя цела? — спрашивает Коля.

— У него голова как котел. Все выдержит, — говорит Сашка. Он смеется.

Тихонечко. Про себя.

— Жалко Шонгина, — говорю я.

Мы молча доедаем суп.

— А тебе без ложки-то легче, — говорит Коля, — хлебнул пару раз — и все. А тут пока его зачерпнешь, да пока ко рту поднесешь, да половину прольешь...

— А я тут ложки видел немецкие, — говорит Сашка, — новенькие. Валяются. Надо бы тебе принести их.

И он встает и отправляется искать ложки. Будет и у меня ложка! Правда, немецкая. Да какая разница... Сколько я без ложки прожил! Теперь зато с ложкой буду.

Ложки и в самом деле хорошие. Алюминиевые. Целая связка.

— Они мытые, — говорит Сашка, — фрицы чистоту любят. Выбирай любую.

Ложки лежат в моих руках.

— Они мытые, — говорит Сашка.

Ложек много. Выбирай любую. После еды ее нужно старательно вылизать и сунуть в карман поглубже. А немец тоже ее вылизывал. У него, наверное, были толстые мокрые губы. И когда он вылизывал свою ложку, глаза выпучивал...

— Они мытые, — говорит Сашка.

...А потом совал за голенище. А там портянки пропревшие. И снова он ее в кашу погружал, и снова вылизывал... На одной ложке — засохший комочек пищи.

— Ну, что ж ты? — говорит Коля.

Я возвращаю ложки Золотареву. Я не могу ими есть. Я не знаю почему...

Мы сидим и курим.

— «Рама» балуется, — говорит Коля и смотрит вверх.

Над нами летает немецкий корректировщик. В него лениво постреливают наши. Но он высоко. И уже сумерки. Он тоже изредка постреливает в нас. Еле-еле слышна пулеметная дробь.

— Злится, — говорит Коля, — вчера небось по этой улице ногами ходил, летяга фашистский.

А Сашка по одной швыряет ложки. Размахивается и швыряет. И вдруг одна ложка попадает мне в ногу. Как это получилось, понять не могу.

— Больно, — говорю я, — что ты ложки раскидываешь?

— А я не в тебя, — говорит Сашка.

А ноге все больней и больней. Я хочу встать, но левая нога моя не выпрямляется.

— Ты что? — спрашивает Коля.

— Что-то нога не выпрямляется, — говорю я, — больно очень.

Он осматривает ногу.

— Снимай-ка ватные штаны, — приказывает он.

— Что ты, что ты, — говорю я, — зачем это? Меня ж не ранило, не задело даже... — Но мне страшно уже. Где-то там, внутри, под сердцем, что-то противно копошится.

— Снимай, говорю, гад!

Я опускаю стеганные ватные штаны. Левое бедро в крови. В белой кальсонине маленькая черная дырочка, и оттуда ползет кровь... Моя кровь... А боль затухает... только голова кружится. И тошнит немного.

— Это ложкой, да? — испуганно спрашивает Сашка. — Что же это такое?

— «Рама», — говорит Коля, — хорошо, что не в голову.

Ранен!.. Как же это так? Ни боя, ничего. В тишине вечерней. Грудью на дот не бросался. В штыки не ходил. Коля уходит куда-то, приходит, снова уходит. Нога не распрямляется.

— Жилу задело, — говорит Сашка.

— Что ж никто не идет? — спрашиваю я. — Я ведь кровью истеку.

— Ничего, крови хватит. Ты вот прислонись-ка, полежи.

Приходит Коля. Приводит санинструктора. Тот делает укол мне:

— Это чтобы столбняка не было.

Перебинтовывает. Меня кладут на чью-то шинель. Кто-то приходит и уходит. Как-то все уже неинтересно. Я долго лежу. Холода я не чувствую. Я слышу, как Коля кричит:

— Замерзнет человек! Надо в санбат отправлять, а старшина, гад, машину не дает.

Кому это он говорит? А-а, это комбат идет ко мне. Он ничего не говорит. Он смотрит на меня. Может быть, сказать ему, чтобы велел сапоги мне выдать? А впрочем, к чему они мне теперь?..

Подходит полуторка. На ней бочки железные из-под бензина.

— Придется меж бочек устроиться, — слышу я голос комбата.

Какая разница, где устраиваться.

Мне суют в карман какие-то бумаги. Не могу разобрать, кто сует... Какая, впрочем, разница?

— Это документы, — говорит Коля, — в медсанбате сдашь.

Меня кладут в кузов. Пустые бочки, как часовые, стоят вокруг меня.

— Прощай, — говорит Коля, — ехать недолго.

— Прощай, Коля.

— Прощай, — говорит Сашка Золотарев, — увидимся.

— Прощай, — говорю я. — Конечно, увидимся.

И машина уходит. Все. Я сплю, пока мы едем по дороге, по которой я двигался на север. Я сплю. Без сновидений. Мне тепло и мягко. Бочки окружают меня.

Я просыпаюсь на несколько минут, когда меня несут в барак медсанбата.

Укладывают на пол. И я засыпаю снова.

...Это большая, прекрасная комната. И стекла в окнах. И тепло. Топится печь.

Меня тормозит кто-то. Это сестра в белом халате поверх ватника.

— Давай документы, милый, — говорит она, — нужно в санитарный поезд оформлять. В тыл повезут.

Я достаю документы из кармана. Вслед за ними выпадает ложка. Ложка?!

— Ложку-то не потеряй, — говорит сестра.

Ложка?.. Откуда у меня ложка?.. Я подношу ее к глазам. Алюминиевая сточенная ложка, а на черенке ножом выцарапано «Шонгин»... Когда же это я успел ее подобрать? Шонгин, Шонгин... Вот и память о тебе. Ничего не осталось, только ложка. Только ложка. Сколько войн он повидал, а эта последняя. Бывает же когда-нибудь последняя. А жена ничего не знает. Только я знаю... Я упрячу эту ложку поглубже. Буду всегда с собой носить... прости меня, Шонгин, старый солдат...

Сестра возвращает мне бумаги.

— Спи, — говорит она, — спи. Чего губы-то дрожат? Теперь уже не страшно.

Теперь уже не страшно. Что уж теперь? Теперь мне ничего не нужно. Даже сапоги не нужны. Теперь я совсем один. Вдруг Коля войдет и скажет: «Теперь наступление. Теперь лафа, ребята. Теперь будем коньячок попивать...» Или вдруг войдет Сашка Золотарев: «Руки у меня отваливаются от работы, а заменить нечем...» А Шонгин скажет: «Э-э, болтать вы горазды. Паскуды вы, ребята...» А Шонгин теперь ничего не скажет. Ничего. Какой же я солдат — даже из автомата ни разу не выстрелил. Даже фашиста живого ни одного не видал. Какой же я солдат? Ни одного ордена у меня, ни медали даже... А рядом со мной лежат другие солдаты. Я слышу стоны. Это настоящие солдаты. Эти все прошли. Все повидали.

В барак вносят новых раненых. Одного кладут рядом со мной. Он смотрит на меня.

Бинт у него соскочил со лба. Он его накладывает снова. Матерится.

— Сейчас, сейчас, милый, — говорит сестра.

— А мне и без вас тошно, — говорит он. И смотрит на меня. Глаза у него большие, злые. — Из минометной? — спрашивает он.

— Да, — говорю я. — Знакомый? Знаешь наших-то?

— Знаю, знаю, — говорит он, — всех знаю.

— Тебя когда это?

— Утром. Вот сейчас. Когда же еще?

— А Коля Гринченко...

— И Колю твоего тоже.

— И Сашку?

— И Сашку тоже. Всех. Подчистую. Один я остался.

— И комбата?..

Он кричит на меня:

— Всех, говорю! Всех! Всех...

И я кричу:

— Врешь ты все!

— Врет он, — говорит кто-то, — ты его глаз не видишь, что ли?

— Ты его не слушай, — говорит сестра, — он ведь не в себе.

— Болтать он горазд, — говорю я, — наши вперед идут.

И мне хочется плакать. И не потому, что он сказал вдруг такое. А потому, что можно плакать и не от горя... Плачь, плачь... У тебя неопасная рана, школяр.

Тебе еще многое пройти нужно. Ты еще поживешь, дружок...

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1

Ивану Иванычу было уже за тридцать, когда его жизнь резко переменилась. Дело в том, что Иван Иваныч запел. То есть не просто запел, а стал придумывать мелодии к собственным стихам, и получалось что-то похожее на песни. Он и раньше писал стихи, и даже некоторые из них опубликовал в различных газетках, но это не делало его сколько-нибудь известным — ну, стихи и стихи. А тут вдруг запел. Оказалось, что у него приятный голосок и симпатичные мелодии, и хотя на гитаре он знал всего лишь три аккорда, но в целом во всем этом что-то такое было, ибо некоторые из его литературных друзей отнеслись к нему не просто с удивлением или даже расположением, а восхитились и просили его повторить еще и еще раз. Сначала это его забавляло, но после как-то вдохновило (приятно быть приятным), и он сочинил новые мелодии к целому ряду стихов, и это все любители записали на самые первые, только что тогда появившиеся магнитофоны, а с них тут же кто-то переписал, а у него — другие, и так оно пошло и пошло...

Должен заметить, нисколько не пытаясь унижить достоинство Ивана Иваныча, что его некоторый успех

был вызван не столько, может быть, его творческими данными, сколько ситуацией, которая господствовала в стране в то время, то есть в пятьдесят шестом — пятьдесят седьмом годах. А было вот что: после XX съезда общество вдруг раскололось, все начали ощущать себя людьми, начали скорбеть об утратах, задумались о душе, ну просто обезумели от всяких разоблачений, от понимания собственного рабства. Цепи лопались со звоном. Все были полны сил и надежд. Вдруг разглядели множество пороков, уродств. Вдруг поняли, что так, как жили, жить нельзя, надо жить как-то иначе, достойнее, честнее. Надо оценить минувшее время — ложь, насилие, унижение личности, расхождение слов и дел. Надо побороть страх, источивший души. Мы ведь все братья, исстрадавшиеся братья и сестры... Нет, нет, я не намереваюсь давать развернутую характеристику тех событий, а тем паче проводить философский анализ происшедшего, ни в коем случае. Я о том, что Иван Иванович вдруг запел... Я о песнях. И хотя в обществе произошел такой переворот, официальные песни оставались старые, из прежних времен. Они бывали и музыкальны, и привлекательны напевностью, но ничего уже не говорили новым представлениям о жизни. Ну, звучали марши, интеллигенты, бывало, напевали хором или в одиночку, но все это так, наборы общих фраз из кинофильмов, иногда старинные романсы, иногда что-нибудь из фольклора. Вершиной были Утесов и Шульженко. «Синенький скромный платочек...», «Ты ж одессит, Мишка...» и тому подобное. А Иван Иванович, во-первых, запел о себе, просто о себе, а во-вторых, грустно и откровенно, ибо поводов для грусти было множество — такая уж

была в стране ситуация, да и в его личной жизни, потому что он с детства числился сыном врагов народа. Короче говоря, он задел какие-то струны интеллигентов, и они жадно откликнулись. А он был членом партии. Он во время XX съезда вступил в партию, потому что поверил в этом общем подъеме, что вот теперь, когда усатый убийца разоблачен и пригвожден, все образуется и начнется новая свободная жизнь.

Да, и вот он пел, но его песни вызывали заметную неприязнь именно у партийных, даже не столько у рядовых, сколько у партийных начальников. Им казалось, что Иван Иванович как-то слишком грустен и как-то уподочен в пору всеобщего жизнерадостного возбуждения, что он не тому служит, чему следует служить, играет на руку врагам и не туда ведет. Их раздражал некоторый подтекст, сквозивший в его стихах, а некоторые слова ну просто пугали и отвращали. Например, у него в стихах появилось слово «женщина». Слово как слово. Но в стихах, но в песне — это было чуждо их слуху, их привычкам, их вкусу, это рождало всякие липкие ассоциации, когда вместо привычного, здорового слова «девушка» или «девчата» звучало «женщина». В этом они видели пошлость и измену соцреализму. Этому их не учили, то есть их учили противоположному: в слове «женщина» для них таилось нечто буржуазное, нэпмановское, может быть, даже классовое. Да и вообще в стихах Ивана Ивановича не было бодрости, призыва, безоглядной веры, а все какие-то намеки, двусмыслица, разлуки, крушения, смерти, какие-то милосердные призывы и уж совсем никчемные разглагольствования о благородстве. И это все в то время, когда тогдашний комсомольский

секретарь Павлов призывал молодежь быть сильной, мужественной, смелой и решительной. В общем, направленность работы Ивана Иваныча не устраивала официальные власти. Он для них был явлением чуждым и даже опасным. Да и еще раздражала их ирония, всякие насмешки, которые воспринимались начальниками выпадами в свой адрес, впрочем, видимо, не без основания. Ну и конечно, раздражал их внезапный и довольно-таки сильный интерес к его работе со стороны всяких интеллигентов, студентов и некоторых рабочих и крестьян.

Итак, у Ивана Иваныча началась новая жизнь. А трудился он в то время в большом московском молодежном издательстве. Руководили издательством бывшие комсомольские работники, которым, как я уже говорил, пение Ивана Иваныча было не совсем понятно. Я не хочу сказать, что они были возмущены, нет, до этого еще не дошло, но известная напряженность читалась в их лицах, когда они с ним сталкивались. Они, конечно, ему улыбались, старались быть доброжелательными, но в глазах, улыбках стоял этот мучительный вопрос: как это он, член партии, фронтовик, — и с гитарой, и поет, и эти усики, и всякие там женщины...

Кстати, я позабыл сказать, что Ивана Ивановича на самом деле звали не Иван Иваныч, а Отар Отарович, так как он был по происхождению грузин, но родился он на Арбате, родной язык его был русский, а в детстве у него была нянька с тамбовщины Акулина Ивановна, и она многое вложила в него, что уже в последующие годы нельзя было вытравить, и, наверное, потому многие из специалистов теперь находили в его так называемых песнях сильный элемент русского фольклора

и старинного русского городского романса. Когда и как это произошло с переменной имени, трудно сказать, но себя он ощущал Иваном Ивановичем.

И вот он работал в молодежном издательстве, был счастлив с друзьями, потому что появились благодаря его некоторой известности отдельные симпатичные люди, то есть не то что они потянулись к известности, а просто она помогла им найти друг друга. Так бывает. Он уже не числился сыном врагов народа. Чего ж вам больше? Однако жизнь, как известно, весьма суровая школа и таит в себе множество горьких неожиданностей и разочарований. И тут произошел производственный, так скажем, эпизод, который Ивана Ивановича потряс. Редакцией поэзии заведовала одна пожилая, серьезная интеллигентная дама. Она к Ивану Ивановичу была благосклонна. Она даже отмечала в нем незаурядность, ей нравилась его открытость, она даже втайне считала его талантливым. Во всяком случае, на фоне бывших комсомольских функционеров, горящихся в издательстве, в нем действительно было что-то симпатичное и не совсем обычное, какая-то раскованность, какая-то душевность, что ли, и ей это импонировало. Она благодаря этому кое на что смотрела сквозь пальцы, даже улыбалась ему время от времени сдержанно, по-королевски. А он занимался изданием национальных поэтов, находил переводчиков и заключал с ними договора. Нет, в его компетенцию не входило определять, кто из национальных поэтов талантлив и достоин сборника. Он получал от заведующей список тех, кого следовало издать, и все. Да и она в основном не сама решала, а решал директор издательства и главный редактор, и уж конечно центральный комитет

комсомола. Как они определяли талант — оставалось загадкой. И если, скажем, Ивану Ивановичу рекомендованный национальный поэт казался бездарным, то он должен был помалкивать, потому что это его не касалось. Зато переводчики — это было в его власти, и он постепенно обзавелся отрядом поэтов, которые с охотой брались за переводы даже самых бездарных, ибо жить хочется всем, а за переводы платили. Один из переводчиков (не буду называть его имя) как-то сказал Ивану Ивановичу, что он с большим удовольствием переводит бездарных, так как, во-первых, тратишь меньше серого вещества, а во-вторых, плата одна, что за талантливое, что за убогое. В общем, они переводили кто как мог. Зарабатывали. Ведь бывало так, что русского поэта не печатали с его собственными стихами: ну там он не подходил идейно или по анкете, мало ли что, и он зарабатывал переводами — большое счастье. Многие ходили в переводчиках в те годы. И должен сказать, что обилие переводов вовсе не связывалось с потребностями рынка или с обилием талантов. Талантов, как известно, много не бывает. А это объяснялось национальной политикой: нужна была витрина расцвета поэтической работы, культуры, нужно было показать Западу: вот как у нас много талантов в республиках! Вот до чего мы дошли... Поэтому появлялась разнарядка: два мужчины, одна женщина, три от станка, четыре от сохи, один ненец, два киргиза, и тому подобное.

Иван Иванович потихоньку входил в литературные круги, то есть уже был своим человеком среди литераторов. В его списках был и совсем молодой Женя Евтушенко, и Давид Самойлов, и Женя Рейн, и Толя Нейман, и Женя Храмов, и Юлий Даниэль, и Белла Ахмадулина,

и Юрий Левитанский, и многие другие начинающие и уже сложившиеся поэты. И вот однажды заведующая подозвала Ивана Иваныча и попросила у него список переводчиков. Она долго просматривала этот список, молчала и только сильно покраснела. А он смотрел на нее и испытывал при этом возвышенные чувства, ибо приятно видеть перед собой пожилую интеллигентную женщину, тонко чувствующую, иронически поглядывающую на безмерно суетных и суетливых бывших комсомольцев и на всяких национальных авторов, самонадеянных и наглых, вывалившихся из свинцовых облаков конъюнктуры, которых так просто не спровадишь, потому что за ними власть и политика, но которых можно проводить насмешливым движением неюных губ, и пожать недоуменно плечами, и вздохнуть, утверждая хоть так собственное достоинство. И вот, просмотрев список, она сказала через силу, глядя в окно:

— Странный список...

— Чем же он странный? — не понял Иван Иваныч. — Может, я должен был отпечатать его на гербовой бумаге?

— Вы не понимаете? — спросила заведующая, совсем обернувшись к окну. — Странно. Вот посмотрите: Юрий Левитанский...

— Да, — сказал Иван Иваныч.

— Или, например, Давид Самойлов... Давид...

— Да, — сказал Иван Иваныч.

— Вот еще, — сказала она, — Юлий Даниэль, — и посмотрела ему в глаза, — Евгений Рейн...

— И что же? — спросил Иван Иваныч. — Список переводчиков — один лучше другого...

— Или вот Нейман... Толя...

Возникло некоторое напряжение.

— Разве они плохо переводят? — удивился он.

— По-моему, плохо, — сказала она и покраснела еще пуще.

— Я не могу с вами согласиться, — сказал Иван Иваныч, еще ничего не понимая, — это прекрасные поэты.

Они помолчали.

— А вам не кажется, что в списке слишком много евреев? — спросила она, трудно дыша.

— Что?! — не понял Иван Иваныч и густо покраснел.

— Вот посмотрите, — и она поднесла список к его лицу, — вы сами еще раз посмотрите, посмотрите... Слишком много... а хорошие русские переводчики идут в другие издательства...

— Что вы говорите?! — поперхнулся Иван Иваныч. — Да разве это определяет...

— У нас русское издательство, — сказала она, продолжая задыхаться, — я не против, но нужна пропорция... директор очень недоволен этим обстоятельством... вот такое обстоятельство...

Свидетелей при разговоре не было. Иван Иваныч побежал к директору. Он бежал по большому коридору. Сначала бежал, потом пошел медленней, медленней, затем присел на диван.

На лице его выступил пот, щеки горели. Почему же он замешкался? Почему не ворвался в кабинет к директору? Тут было одно обстоятельство. Недавно он влетел в этот кабинет по какому-то там местному поводу

и замахал руками, закричал, запричитал о своем каком-то там несогласии с чем-то маленьким, ничтожным, второстепенным, мол, он, Иван Иванович, не согласен с решением администрации, потому что это неправильно, и даже незаконно, и задевает честь сотрудника, и еще что-то гневное и громкое.

Перед ним сидел директор, худой, изможденный, немолодой, со втянутыми щеками. Глаза у него были холодные, просверливающие насквозь, губы изображали безгливое отвращение.

— Что это вы ножками сучите? — спросил он тихим зловещим шепотом.

Иван Иванович остолбенел, замолчал, даже остыл, не знал, что делать с руками, которые все еще продолжали двигаться. Он хотел было пояснить свою мысль, но директор сказал еще тише:

— Идите... Без вас разберемся.

И Иван Иванович тотчас очутился в приемной, ненавидя оскорбителя и презирая себя.

И вот теперь, сидя на диване, он вспомнил все это, вспомнил перекошенное лицо заведующей, и вдруг ему стало ее жалко, как она выдавливала из себя эти страшные слова, интеллигентка, дочь известного в недавнем прошлом писателя... Конечно, конечно, она говорила это не от себя, и, видимо, перед нею в ту минуту маячило изможденное лицо директора и его стальные всепроникающие глаза, и она как заведенная твердила Ивану Ивановичу высочайшее мнение, жалко пытаюсь выдать его за свое. Да, несомненно, все так и было. Но тут же, сидя на диване, он вспомнил, как однажды в его присутствии в кабинете директора, когда обсуждались какие-то там

очередные издательские мелочи, вдруг пропел особый телефон и директор взял трубку. Иван Иваныч увидел следующее: директор вскочил с кресла и вытянулся. Он побледнел и бормотал заикаясь: «Да... так точно... виноват... будет исполнено... виноват... так точно... не сомневайтесь... недоглядел... виноват...» Он пытался вытянуться во весь свой немалый рост, но голова была втянута в плечи, грозное, непроницаемое, изможденное лицо было растерянно, и на лбу посверкивали капельки пота. Все присутствующие, затаив дыхание, вслушивались в его жалкие слова. Затем он положил трубку и тяжело опустился в кресло. Лицо его из бледного стало зеленым. Пальцы быстро-быстро зашарили по столу. Кто-то суетливо подал ему валидол, налил воды... Ивану Иванычу было его жалко.

Итак, Иван Иваныч пел свои стихи, вкушал житейские несообразности, а чем больше он пел, тем больше сталкивался с сопротивлением, тем больше возникало всяческих препятствий, и в связи с этим на его, в общем, симпатичном молодом лице возникла однажды, как говорится, легкая тень недоумения, возникла да так и осталась. Надо сказать, что Иван Иваныч не был человеком легкомысленным или равнодушным, напротив, его все кругом касалось, и задевало, и западало в душу, но, может быть, отчасти благодаря происхождению или каким-то индивидуальным чертам, была в нем некоторая отстраненность, такое умение отряхиваться, что ли, быть себе на уме, какое-то упрямство — и все это помогало оставаться самим собой и не терять до конца человеческий облик, перешагивая через те самые житейские несообразности. Вы скажете, что был он эгоистом и ничем, кроме собственной жизни, не интересовался.

Возможно, в какой-то степени вы и правы: ну был в нем эгоизм, ну был такой инструмент самосохранения, а у кого его нет? Может быть, у каких-нибудь фанатичных альтруистов, безумцев, редчайших экземпляров, которыми принято почему-то восхищаться, но следовать которым и небезопасно, и попросту глупо. Нет, Иван Иваныч был далек от этих замечательных образцов, он был обыкновенным человеком и даже в какой-то степени обывателем, хотя в степени не очень значительной. Нет, он умел смотреть на вещи широко и с пристрастием и волноваться не только за собственную судьбу. Был он в меру добрым, и великодушным, и терпимым к чужим грехам, и, наверное, не случайно имел множество приятелей и некоторых верных друзей, прощающих ему слабость и просчеты. Но мне бы не хотелось изображать его совсем уж банальным и заурядным. Теперь, по прошествии тридцати с лишним лет, я отчетливо различаю в нем одну привлекательную особенность, а именно то, что он отличался от многих довольно-таки заметной самоиронией. Упаси бог, это не было обычным, распространенным, показушным самоуничижением, вот, мол, посмотрите, какой я смешной, непрактичный, нелепый, посмотрите-ка на меня... Нет, это была глубоко запрятанная особенность, не выставляемая напоказ, особенность для собственного, так сказать, употребления.

Но подобные абстрактные характеристики — не главное, ради чего я взялся за перо. Не отрицая их некоторого значения, я все же вернусь к гитаре, инструменту по тем временам подозрительному, ибо он олицетворял, как предполагалось, мещанские, обывательские пристра-

ствия и не вписывался своей душещипательностью в бодрое поступательное движение вперед. Но Ивана Ивановича подобные взгляды не коробили: он был дитя своей эпохи и даже стеснялся под гитару петь, хотя петь хотелось и никаких других инструментов он не знал. Он, например, стеснялся носить обручальное кольцо, а почему — не знал, стеснялся, и все тут.

Короче, у него сложилось с десятков песен, когда однажды раздался телефонный звонок и незнакомый человек очень мило и деликатно спросил, не согласится ли Иван Иванович приехать к нему на квартиру и попеть свои песни хорошим людям. Иван Иванович сперва оторопел: это было так необычно, но тут же загорелся, предложение показалось ему лестным (чего же не попеть?), и он согласился. Договорились на семь часов, и в семь часов Иван Иванович со своей гитарой вошел в незнакомую квартиру. Его приветствовали тихие, симпатичные люди, какие-то, как после выяснилось, инженеры, филологи, медики, человек пятнадцать. В основном мужчины, но были и женщины. Все были немного смущены, Иван Иванович тоже. Тут он заметил накрытый стол, и все, приветливо улыбаясь Ивану Ивановичу, в то же время плавно кружились вокруг этого стола. На столе возвышались две водочные бутылки и одна с сухим вином, рядом — блюдо с бутербродами и еще мисочка с солеными огурчиками, ну и хлеб. Скромно, пристойно, а главное, крайне необходимо, так как нужно было снять некоторое напряжение, возникшее с приходом Ивана Ивановича.

И вот все уселись, и произнесены заветные слова, все выпили и захрустели огурчиками. Все были очень милы, и было так спокойно и просто, но за этим

домашним благополучием Иван Иванович различал затаенные огни удивления, и тревоги, и временности всего происходящего, и сам он был под стать им всем слегка напряжен и, участвуя в непринужденном разговоре, думал о том, что эта временность написана на их лицах и на его, вероятно, тоже. Они все были почти ровесники, некоторые повоевали, но все прошли одну школу, а она была сурова и беспощадна, и как они уцелели? Откуда силы-то взялись ринуться вот так самозабвенно в приоткрывшуюся дверь надежд? Зеленые тени утрат, страха, унижения медленно стекали с их лиц. Как они сохранились? Их воспитывали цивилизованными рабами, не умеющими самостоятельно мыслить, их старались сделать такими, и многие не устояли, однако вот вам пожалуйста: кое-кто уцелел. Казалось, что все кончено, но стоило зазвучать словам маленькой правды, как откуда все взялось? Видимо, природа все-таки сильнее многих фальшивых теорий и жестоких диктатур и утешающей лжи...

И вот они сидели за столом — дети XX съезда, как их назовут впоследствии, и касались друг друга плечами, словно возрождали утраченное бывшее искусство различать, понимать друг друга, наслаждаться лихой откровенностью, презирать страх и верить в чудеса. Затем Иван Иванович взял гитару. Все замолчали. И он запел.

— Включите магнитофон! — прошелестел кто-то.

После первой песни долго царил молчание, потом один из гостей выдавил из себя, шумно вздохнув:

— Н-да, судьба...

Иван Иванович спел вторую песню, затем — третью, четвертую, и, пока он пел, задрал голову и ни на кого не глядя, он чувствовал, как круг собравшихся становился

теснее, и у него немного кружилась голова, но не от выпитого, а от ощущения тайного братства и его причастности к нему, и ему хотелось шепнуть им: «Братья и сестры, не будем расставаться!» Когда он заканчивал очередную песню, он украдкой разглядывал сидящих, и ему было радостно, что его слова производят такое впечатление. Перед ним сидела женщина и глядела на него большими темными глазами. Некрасивая, но прекрасная. И улыбалась чему-то своему. Нет, не гордость от сознания совершенного владела Иваном Ивановичем и вдохновляла его, а то, что он с ними, что они все вместе — одно целое, перестрадавшее, но не утратившее человеческого достоинства.

В промежутках между песнями они вздыхали, тихонечко переговаривались и влюбленно на него поглядывали. «Что же это такое? — думал Иван Иванович, поглаживая струны. — Как удивительно и как приятно». Когда он закончил все песни, разговорились в полный голос. Выпили еще понемногу за здоровье Ивана Ивановича, и одна блондинка, кажется медик, спросила его:

— А вы понимаете, что это все для нас?..

— Не знаю, — сказал он искренне, — просто мне хочется вот так сказать... нет, я об этом не думал, но если вам это интересно...

— Тут все очень просто, — сказал один из гостей, — проще некуда. Вот, например, Москва, полночь, одиночество, какие-то смутные надежды, и все... все просто. Или война, разлуки, нелепость, смерть... но в этой простоте... или, например, этот трубач с острым локтем... почему с острым? Но все точно, простите за сумбур... Но все точно — и настроение, и всякие ассоциации...

— Дорогая моя столица!.. — громко запел кто-то.

— Перестань! — оборвали его, и все рассмеялись.

Конечно, теперь это выглядело смешно, по нынешним временам это общее восклицание из известной песни. То, что совсем недавно распевали с умилением и вдохновенно, теперь звучало как пародия. Конечно, все переменялось, и Москва тоже. Открылись глаза, и стали заметнее, всплыли из небытия ее закоулки, коммуналки, клопы и тараканы, ее пивные в чаду и при тусклом свете, и страх в глазах, и ненадежность бытия. И это все не уравнивалось ни Кремлем, ни Красной площадью, ни новыми проспектами, ни новыми мостами.

Напротив, в Москве как бы сосредоточилась недавняя затяжная беда и не выветривалась. Нет, Иван Иванович не анализировал всего этого, не обобщал. Он был составной частью большого города, он приспособился к этому быту. Но, видимо, человеческое не было в нем побеждено окончательно, вот оно и выплескивалось, и протестовало, и маячило, словно бельмо на глазу.

— Теперь я понимаю, до какой степени мы были разобщены, — сказала брюнетка, — еще два-три года назад... Оказывается, можно быть вместе, и это хорошо...

— Боюсь, — сказал один из гостей, — что это-то кое-кому и не понравится.

— Кому? Кому?

— Им...

— Кому им?

— Ну этим, — засмеялся он. — Этим самым... тем самым, которые видят опасность в общении людей, то есть, когда мы вместе, мы начинаем размышлять, да еще вслух, и обсуждать...

И тут разговор перекинулся на роман Дудинцева «Не хлебом единым», даже не столько на сам роман, сколько на реакцию читателей, ибо в университете начался просто бунт при обсуждении, там разговор пошел уже не по существу, а по поводу, да и вообще постепенно о романе забыли, а начали поднимать проклятые вопросы — и уже политического свойства... Студенты орут, администрация кладет в штаны, какие-то совсем юные ребята всё, оказывается, понимают, дураков нет, очень острые мнения...

— Начнут сажать, — сказал кто-то из гостей.

— Не те времена, — откликнулись в ответ.

— Машина все та же, — мрачно усмехнулись в углу, — поскрипывает, да все та же...

— Кстати, мне сказал один информированный человек, что репрессировано было при Сталине десять миллионов.

— Не десять, а двадцать, — поправили его.

— Ну ты хватил, — рассмеялись за столом.

Все провожали Ивана Иваныча гурьбой до двери, жали руку, восклицали, желали счастья, договаривались о встрече, воздух был насыщен вдохновляющими флюидами, в тесной прихожей толпилась Москва, лучшая ее часть, подумал Иван Иваныч. Имен он, как ни старался, не запомнил, адрес тоже. Словно ничего не было. Однако было, было. И на следующий день все они присутствовали за его издательским столом — их лица, то отчетливые, то потухающие, их силуэты, и слышались их возвышенные и тревожные голоса...

Ближе к концу рабочего дня раздался телефонный звонок, и незнакомый гражданин предложил Ивану

Иванычу заехать к нему вечерком и попеть свои песни... Это был уже другой конец Москвы. И Иван Иванович, конечно, согласился. И в этой квартире было то же самое, и те же разговоры, и восклицания, и вздохи, только люди были уже иные, не вчерашние, и магнитофон был другой системы. Так он ездил. А однажды случилась пре-забавная история. Распроставшись с очередным милым домом, вышел он со своей гитарой в полночную Москву и, заново переживая эту встречу, вдруг почему-то отчетливо вспомнил, что хозяин квартиры — известный ученый, прощаясь с ним в прихожей, как-то странно суетливо похлопал его по плечу, потом по правому боку, словно проверил, нет ли оружия в кармане. Он ошупывал Ивана Ивановича, а сам торопливо произносил различные витиеватые комплименты. И вот потом уже на улице, вспомнив все это, Иван Иванович полез в карман и вытащил оттуда красную тридцатку. Он почувствовал себя очень нехорошо и покраснел, и намеревался кинуться обратно, и вернуть, и сказать что-нибудь такое резкое и убедительное, но адреса, как всегда, не помнил — ни квартиры, ни этажа, ни замысловатой фамилии ученого. И тут вынырнуло ночное такси, Иван Иванович с комфортом доехал до дому, успокоился и даже подумал, что честным путем заработанные деньги рук не жгут. Да, вот так он и ездил по разным адресам изо дня в день, месяц за месяцем в неизменном своем сером пиджаке-букле, с усиками своими и еще достаточно пышным чубом, бывший фронтовик, член партии, с мещанским инструментом под мышкой, в метро, в троллейбусе, изредка в такси, и никто из прохожих не знал ни его самого, ни тем более его прошлого.

В самый разгар этой странной его деятельности неожиданно был он вызван в московский горком партии.

Заведующий отделом культуры выбрался из кресла, из-за громадного стола, сам громадный, сутуловатый, в черном костюме при галстукe, пошел навстречу, протянув Ивану Иванычу широкую горячую ладонь.

— Отар Отарыч! Ну вот и свиделись. А то все кругом «Отар Отарыч», «Отар Отарыч», а мы и не пересечемся. Ну что это такое, я вас спрашиваю? Садитесь, пожалуйста, вот так... — И сам ловко погрузился в кресло.

Иван Иваныч был в своем букле и без галстука, и вообще к такой высокопарной встрече не был готов. Этот прием его просто обескуражил. Он ждал окриков, зловещих внушений, а тут пожалуйста. Заведующий принялся его расспрашивать о том о сем, о каких-то пустяках, но при этом Иван Иваныч видел его большие недоумевающие голубые глаза и немного терялся перед ними. Эти глаза так разглядывали Ивана Иваныча, будто до этого ничего подобного не видели, с любопытством, недоумением и даже со страхом. Страх-то откуда? — подумал Иван Иваныч, улавливая эту искорку. Это спустя много лет он стал понимать состояние заведующего, лет двадцать должно было миновать, чтобы посмотреть на самого себя глазами хозяина кабинета: ну действительно, этот серый пиджак, эти усики на тощем лице — и вдруг коммунист, поющий под гитару всякую декадентщину, эти ноющие интонации. Нет, не Павка Корчагин, не Олег Кошевой — поводов для напряженности более чем. Заведующий очень старательно демонстрировал доброжелательность.

— Вот вы какой, Отар Отарыч! — воскликнул он тихо. — А я-то представлял вас высоким, широкоплечим, а? Ну, как вам работается?..

В этот момент в кабинет аккуратно вошли двое. Мужчина и женщина. Мужчина оказался заместителем заведующего, а женщина инструктором горкома. Хозяин кабинета, широко улыбаясь, представил всех друг другу. Заместитель был человек пожилой, не улыбочивый. Он тоже был в черном костюме. Он кивал заведующему и не отводил взгляда от Ивана Ивановича.

— Сергей Митрофаныч учился в музыкальном училище, — сказал заведующий о своем заместителе. — Так что в музыке разбирается за-а-амечательно, вообще любит музыку, так что, Отар Отарыч, не только вы музыкант, не только...

Иван Иванович напряженно улыбнулся.

— А Любовь Петровна у нас почти писатель, — засмеялся заведующий, — училась на литературном факультете, так что, Отар Отарыч, все у нас люди грамотные, мы не лыком шитые, Отар Отарыч...

Все трое разглядывали Ивана Ивановича не чинясь, не с городским пустым интересом, а обстоятельно, вьедливо, с пристрастием, и Ивану Ивановичу хорошо вспомнились искривленные в вежливой улыбке губы и неотвратимые осуждающие глаза.

— А кем вы себя, Отар Отарыч, считаете, — спросил заведующий, — кто вы: композитор, поэт, певец?

— Ну какой же я певец, — усмехнулся Иван Иванович, — и не певец, и не композитор. Какой же я композитор? Я и нот не знаю. Так, стихи пишу...

— Но ведь поете, Отар Отарыч, и на гитаре играете...

— И музыку сочиняете, — вставила Любовь Петровна.

— Это не музыка, — слукавил Иван Иванович, — так, легкий аккомпанемент.

— А вы кому подражаете? Дунаевскому? — спросил Сергей Митрофаныч, профессионально улыбнувшись.

— Нет, — оторопел Иван Иванович, — не подражаю.

— А кому же?

— Никому...

— А зря, — удивился Сергей Митрофаныч, — надо бы Дунаевскому, хороший композитор, лауреат.

Тут ему вспомнилось, как много лет назад при редакции большой молодежной газеты было организовано литературное объединение. Иван Иванович пришел туда школьником. Разных людей соединило то первое собрание. Они все пописывали понемногу, их обуревала жажда творчества. Главный редактор газеты тогда сказал им: «Симонова читали? Нравится? Ну еще бы... Так вот считайте это эталоном. Ничего выдумывать и изобретать не надо. Пишите, как он пишет». Это прозвучало внушительно. Лишь один какой-то маловер тоненько хихикнул, остальные же хранили благоговейное молчание.

А вот теперь — Дунаевский.

Иван Иванович вытер платочком пот на лбу и подумал, что жизнь его приобретает новое качество, что-то такое ранее незнакомое вторгается в нее, кто-то неведомый обратил на него свое неблагосклонное внимание...

— Вот мы тут, Отар Отарыч, послушали ваши песни, — сказал заведующий, — и так нам показалось, что как-то вы немного от жизни отделились, как-то все у вас слишком грустно и не соответствует нашему времени...

— Кстати, героическому, — вставила Любовь Петровна.

Иван Иванович вдруг почувствовал, что его прелестное свойство относиться ко всему чуть насмешливо погасло. Он попытался губами изобразить иронию, но в душе-то была пустота, и он не знал, как им ответить. Да они и не поймут, подумал он, видя их глаза.

— А XX съезд? — сказал он без надежды. — Разве это не грустно, то, что мы пережили?

— Что пережили? Что пережили? — спросила Любовь Петровна. — Кто пережил? Ну, пережили... и давайте засучим рукава.

— Вот это верно, — засмеялся голубоглазый заведующий, — рукава... И все-таки о песнях...

— У Дунаевского музыка бодрая, вдохновляющая, — сказал Сергей Митрофаныч. — Зря вы ему не подражаете, ох зря...

— И в текстах ваших, я смотрела, — сказала Любовь Петровна, — какие-то намеки, ну не намеки, а какие-то так, исподтишка, что ли, и молодежь наша недоумевает, тут мне молодые люди говорили, что они не согласны, им это чуждо...

— Ну пусть не слушают, — рассердился Иван Иванович, — я не для них пишу...

— А для кого же? — засмеялся заведующий.

— Для своих друзей, — сказал Иван Иванович, — им нравится.

— А кто ваши друзья, извините? — спросил Сергей Митрофаныч.

— Хорошие люди, — сказал Иван Иванович, пожимая плечами.

— А есть среди них рабочие? — вкрадчиво спросил заведующий. — Нет, Отар Отарыч, рабочие этого искусства не примут, — и он помрачнел, — а вот городские пижоны всякие, всякие прохиндеи, отщепенцы всякие, они ведь вокруг вас вьются, их медом не корми — дай им какой-нибудь клубнички...

Любовь Петровна тяжело вздохнула.

— Я не понимаю, — сказал Иван Иванович возбужденно, — что это вы меня судите? Я пишу что умею и думаю как умею, а вы судите. Разве я кому-нибудь навязываюсь?

— Не туда зовете, — сказал Сергей Митрофаныч и посмотрел на заведующего.

— Вы же член партии, — сказала Любовь Петровна и сделала вид, что улыбается.

Тут Иван Иванович рассердился и хотел крикнуть: «Пошли прочь!» — но, смущенно улыбнувшись, тихо сказал:

— Не знаю, может, вы и правы...

— Ну вот, — облегченно засмеялся заведующий, — вот видите, Отар Отарыч, как оно все...

И все заулыбались.

— Кстати, — сказала Любовь Петровна, — у вас есть песенка, как парнишка пошел на войну... ну этот, как его...

— Это Ленька, что ли? — спросил Сергей Митрофаныч.

— Ну да, — сказала Любовь Петровна, — и он погиб, и некому, мол, его оплакать. Это как же?

— Ну, товарищи, — развел руками Сергей Митрофаныч.

— Видите ли, — сказал Иван Иванович, — это мой друг, и он действительно погиб... и оплакать его некому: невесты у него не было...

— Так ведь не все же погибли, — засмеялся заведующий и подмигнул голубым глазом, — а потом, как же это некому оплакать? Живые-то остались, Отар Отарыч? А комсомол? А профсоюзы? Вообще люди, друзья... Вот вы, мы с вами, а? Мы ведь пока живые, а, Отар Отарыч?

— Я думаю, — сказал Сергей Митрофанович мрачно, — нельзя эту песню исполнять, нельзя. Она неправильно ориентирует молодежь.

— А Отар Отарыч и сам это понимает. Верно, Отар Отарыч? — сказал заведующий. — Вы вот про целину слышали? Какой энтузиазм, верно?

— Да, — сказал Иван Иванович. Он знал о целине. Об этом говорилось и писалось. Эфир был наводнен бодрими песнями. В одной были такие слова: «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты, и я». Он представил себе лица своих друзей. На них было написано отвращение.

— Вот если бы вы да с вашим талантом, — сказал заведующий, — да сочинили бы песню, ну хоть о той же целине, бодрую такую, понимаете, зовущую, цены бы вам не было, а, Отар Отарыч?

— Понимаю, — слукавил Иван Иванович.

Благодаря некоторому легкомыслию он с ума не сошел, хотя в душе бушевали бури и грезилась всякая чертовщина.

Они распрощались дружески, хотя каждому из них хотелось сказать еще что-то важное и острое, но хорошее

воспитание сдерживало порывы. Так, Любовь Петровна, например, хотела сказать: «Сбрили бы вы эти усики. Ну что они вам, коммунисту?» — но не сказала. А Сергей Митрофаныч изготавился произнести: «Что вы разнылись о судьбе да о душе, цыганщину развели!» — но тоже сдержался. Что же до заведующего, то тут было сложнее, ибо голубые глаза его потухли, он заторопился; пожимая руку, глядел в сторону. А Иван Иванович никак не мог понять: на самом деле они подружились или это спектакль? Шагая по улице, он вдруг поймал себя на том, что ему приятно, что вот его пригласили в такое высокое место, его знают, даже сначала растерялись перед ним.

Ивана Ивановича лихорадило от приятных комплиментов, расточаемых благожелательными людьми, и суетливая мыслишка о том, что вот он нашел какую-то такую важную струнку, действующую на сердца, мыслишка эта шевелилась в его разгоряченной голове. Но, с другой стороны, вежливые холодные недоброжелатели торопились скептически усмехнуться или укорить взглядом, или жестом, или словом, или призвать одуматься, или даже потребовать что-нибудь нелепое, но вполне приемлемое, по их разумению. И эти укоризны перемешивались с комплиментами, и получалось несколько странное месиво, вызывающее как раз лихорадку.

Между прочим, через три года у него появилась «Песенка об идиотах», и его тотчас же вызвали в горком партии. Правда, там уже были другие люди. Они были вежливы и сдержанны, но облачко предвещало грозу. И они сказали:

— Ну что это еще у вас за песенка такая?

— Какая? — спросил Иван Иванович, напрягшись.

— Ну эта... об идиотах... Об идиотах, да?

— А-а-а, — сказал Иван Иванович, — ну да... ну песенка...

— Не надо, — брезгливо сказали ему, — ну какие еще дураки? Так ведь можно подумать... не надо, не надо... Кстати, есть же у вас замечательная песня о Левке Куравлеве. Ну и пойте ее. А вы «дураки»... «дураки»...

Он, конечно, не воспринимал все это очень уж серьезно, но кое-какие выводы все же делал, понимая, что с этой машиной можно шутить лишь до известного предела. Был ли Иван Иванович хитрым? Нет, он не был хитрым, хотя некоторая ловкость ума ему была присуща. Он не был и приспособленцем в том отвратительном значении, которое мы придаем этому понятию, но некоторая способность приспособливаться все-таки была ему свойственна, как всякому члену общества, а особенно этого, к которому он имел честь принадлежать.

2

Ивану Ивановичу хотелось издать книжку своих стихов. Он складывал их в голубую папку, время от времени перечитывал, кое-что выправлял, кое-что заменял. Папка понемногу распухла. Грезились всевозможные удачи и комплименты. Грезились, а с кем это не бывает? Можно было бы даже упрекнуть Ивана Ивановича в непозволительной слабости чувств, когда бы он пустился во все тяжкие, но он ведь не пустился. Он не хотел уподобляться некоторым московским стихотворцам, обожающим собственные стихи на протяжении многих лет. Ну

они просто не могли усомниться в собственных совершенствах, и их вдохновенные туповатые лица возникали перед ним, и не было более совершенного оружия против самообольщения. Нет, думал Иван Иванович, лишь бы не уподобиться этим несчастным.

Голубая папка пухла и росла. Она лежала в ящике служебного стола, и тихое шуршание ее листов заглушал шум жизни. Неизвестно, сколько она пролежала бы так без движения, как вдруг однажды в редакции появился Женя Евтушенко, молодой, двадцатичетырехлетний, высоченный, худой, в голубой рубашке с короткими рукавами, с русым ежиком на голове, с обворожительной улыбкой фавна, востроносенький, похожий на долговязого Буратино... Он был уже известен, даже знаменит. Их знакомство было недавним. Молодому поэту понравились песни Ивана Ивановича, и он теперь сгорал от доброжелательства и любопытства. Молодость, ранний успех, благорасположение светил — все это отражалось в его немногочисленной фигуре, размашистых жестах, улыбке, желании поделиться собственной удачей, осчастливить всех вокруг... Он фантазировал, прожектерствовал, лукавил, привирал, исповедовался, поглядывая на сидящих в комнате редактрис, словно напоминал: это все для вас, для вашего удовольствия, для вашего приятного недоумения, чтобы растормошить вас, приобщить, и даже вдохновить, и даже зажечь, ибо вы погрязли в этих серых, удручающих буднях и крайне нуждаетесь в его вдохновении, таланте, щедрости и участии. Он может все, и он вам отколет от своих житейских слитков большой увесистый кусок: знай наших, помни...

Иван Иванович был по натуре человеком сдержанным и не слишком словоохотливым (черт знает отчего у него так было. Может быть, и от комплекса неполноценности), и он лишь слушал и кивал, тайно наслаждаясь вниманием к себе, особенно приятно было воспринимать все это со стороны известного поэта, ибо Иван Иванович успел уже узнать небогатую щедрость собратьев по перу.

— Я был в деревне и напилил там кучу дров, — сообщил Евтушенко.

— Кому? — спросил Иван Иванович.

— Ну кому было нужно, — сказал Женя, — нанимался и пилил.

Редактрисы ахнули.

— Зачем? — спросил Иван Иванович.

— Ну заработал. — И вытащил из кармана смятые пятерки и тройки.

Усталые редактрисы за соседними столами, оставив свои перья, слушали его с напряженным вниманием и легким подобострастием. Все, кроме одной. Та была равнодушна и демонстративно смотрела в окно.

«А ведь я так не смог бы, — подумал Иван Иванович, — какая жалость...»

И тут он вспомнил их первую встречу. Это было прошлым летом. Он заехал к своему единственному знакомому литератору — Сергею Наровчатову. Теперь трудно сказать, чем был вызван его приезд, но он приехал к поэту в его коммунальную квартиру в Волконском переулке, где в маленькой, тесной комнатке облупившегося старого дома и застал поэта в полном оцепенении. Он сидел у давно не мытого окна, большой, грузный,

посыпанный пеплом от папирос, в прошлом пронзительный красавец, этакий обрюзгший римский патриций, загнанный в московский коммунал, страдающий от отсутствия денег и возможности выпить, и Ивану Иванычу захотелось его ублажить, ему было лестно расстараться для такого поэта, встретившего его с неподдельной радостью. Большие, чуть поблекшие голубые глаза ребенка, и улыбка на мясистых губах, и самые располагающие ленивые интонации опустившегося барина:

— Хорофо, что ты, брат, прикатил! Футка ли, мы не виделись уже больфе года... А у меня, понимаеф, ничего нет, чтобы отметить. Галя, понимаеф, ничего не оставила, черт побери!..

А у Ивана Иваныча было с собой как раз немного денег, и он, чтобы потрафить гению, бросился в ближайший гастроном, купил поллитровку, сыру и стремительно воротился.

Надвигались летние сумерки. Они торопливо разгребли место на захламленном столе и выпили. Наровчатов счастливо вздохнул. Засосал папиросу. К сыру не притронулся. Благосклонно смотрел, как Иван Иваныч закусывал сыром.

— Ну давай, давай же еще по одной, брат, — сказал Наровчатов капризно.

Они выпили еще.

— Спефыть не надо, — сказал Наровчатов, — но и затягивать глупо. — И опрокинул последние полстакана и тут же задымил. Иван Иваныч захмелел и поэтому лихорадочно закусывал сыром. Бутылка была пуста.

— Знаеф, — сказал Наровчатов, — не мефало бы добавить.

— Давай! — откликнулся Иван Иванович с готовностью, еще пуще хмелея от сознания причастности к великому загадочному племени.

— Знаеф, — сказал Наровчатов, — у тебя есть деньги?

— Есть! — радостно отозвался Иван Иванович.

— Тогда махнем в Дом литераторов, пока нет Гали?

И они, покачиваясь, покинули мрачный коммунал и поехали на улицу Воровского.

— Со мной, — сказал Наровчатов привратнице у входа, и Ивана Ивановича пропустили.

В тесном ресторанчике Дома литераторов переливались голоса, клубился папиросный дым. Иван Иванович был здесь впервые. Голова кружилась, но он еще хорошо различал лица, слова, наслаждался, ощущал себя избранным, посвященным, удостоенным. За дальним столиком в одиночестве сидел Михаил Светлов. За соседним столиком справа — Семен Кирсанов. Слева, господи боже мой, Евтушенко в компании неизвестных. Рядом с ним — совсем юная скуластенькая красотка с челочкой. Сидели те, чьи стихи залетали уже и в далекие края, о ком доносились отрывочные известия и слухи. Сидели живые, рядом, можно прикоснуться! Наровчатов заказал пол-литра и какую-то еду. Теперь уже было все равно.

— Я предложил на правлении соорудить здесь камин, — услышался голос Кирсанова, — представляешь? Громадный камин, в котором можно зажарить целого оленя!

— Прав-ле-ни-е... — с благоговением произнес Иван Иванович.

— Послушай, — сказал Евтушенко кому-то из своих, — у меня пятнадцать тысяч. Давай сейчас махнем в Сухуми?

«Пятнадцать тысяч! — поразился Иван Иванович, — пятнадцать тысяч!» Эта сумма казалась ему недостижимой. «Пятнадцать тысяч!» — подумал он, трезвея.

Наровчатов тем временем допивал очередной стакан. И непрерывно курил. Он начал было читать Ивану Ивановичу свои стихи, но сбился и снова потянулся к бутылке.

— Чего же ты, брат, не пьешь? — спросил он.

— Я пью, — пролепетал Иван Иванович, пытаюсь осознать свалившееся на него внезапно: как, должно быть, замечательно, имея свободные пятнадцать тысяч, махнуть в Сухуми и через два часа сидеть у моря, а после махнуть в Тбилиси, а после — во Львов, к примеру, и снова — в Москву, и ввалиться сюда в дом на Вороньей...

— На По-вар-ской, — по складам произнес Наровчатов.

Тут к ним за столик подсел какой-то писатель со своим фужером и бутербродом на блюдечке.

— Привет, Серега, — сказал он.

— Ах, здравствуй, здравствуй, — обрадованно выдавил Наровчатов.

Писатель выпил свой коньяк, пожевал бутерброд, ткнул пальцем в Ивана Ивановича и спросил без интереса:

— А это кто?

— Это Отар Отарыч, — пробубнил Наровчатов, стараясь не выронить из слова ни одной буквы, — мой друг и поэт.

— Отар Отарыч, — усмехнулся писатель, — что-то много развелось нынче Отар Отарычей, а, Серега? Ты не находишь?

— Ну ты, заткнись! — приказал Наровчатов. — У него отца расстреляли в тридцать седьмом!

— Туда и дорога, — засмеялся писатель.

Иван Иваныч попытался ухватить вилку, чтобы прочить обидчика, но руки не слушались, и он заплакал.

В этот момент широкая мясистая ладонь Наровчатова хлестнула по розовой щечке писателя. Кто-то крикнул. Крик подхватили. Дым за клубился пуще. Официантка, широко улыбаясь, пробежала с подносом. Затем все улеглось. Полились прежние монологи за соседними столиками. Только там уже сидели другие писатели, а за их столиком они сидели вдвоем: одуревший Иван Иваныч и спящий Наровчатов. Как они расплатились, Иван Иваныч уже не помнил, и как выволакивал грузного невменяемого поэта — не помнил, но он его выволок на своих узких плечах, и усадил в такси, и отвез на Волконский, и водворил в коммунал. Дородная Галя брезгливо его оглядела и спросила:

— А вы кто?

— Я друг, — пролепетал Иван Иваныч.

— Настоящие друзья с ним не пьют, — сказала она с отвращением.

Ехал домой и повторял с ужасом и восхищением: «Пятнадцать тысяч! Пятнадцать тысяч!..»

Так это и запомнилось. И вот теперь фантастический обладатель пятнадцати тысяч сидел перед ним в синей простенькой сорочке, только что отработавший пилой и топором, и редактрисы не отводили от него горя-

ших взоров, кроме одной, поджавшей губы и пренебрегающей.

— Женя, — спросила одна из редактрис, — а как ваша молодая жена относится к этим заработкам?

— Ну что жена? — сказал Евтушенко. — Она гениальная поэтесса. Ее надо кормить и одевать. — И рассмеялся. Затем ткнул в голубую папку: — Дай мне почитать твои стихи... — И уехал вместе с голубой папкой.

Однако самое фантастическое произошло следом. Через несколько дней Ивану Иванычу позвонили из издательства «Советский писатель», и милый девичий голос сообщил ему, что на его стихи получена очень хорошая рецензия Павла Антокольского и издательство намерено выпустить книжку Ивана Иваныча уже в будущем году! «Господи, — подумал Иван Иваныч, — как стремительно!» И конечно, тут же вспомнил, как буднично увозил с собой его голубую папку юный, худой и долговязый поэт.

3

Среди писем, которые начали слетаться к Ивану Иванычу, все чаще встречались написанные женской рукой, источающие не только изощренные ароматы косметических средств, но и дружеское расположение, негу и даже любовь; и загадочные сигналы исходили из них; и Иван Иваныч, сам того не замечая, стал чаще поглядывать в зеркало: какой он, что он. Ну что он видел в зеркале? Рост один метр семьдесят шесть сантиметров, узкие плечи, довольно-таки пышный темно-каштановый чубчик, усики, не слишком античный нос, привлекательный

разрез губ, да и, пожалуй, все, потому что глаз он не видел, то есть, как и все, он не мог понять своего взгляда, это было ему недоступно. Он видел зрачки, ну мог догадаться, что они карие, но понять этого всего и оценить не мог. У других — пожалуйста, а у себя — бесполезное занятие.

Иногда он видел там заурядную фигуру, похожую на всех, ослепленную своими маленькими удачами, жадную на похвалы и трусливо скрывающую свои несовершенства. Он сжимал зубы, и щеки вваливались, и это уже было не лицо молодого мужчины пятидесятих годов, а безумная маска ничтожества, претендующего на роль поэта. Тогда он торопливо перечитывал письма дурочек с признаниями в любви, и это как-то немножко спасало от полного отчаяния. Нет, это значительно позже он понял, как полезно разочарование в себе самом, научился ценить это чувство, а тогда он всматривался, ужасался, расстраивался и с признательностью перечитывал письма, и, представьте, отходило, и становилось легче дышать. И тогда он начинал воображать себе своих корреспонденток, ну, конечно, приспособливая их под свои мерки, которые тогда, в те годы, не отличались изощренностью, и у него начиналось приятное сердцебиение. Они взирали на него изо всех углов, готовые сложить к его ногам свои судьбы. В общем, все было банально, но он об этом не задумывался. Он был словно сухой трут, готовый вспыхнуть в любое мгновение.

И вот тут как раз и позвонил ему его приятель, назовем его Ковалевым, из тех, которым лестно было в те годы общаться с Иваном Ивановичем, провинциал,

время от времени наезжающий в Москву по делам службы. Дела, однако, не мешали ему помнить, что жизнь коротка, и он суетливо и неразборчиво служил этой формуле, словно язычник — деревянному идолу. Не знаю, может быть, в одиночестве, в часы раздумий о смысле жизни, как это свойственно, наверное, всем, глаза его переполнялись раскаянием и лицезрением таких высот человеческого духа, что голова кружилась, не знаю, может быть. Но перед Иваном Ивановичем он постоянно предстал свободным от этих вождедений, и вождедения иного рода кружили ему голову.

Он всегда приезжал в Москву неожиданно, на денек-другой. С его приездами были связаны непредсказуемые любовные утехы, неприхотливые безумства, ничтожные восклицания, пустые обещания, которым никто, конечно, не верил, торопливые хлопоты и, наконец, ощущение неправдоподобного пробуждения.

И Иван Иванович с восторгом врывается в эту незатейливую стремительную жизнь и лихорадочно кружился, забываясь, чтобы уже через сутки удивленно разглядывать себя в зеркало и испытывать даже отвращение, даже раскаиваться почему зря.

Вот и сейчас раздался этот звонок, и они договорились встретиться на Арбате, у зоомагазина, именно там, потому что там должны были совершиться карнавальные фантазии непредсказуемого Ковалева.

— Гуляем, старичок, гуляем! — сказал Ковалев и подмигнул всем лицом, как он один и умел. — Две роскошных студентки, братец, ждут нас у себя. Одна моя. Я ей говорю: «Приведи подругу для друга», она говорит: «Уже дожидается!» Представляешь? Я прямо с поезда,

дух захватывает... Ты как? Песенки пишешь? Все их поют. Сейчас в поезде пели. Я им говорю: «Это мой лучший друг написал». Они говорят: «Да брось трепаться, это Отар Отарыча песни». А я им: «Так он и есть мой друг!» Представляешь? Вся Россия поет! — И он посмотрел влюбленно.

Иван Иваныч вдруг четко представил себя со стороны бегущего в гастронорм перед случайным свиданием и подумал: «Что я делаю? Какой ужас?..» И он едва не расхохотался, но рядом просигналил автомобиль, и ужас развеялся. И он снова подумал с облегчением: «А черт с ним, пусть оно все провалится — и издательство вместе с директором, и высшая мораль, и дружба народов, и лучшее будущее». Он так подумал, потому что, хоть и не очень уважал Ковалева, его розовые щечки, его равнодушные глаза, его анекдотическую настроенность всегда на одно и его пустые восклицания, но все-таки приятно было погружаться в малознакомый, возбуждающий, непредсказуемый поток, словно в бездну.

— Надеюсь, там не будет посторонних? — спросил Иван Иваныч.

— Да ты что, — удивился Ковалев, — твоя и моя, и мы с тобой. Уж я-то не посторонний?.. — и рассмеялся, обняв Ивана Иваныча по-дружески.

Они почти бежали.

У Ивана Иваныча, на счастье, в кармане похрустывал свеженький гонорар, но они решили сначала познакомиться с дамами, с которыми предстояло пуститься во все тяжкие, и ведь бог его знает, как оно все обернется: то ли на день, а может случиться, и на век. Разве не бывает? Как они там, предупрежденные, длинноногие,

расчетливые москвички? Должно быть, топчутся в прихожей, марусеньки, уже марафет навели... Лето. Полдень. Пора выяснения отношений.

— Это хорошо, старичок, что у тебя гонорар, — сказал Ковалев, задыхаясь, — у меня-то, сам понимаешь, командировочная десятка... А ведь надо пропустить, чтобы дым пошел, а то и вспомнить будет нечего. Когда станем инвалидами-пенсионерами, и вспомнить будет нечего, а?..

И бежали, летели, вытянув шеи, словно борзые.

— Кто они? — успел спросить Иван Иванович.

— Моя — студентка Шукинского училища. Вот такая! А твоя — не знаю... Не успел спросить. Да тебе-то что? Были бы ноги, как говорится...

«И этот про ноги», — подумал Иван Иванович, не выдерживая сладостного напряжения.

В сумрачном подъезде старого доходного дома было прохладно.

— То ли у них общежитие, то ли они квартиру снимают, — прошелестел Ковалев, — черт их знает, не успел спросить, — и остановился перед квартирной дверью. Быстренько пригладил проборчик, растер щеки, opravил воротничок. Толстым решительным пальцем щелкнул по кнопке звонка, и дверь тотчас отворилась.

Две очаровательные, действительно длинноногие молодые красотки встретили их в прихожей.

«Которая моя?» — нетерпеливо подумал Иван Иванович. Девушки уставились на него с откровенным интересом. Ему даже стало неловко за товарища.

Ковалев расцеловал дамам ручки. «Которая же моя?» — снова подумал Иван Иванович, сгорая. Одна была

блондинка, другая брюнетка. Обе были хороши и в отличие от заурядных ширпотребовских москвичек даже загадочны. Они не сводили глаз с Ивана Ивановича, а он опять не мог догадаться, которой из них благосклонные сигналы все-таки принимать в первую очередь.

— Ну вот, — сказал Ковалев, — познакомились, а теперь мы смотаемся в гастрономчик, а вы тут то да се, туда-сюда, а потом со свиданьем, а?

— Ладно, — сказала блондинка по-хозяйски, — мы тут пока все подготовим... Ну не Ковалев, а золото... Откуда у тебя столько денег кормить всех?

— Командировочные! — захохотал Ковалев.

По тому, как блондинка говорила, Иван Иванович понял, что хозяйка она. А стало быть, брюнетка — его. Блондинку звали Нина, брюнетку — Света.

Они направились к выходу.

— Света, — сказал Иван Иванович по-свойски, — мы мигом.

— Ага, — сказала она, — давайте, — и лениво улыбнулась.

Они бежали к Смоленскому гастроному.

Иван Иванович подумал, что эта ленивая улыбка, которой его одарила Света, и есть та самая улыбка, после которой начинается праздник. «Какое счастье, — думал он, торопясь к гастроному, — что у меня как раз в кармане гонорар!» Действительно, при обычном безденежье эти двести с чем-то рублей были большим счастьем. Приятно чувствовать себя раскованным и независимым, и это, пожалуй, значительней, чем несколько опубликованных в журнальчике стихов, которых никто не читает. И тут вообще все померкло перед ним: и деньги, и стихи,

и успех, — все померкло перед настоящим свиданием с длинноногой брюнеткой.

— Послушай, — проговорил он, — я заметил там несколько комнат...

— Угу, — отозвался Ковалев.

— Представляю, как мы потом замечательно разбредемся!..

— Разбредемся, — засмеялся Ковалев, — разбредемся, старенький.

В гастрономе они стремительно перебежали от отдела к отделу, запихивали в шелковые авоськи Ковалева бутылки и снедь, и перемигивались, и переговаривались с помощью междометий. Это была еще та пора жизни, когда не задумываешься, что будет потом. Это теперь, собираясь, ну, скажем, в гости, знаешь, как все будет, что получится в результате: приветствия, рассказывание, фальшивые побрякивания, разные там бодрые восклицания, а после — томительное ощущение пустоты на полный желудок и желание уйти, исчезнуть, раствориться, а потом отпаивать себя чаем, боржоми, а потом, утром другого дня, страдать от тяжести в желудке и в голове... Так теперь. А в молодые годы ничего этого нет, никакого предвидения. Предскажи кто-нибудь завтрашние неудобства — в ответ тотчас же: «Иди-ка ты...» Некогда об этом размышлять, некогда и зачем? Там две длинноногие красотки в пустой квартире и — карнавал... Одна из них твоя. Она ждет. И тут Иван Иванович ощутил необыкновенную легкость, подумав, что они его не знают и можно назваться Андрюшей или Сережей, что поэтому они бескорыстны, и это особенно их украшает.

— Старичок, куда ты так быстро? — спросил, задыхаясь, полноватый Ковалев, когда, всего набрав, они трусили обратно по Арбату. — За тобой не поспеешь!

Бутылки позванивали, прохожие сторонились. Все было забыто: стихи, вдохновение, вздорные издательские будни, восхитительные завтрашние прожекты, мама, вернувшаяся из лагерей, оплеванная юность, все, кроме этого вожделенного мига, ждущего за ближайшим углом...

— Старичок, — прохрипел Ковалев, — не перегружайся, тебе вредно!

— А знаешь, — крикнул Иван Иванович, — эта Света ну просто прелесть! Не какая-нибудь профурсетка, а вполне достойная, и у нее такое лицо, такие глаза! Какой ты молодец, Ковалев!

Ковалев подмигнул ему, по своему обыкновению, и они продолжали свой бег.

И эта таинственная квартира — старая испытанная крепость, ристалище, вместилище чувств, распределительница утех, вершительница судеб!..

Двери им открыл неожиданный незнакомый мужчина. За его спиной в прихожей передвигались многочисленные тени. Иван Иванович, оторопев, вглядывался в них — искал Свету.

— Ура, — сказал Ковалев без удивления, — вот и мы.

Ловкие руки приняли у них авоськи. Беленькая Нина была тут как тут.

«А где же моя?» — подумал Иван Иванович. Но Светы не было видно. Зато теперь отчетливо различались какие-то люди, довольно молодые. Их было множество. Они заполнили всю прихожую, их любопытные лица вглядывали из комнат.

С ним почтительно здоровались. На него смотрели откровенно и с приязнью. В главной комнате на большом овальном столе уже поблескивали рюмочки и бокалы, и стремительно прибавлялись всяческие блюда с закусками, и, позванивая, вставали бутылки на свои места.

«А где же моя?» — подумал Иван Иванович и тотчас увидел Свету. Она стояла у дальнего конца стола рядом с прекрасным бородачом, и его рука возлежала на ее плече. Иван Иванович совсем потерялся от столь неподвижного, уже ничего не понимал, а лишь мучился, делая при этом приятное лицо, отвечая на поклоны и на улыбки. Вместо ожидаемого прелестного, вожделенного, московского междусобойчика, тет-а-тетика, как говорил Ковалев, предстояло шумное многолюдное сборище. На круглом и, видимо, горячем плече Светы покоилась чужая ладонь. А между тем как она смотрела на Ивана Ивановича из-под этой ладони! Какие-то туманные предчувствия обступили его, нечеткие, хоть и знакомые. Может быть, в этот момент и родилось в нем очищающее чувство самоиронии, еще робкое, жалкое, но уже спасительное, когда он, взглядевшись в Светиногоры бородача, понял, как тот красив, уместен и правдоподобен, как широка и, видимо, на самом деле горяча его ладонь на плече недоступной теперь брюнетки, и как он сам, Иван Иванович, щеделушен и неказист и случаен в этой квартире. Он посмотрел на себя ее темными глазами и готов был рассмеяться, когда бы не обида и на Ковалева, учинившего эту операцию, да и на самого себя.

— Не тушуйся, старичок, — шепнул ему Ковалев, проскальзывая мимо, — сейчас немножко заложим, а потом — все остальное...

— А что же остальное? — спросил Иван Иванович, попытавшись саркастически усмехнуться, но Ковалев уже кружился в другом конце комнаты.

Видимо, Нина была главной в этой квартире: она рассаживала своих многочисленных гостей и что-то говорила, указывая на снесь, и все расселись, и зазвучали вилки, и яства полетели на тарелки. Иван Иванович не слышал слов, он теперь все время ждал, когда же произойдет главное, потому что он понимал уже, что должно произойти. Бородач подкладывал Свете закуску, и она улыбалась ему, иногда постреливала в сторону Ивана Ивановича. Потом вдруг с левой стороны стола до него донеслось его имя, он вслушался, но тут все потонуло в радостном бульканье водки. Ковалев с набитым ртом подмигнул ему, но какая-то легкая смущенность таилась в его улыбке. Все выпили. Иван Иванович напрягся, понимая, что вот сейчас-то все и произойдет. И ему стало обидно, что так это получилось, и, конечно, с помощью Ковалева. Затем выпили снова. Бородач что-то сказал Свете, и она сдержанно засмеялась. Она была очень красива. Все в ней было на славу, кроме, пожалуй, как заметил Иван Иванович, манеры жевать, как-то это получалось медленно, однообразно, словно у старой черепахи, и так выглядело странно рядом с высоким лбом, глубокими темными глазами. И это немного утешило.

Затем все резко оборотились к нему, все улыбались, и кто-то сзади сказал в самое ухо:

— Отар Отарыч, спойте нам что-нибудь...

Ему протягивали гитару. В этот момент он вспомнил, как они бежали в гастроном и набивали свои авоськи во имя Светы и Нины, и как он предвкушал тайную

вечерю, и неведомая московская квартира сулила ему неземные блаженства. Предатель Ковалев, устроившийся за его счет, сидел рядом с Ниной, и они оба подмигивали ему и улыбались.

— Ну, Отар Отарыч...

У предателя были по-прежнему розовые щеки, и влажные, страдающие глазки, и смущенная улыбка. В общем, он выглядел вполне симпатично, как и все предатели, покуда не прижатые к стенке. Корысть его была общечеловеческой, даже трогательной, но предательство его оказалось столь внезапным, что у покладистого Ивана Иваныча вспотели ладони и перехватило дыхание. Нет, он не помышлял ни о мести, ни об устыжении предателя, ни о чем этаким, но что-то возникло в нем — то ли арбатское, то ли кавказское, что-то загадочное и горячее. Он посмотрел на часы и заявил громко притихшему столу:

— К сожалению, друзья, я опаздываю. Мне пора. — И под сокрушенные вздохи и восклицания вылез из-за стола и побежал к выходу.

— Старик! — крикнул вслед пунцовый Ковалев. — Погоди!

Но Иван Иваныч бежал, перескакивая через ступеньки, гордясь своей решительностью, сопя от обиды, с последней пятеркой в потертом кармане.

4

Стихи писались, мелодии сочинялись. Из лагерей возвращались оставшиеся в живых. Пресса слегка раскрепощалась, робко, половинчато, но все же. Дышалось

чуть легче. Иван Иванович двигался в общем потоке. На московских кухнях внезапно резко заговорили о том, что не все, оказывается, в прошлом было удачно и справедливо. Ну конечно, всего понастроили, выиграла войну, и здравоохранение было бесплатное, и безработицы не было, но все-таки, все-таки...

Да, Запад продолжал загнивать, хотя уже как-то не так интенсивно и не с прежним азартом. Да, это было, но какие-то робкие сомнения, ничтожные, словно рассеивающийся дымок над костерком, витали меж людьми, и едва заметная трещинка пробороздила гладкую стену дотоле неприступной крепости.

Вдруг было объявлено о проведении в Москве Всемирного фестиваля молодежи. Начался большой шум. Планировались красочные карнавалы, громкое открытие на центральном стадионе, но самое главное и сверхъестественное — предполагался приезд многих тысяч иностранцев, и все гостиницы готовились к их расселению. Это вызвало большой ажиотаж: иностранцев до этого почти не видели, если не считать отдельных дипломатов, проносящихся по столице в показушных автомобилях.

Сейчас, когда я пишу об этом, мне немного смешно и грустно, но тогда было не до смеха, тогда было ощущение удара, внезапного переворота. Был новый день в долгой запланированной жизни. Что-то закачалось. Захватывало дух.

В издательстве прошло собрание. Директор сказал, что фестиваль — ответственная политическая акция. Бдительность, бдительность прежде всего, ибо не исключено, что среди заграничных гостей будет большое скопление

профессиональных разведчиков и диверсантов. Пока он говорил все это, глаза его казались совсем стальными, губы брезгливо изгибались, в интонациях прослушивался незамысловатый подтекст, мол, видно, как вы все обезумели от свалившегося на вас и какие у вас возникли обольщения, и вы, конечно, не понимаете, что значит политическая акция, а думаете, что это праздничек, два притопа, три прихлопа... Но мы его прекратим, когда сочтем, понятно?..

Все сидели, поджав бледные губы, и взволнованно переглядывались. «Возможны провокации, — сказал директор, — нужно подготовиться к отпору... А кроме того, нужно это... — интонации его чуть смягчились, — приодеться как-то... нельзя же в затрапезном... нельзя же, в самом деле, чтобы они подумали, что, мол, мы... в общем, вы понимаете, я надеюсь, нельзя лицом в грязь... Тут намечается открытие закрытого магазина для идеологических работников, ну чтобы приодеться... Вы получите туда пропуска и купите себе по одной вещи по вкусу, по одной...»

Было робкое оживление, особенно среди женщин.

Ивану Иванычу выдали розовый пропуск, и он отправился в закрытый магазин. Он очень волновался, надо отметить. Ему вообще хотелось хорошо одеваться. Всю свою тридцатитрехлетнюю жизнь он одевался плохо. Но Москва тогда была бедновата, хорошие вещи встречались изредка в комиссионных магазинах, хотя было известно, что туда на зарплату редактора не разбежишься.

В магазине у Ивана Иваныча от лицемерия обилия и разнообразия закружилась голова, и он долго не мог прийти в себя. Его окружали надменные молодые

продавщицы, которым выпала честь быть хозяйками этого пиршества. Они оказались посвященными и тут же из смазливых заурядных московских девочек превратились в облеченных властью вершительниц чужих судеб. Ах, как они презирали всех суетливых и ничтожных Иванов Иванычей, а еще ожесточенней — своих соплеменниц за дрожащие, заискивающие голоса, за щеки, покрытые красными пятнами, за стоптанные каблучки, за искусительное желание ухватить, выпросить по второму предмету, за подобострастную обреченность во взоре, когда им с отвращением бросали в лицо: «Вам ведь уже сказали, гражданка!..»

Иван Иваныч наконец дождался, пока со щек не схлынула жалкая бледность лишенца, распрямил плечи и ленивым, равнодушным перстом указал на костюм из белой шерсти. Все в этом магазине стоило невероятно дешево, и этот фантастический костюм — тоже. По представлениям Ивана Иваныча, это было самое аристократическое одеяние, в котором он не будет отличаться от расфранченных иностранцев с сигарами в зубах, в шляпах, смокингах и прочем...

В издательстве все были взвинчены. Все ждали открытия фестиваля. Никто толком не работал. Время от времени созывались короткие совещания, на которых директор или секретарь парткома наставляли снова и снова испуганных редакторов, как вести себя с иностранными гостями, не ударяя лицом в грязь и не оскорбляя советскую гордость. «Вы — работники идеологического фронта, — внушалось им, — вы — политические деятели. Будьте начеку. Иностранцам аплодируйте сдержанно, своим — с энтузиазмом. Пусть все видят...»

Наконец в прекрасный воскресный день Иван Иванович облачился в свой новый костюм из тонкой белой шерсти, на шею повязал шелковый с матовым отливом галстук, взбил еще пышную шевелюру, пригладил усики, глянул в зеркало и остался собой доволен. Худошавый симпатичный иностранец маячил перед ним. «Хорошо бы, наверное, сигару», — подумал он, слегка краснея. Но сигар у него не было. Пока он ехал в метро среди возбужденных москвичей, он все время твердил про себя знакомые ему английские слова и пытался составлять из них фразы. Он очень волновался, боясь попасть впросак перед заграничными гостями. Тут им руководили не какие-то там патриотические порывы, а обыкновенные практические чувства. Вдруг иностранец спросит: «А где у вас тут Арбат?» — или что-нибудь еще, городское и будничное, на своем неведомом языке. И конечно, хорошо бы легко и непринужденно ему ответить или самому спросить у какой-нибудь очаровательной англичанки или американки: «What is your name? I'm very glad to see you». Или, допустим, она спрашивает: «Who are you?» — а он отвечает: «I'm writer», то есть «Я писатель». И это звучало. Он посмотрел на публику в вагоне. Все были как будто принаряжены, но у всех почему-то, как ему показалось, были белые глаза, и они смотрели друг на друга и на него, ничего не видя, и это его удивило и даже ужаснуло.

Приближался центр. «Как же они будут двигаться?» — подумал Иван Иванович. Но двери раскрылись, и все вышли из вагона, весело переговариваясь.

И вот на Моховой он увидел первых иностранцев.

Правда, это все были какие-то второсортные иностранцы, не те, не те, что в смокингах и котелках. Юные,

в помятых, выцветших голубых штанах, в каких-то несусветных майках и блузках не первой свежести, разрисованных львиными мордами, какими-то символами, какими-то латинскими фразами. У многих на груди и на руках болтались и позвякивали непонятные цепочки и браслеты. У некоторых были чрезмерно длинные волосы и лица были прыщавы. Они громко разговаривали на неизвестном языке. Не было ни сигар, ни шляп. Они вразвалочку ступали по асфальту, обутые в не слишком новую, заметно стоптанную спортивную обувь. Они улыбались, разглядывая Москву, а то и хохотали направо, а то и целовались при всех. Они медленно двигались к университету, а за ними, за ними переливалась в некотором отдалении громадная толпа москвичей, молчаливых и напрягшихся. Толпа тихо шелестела, разглядывая этих второсортных инопланетян, и Иван Иванович оказался в центре этой толпы и вытягивал шею вслед идущим впереди иностранным гостям. Так продолжалось с четверть часа, пока Иван Иванович вдруг не опомнился, не спохватился. Сначала человек, идущий рядом, казался ему похожим на себя: правда, он был не в белом костюме, но тоже с усиками и шею вытягивал так же, затем он увидел, что и другие точно так же вытянули шеи, и это заставило его спохватиться. Он остановился, толпа перекатилась дальше. Он увидел себя в ближайшем оконном стекле. Там он стоял в своем белом костюме, маленький, узкоплечий и никому не нужный. А где же иностранцы в смокингах и с сигарами? Где они, эти подлинные творения недоступного Запада, таинственные, чуждые, опасные, но притягательные и возбуждающие?

Пока он так стоял, размышляя обо всем об этом, вокруг него потихонечку образовалась новая толпа. Его разглядывали с любопытством и вполне доброжелательно. Наконец кто-то, набравшись смелости, спросил его: «Who are you?» Иван Иваныч понял, что его приняли за иностранца. Ему бы возгордиться или расхохотаться, но он густо покраснел и побежал к улице Герцена. Толпа двинулась было за ним, но отстала.

Теперь, куда он ни шел, всюду возникали группки иностранцев, сопровождаемые возбужденными москвичами. Совершался некий незапланированный карнавал. Слышался смех. Некоторые отчаянные смельчаки время от времени пытались разговориться с приезжими, но во всех этих попытках была заметна нервозность, ибо, с одной стороны, всех подогревали многочисленные братские лозунги и горделивые сердечные песни о дружбе и братстве, да и простое любопытство, но, с другой стороны, все хорошо помнили вчерашние инструктажи, и образы шпионов и диверсантов теснились в их распаленных головах.

Теперь того Ивана Иваныча нет и в помине. Тридцать пять лет пролетело — не шутка. Есть некий условный силуэт, искаженный временем фас, мудрость ли во взгляде или усталость — трудно понять. Да и иностранцы, кстати, тоже не те: не шумные толпы раскованных молодых студентов с пролетарскими наклонностями, а благообразные группы недоверчивых сытых людей, и не «Дружба! Дружба!» — этакие не наполненные смыслом заклинания на каждом шагу, а принюхивание, приглядывание, целесообразность... Какая уж тут дружба после танковых маршей по Европе, после скандальных

разоблачений шпионских центров чуть ли не в каждой стране, после лицезрения нашей нищеты... А тогда... С каким вожделием и страстью ждали приезда этих классовых братьев, голодных и исстрадавшихся, как мечтали пригреть их, накормить и широким жестом пригласить полюбоваться на здание университета или Выставку достижений... «И ведь вот что интересно, — говорил некий очередной Иван Иванович, снисходительно и убежденно, заглядывая в голубые американские глазки, — у вас, конечно, тоже есть небоскребы, знаем, знаем, но они у вас черные, закопченные, антигуманные, а это — наш университет, вы только посмотрите, весь на солнце! Весь для человека!..» «О, yes!» — искренне и с восторгом откликнулись американские уста.

У входа в университетский клуб бушевали страсти. И здесь топтались звонкоголосые второсортные гости, но среди них попадались уже и иные, уже давно не юные, молчаливые, со скучающими лицами. В серых пиджаках и при черных галстуках. «Наши», — догадался Иван Иванович.

Тут к нему подкатили двое в майках, расписанных лозунгами. Они что-то дружелюбно залопотали ему, улыбаясь.

— Я вас не понимаю, — выдавил Иван Иванович, растерявшись, хотя прекрасно знал отрепетированный ответ: «I don't understand».

«Нехорошо», — подумал он в отчаянии.

В университетском клубе предполагалась встреча с делегацией канадской молодежи, а после — концерт. Иван Иванович обрадовался такой возможности и шагнул к двери, но там двое в серых пиджаках и галстуках потребовали у него билет.

— А где продают билеты? — спросил Иван Иванович.

— По организациям, — холодно ответили ему.

Праздник померк. А тут еще какой-то долговязый чернокожий юноша все пытался обнять за плечи робеющую маленькую блондинку. Он хохотал и тянул к ней руку, а она ее отводила и строго приговаривала:

— Ну, ну, только без этого...

— Why? — удивлялся ухажер, снова пытаясь обнять.

— Только без этого! — пунцовея, повторяла она.

«Дура, — подумал Иван Иванович, — скажи «No», — но она знала только русский, а негр, судя по всему, только английский.

— Why, darling? — упрямо спрашивал он.

— Ну, ну, без этого, — твердила она, — я кому сказала!

И это продолжалось многократно, и Ивану Ивановичу стало противно то ли от негритянского ухаживания, то ли от ее тупости. А ведь не уходила, дура, и даже прижималась к нему крепеньким бедрышком, ханжа среденская!

В клубе прозвенели звонки, и все возбужденно потянулись к двери: и гости, и облагодетельствованные москвичи. И Иван Иванович, презрев унижение, двинулся тоже.

— Билет, — сказали ему жестко.

— Я из издательства, — строго сообщил Иван Иванович, — у меня задание, — и протянул удостоверение.

— Давай отсюда! — распорядился дежурный и оттолкнул Ивана Ивановича тренированной рукой...

И вот все гости вошли, но и все в серых костюмах и черных галстуках вошли тоже, и лишь случайные

неудачники толпились у входа без надежд. Последними проходили негр и его строптивая блондинка. Черная рука иностранца уже прочно покоилась на ее плече, а у самого входа он потянулся толстыми губами к ее целомудренной щеке.

— Надья... Надья... Надья...

— Джон! — рассердилась она.— Ну чего пристал!

Иван Иванович отправился восвояси. За углом его остановили две молодые дамы и спросили, нет ли у него лишнего билетика.

— Я вас не понимаю, — скороговоркой пробормотал Иван Иванович и суетливо побежал по тротуару в своем белом костюме. Дамы хихикнули ему вслед.

«Идиот», — подумал он, теряя себя окончательно.

Так, оплеванный, дошел он до Александровского сада и присел на скамью.

Начались летние легкие сумерки. Еще была отчетлива зелень листвы на темных багровых склонах кремлевской стены. За оградой шумели машины и кипели фестивальные страсти, а здесь стояла тишина, лишь иногда раздавалось шуршание да похрустывание, словно это минувшее, давнее и недавнее, пытается о себе напомнить, зацепиться как-то, воскликнуть, но соскальзывает с плеч Ивана Ивановича, не умея удержаться, и тонет, гаснет где-то совсем неподалеку, потому что ему не до него, он не то чтобы разучился — он просто и не умел с ним общаться. И стена эта перед ним была простым нагромождением грязных, ноздреватых кирпичей. И он поглядывал на нее равнодушным современным оком и размышлял о своих маленьких нынешних практических интересах. Когда-нибудь он еще вздрогнет от ощущения

тяжелой утраты, но, видимо, лишь тогда, когда и сам будет шуршать и похрустывать, удаляясь, пытаясь беспомощно зацепиться за чьи-нибудь сильные плечи, за доброе, внимательное соучастие...

Но он был еще сравнительно молод и весь во власти этого Часа, и искусственный фестивальный огонек казался ему большим пожаром. И тут к его скамье подплыли двое и уселись неподалеку. Молодой человек и девушка. Они только что познакомились — это было видно. Он, конечно, был англичанин, а она русская. Он блондин, а она темно-русая, трепещущая, каких множество в Москве в вечерние часы. Он настойчиво выпрашивал ее имя, а она не понимала его и краснела, но было видно, что общение ей приятно.

— Он спрашивает, как вас зовут, — гордо перевел Иван Иваныч и выдал себя.

— О! — воскликнул англичанин с благодарностью.

— Катя, — сказала она радостно.

— Kate, — перевел Иван Иваныч, поигрывая английскими интонациями.

— О! — воскликнул англичанин.

Тут Иван Иваныч подумал, что она очень хороша и было бы замечательно, если бы парень ушел, а она осталась...

Англичанина звали Майкл.

— I want to meet you tomorrow, — сказал он Кате, глядя на Ивана Иваныча.

— Я хочу с вами встретиться завтра, — сказал Иван Иваныч, потев от напряжения.

Она согласно кивнула.

— When? — спросил Майкл по-деловому.

— Когда? — спросил Иван Иванович у Кати. Краски на ней не было, как ни странно. Выразительные губы были в легкую оборочку, но юные и свежие, и влажные и серые глаза глядели не мигая, то ли слишком доверчиво, то ли слишком пронизательно. А Майкл, хоть и восклицал часто, показался холодным. «Неужели она ему верит?» — подумал Иван Иванович. — Так когда же? — спросил он у Кати, теряя интерес к происходящему.

— Завтра вечером в восемь, — сказала она, немного подумав.

Иван Иванович лихорадочно искал в памяти слово «вечер», наконец нашел и сказал:

— At eight o'clock, in the morning, tomorrow.

Майкл несколько удивился, пожал плечами, ответил как бы по складам:

— O'key...

Она помахала ручкой, тряхнула локонами и, холодно оглядев Ивана Ивановича, побежала из сада.

— Thank you, — сказал Майкл и пошел в противоположную сторону, — bye-bye...

И тут Иван Иванович вздрогнул, сообразив, что он позорно ошибся, перепутав «утро» и «вечер». Он очень взволновался и по присущему ему благородству поклялся прийти сюда утром и объяснить одуроченному англичанину, что свидание состоится вечером. Переполненный клятвами, он отправился к дому и тут по дороге вообразил, как сам приедет завтра вечером и встретит Катю. Она не дождется того английского прощельги и обрадуется, увидев вчерашнего знакомого, и они вместе посмеются над прыщавым иностранцем. «А почему вы оказались здесь?» — спросит она. «Я всегда прихожу

сюда по сумеркам», — скажет он таинственно. Затем она... нет, он... И тут ее личико заколебалось и растаяло.

На следующий день, собираясь в издательство, он мельком вспомнил обо всем об этом, но думать было лень.

В издательстве на доске объявлений красовалась программа выступлений по городу гостей фестиваля. Было множество концертов по числу стран: и американцы, и французы, и англичане, и канадцы, и испанцы, и итальянцы, и многие другие, но в издательстве билеты были только на алжирцев и болгар.

Ивана Иваныча это глубоко оскорбило, но он не стал писать протестующих писем и скандалить с организаторами фестиваля. Конечно, если бы в те годы он знал, что известно мне сегодня, не поручусь, что дело обернулось бы столь просто, но тогда, в пятьдесят седьмом, для него оно обернулось именно так. Не в его характере было протестовать против предначертаний высших сил. Да к тому же привычнее было проглотить обиду, чем докапываться до небезопасной истины.

— Не забывайте о бдительности, — напомнил в один из фестивальных дней секретарь парткома, усмехнувшись, — берегите источники воды.

Ивану Иванычу не понравилась эта усмешка, он ничего не понял и стал переспрашивать: «Какой воды? Какой воды?..» — и столкнулся со взглядом секретаря, полным тоски и оскорбительной снисходительности одновременно. И это еще больше сбивало с толку: эта тоска и усмешка на аккуратных губах.

В довершение ко всему его неожиданно пригласил директор издательства и торжественно сообщил, что Иван

Иваныч включен в состав делегации ЦК комсомола для поездки на целину по бригадам. В связи с этим он должен был явиться к инструктору Центрального Комитета товарищу Савельевой, чтобы себя показать и выслушать напутственные слова. Иван Иваныч нарядился в свой белый неотразимый костюм, подбил чубчик и отправился на бывшую Маросейку.

По всему, инструктор Савельева была его ровесница. Ей было слегка за тридцать. Он-то представлял, что увидит партийного сухаря, в галстуке и с прямым пробормом, а она была ну просто хороша, в модном платье, с достаточно вольной прической, и с перстнем на розовом пальце, и с мушкой на белой щеке. И Иван Иваныч взволновался и, утешая себя, подумал: «Видывали и получше», — и почтительно поклонился. Однако она оставила без внимания его мужественный сигнал, а может быть, и притворилась, во всяком случае взгляд ее был строг, да и служебные интонации ни на что такое не позволяли рассчитывать. Она оглядела Ивана Иваныча слишком демонстративно и не слишком сердечно, как некогда, бывало, командир батареи оглядывал его, такого тщедушного, с кривыми ножками в обмотках и в помятой пилотке на стриженной голове. Нет, ужаса не было в ее взгляде, но были сомнение и неприязнь. Слава богу, она была откровенна и спросила:

— Вы что, так и намерены ехать на целину в этом наряде?

Иван Иваныч был вопросом смущен и даже обижен. Он хотел спросить, чем, мол, ей не понравился его белый костюм из тонкой шерсти, но, конечно, не спросил, потому что понимал, что предстоит серьезный

разговор и его нельзя сводить к обсуждению гардероба, а может быть, душа затрепетала, оказавшись перед дубовым столом.

— В этом наряде? — повторила она.

— Да, — прохрипел он, пожимая плечами.

Ее сочные губы как-то потускнели, глаза округлились.

— Но там же рабочие ребята и девчата, — сказала она, не скрывая раздражения. — Неужели у вас нет чего-нибудь спортивного?

— Нет, — сказал он извиняющимся тоном.

Внезапно что-то промелькнуло в ее лице, что-то мягкое, даже показалось, что она вот-вот улыбнется, но это лишь показалось.

— Странно, — сказала она, — вы же пропагандист, вы же коммунист...

«Какой я, к черту, пропагандист!» — подумал он и даже хотел пошутить и сказать, что он гитарист или что-нибудь в этом роде, но даже мушка на ее щеке не располагала к шуткам.

Кто-то скребнулся в тяжелую дверь, и приоткрыл ее, и протек в кабинет, этакий в черном костюмчике, в белоснежной сорочке, в черном галстуке, и проскользил к столу, протягивая товарищу Савельевой листок, улегшийся перед ее глазами, а сам застыл в отдалении в некотором полупоклончике, не замечая Ивана Ивановича. Ее точеная рука с перстнем прошла по листку, оставив на нем зигзаг автографа, и листок, словно благодетельствованный, словно оплодотворенный, взлетел над столом и удалился из кабинета вслед за черным костюмом...

Тут он вспомнил о маме, которая вот так же поджимала губы, когда находила, что его внешний вид не соответствует, ну, допустим, партийным нормам, слишком вызывающ, что ли... Или, к примеру, он сомневался в правомерности классовой борьбы, или еще чего-то там, и тут мама сжимала губы, и холодный, неотвратимый огонек вспыхивал в ее карих глазах...

— А твои семнадцать каторжных лет? — спрашивал он. — Это тоже историческая логика?

— Это не имеет отношения к нашим идеалам, — бросала она, и губы становились белее и еще жестче.

Правда, у мамы был пробор на прямой ряд, а не модная прическа, как у инструктора Савельевой, а уж о перстне и говорить нечего.

— Вы можете идти, — сказала Савельева безразлично, — мы известим вас.

Он вышел, понимая, что никуда не поедет. И обрадовался.

5

До Ивана Иваныча начали доходить слухи, что его песни распевают по студенческим общежитиям. Ему это было лестно и странно, потому что он всегда видел перед собой своими почитателями ровесников, то есть людей, обоженных и тридцать седьмым, и войной, имеющих общий с ним опыт, достаточно печальный и даже трагический, а тут вдруг молодые люди с пушкой на губах... Но как бы там ни было, он ловил эти слухи и, видимо, как-то пытался соразмерить свою жизнь с новыми

обстоятельствами. А новые обстоятельства не заставили себя долго ждать.

И вот однажды раздался звонок из районной библиотеки, расположенной где-то у метро «Сокол», и его пригласили на встречу с читателями.

В назначенное время он подъехал к библиотеке на такси. То есть он не совсем подъехал, а вынужден был остановить машину далеко от входа, ибо пространство перед домом было забито людьми все больше молодыми. Толпа была шумная, горячая. Многие были с гитарами. Они подступили к библиотечному крыльцу, к самым дверям, в которых были выбиты стекла и где два утомленных, недоумевающих милиционера загораживали обезображенный вход.

Толпа гудела. Слышались гитарные переборы. До Ивана Ивановича донеслись знакомые мелодии — напевали его песни. Прижимая гитару к груди, он пробивался ко входу. Никто его, конечно, не узнавал: в лицо его не знали. За стеклами библиотечных окон маячили испуганные лица счастливчиков, успевших до погрома пробиться в помещение. Наконец Ивану Ивановичу удалось добратся до крыльца. Нет, не недоумение было написано на лицах милиционеров у разбитой двери, а гнев и жестокость. Они перегородили дорогу Ивану Ивановичу.

— Меня там ждут, — сказал Иван Иванович строго.

Они оглядели его мутными глазами. Толпа замерла.

— Ух ты, — сказал один из милиционеров, — его там ждут...

— Они собрались на встречу со мной, — заявил он гордо.

Милиционеры дружно оттолкнули его.

— Я Отар Отарыч! — крикнул он.

— Давай иди отсюда! — распорядился один из стражей.

— Да это же меня ждут, — выдавил Иван Иванович, — я Отар Отарыч...

Из толпы наблюдали с интересом: почти каждый прошел этот путь. Кто-то засмеялся. Смех почему-то пуше распалил милиционеров. Они снова оттолкнули Ивана Ивановича. Из разбитых библиотечных дверей высунулась бледная, растрепанная женщина. Она молча и с ужасом наблюдала, как милиционеры сталкивают Ивана Ивановича с крыльца.

— Где ваша заведующая? — успел крикнуть Иван Иванович и полетел в толпу.

— Ловкач, — сказал кто-то, и все в толпе снова рассмеялись.

«Если бы вы знали, что я и есть Отар Отарыч, вы бы меня на руках внесли в библиотеку», — хотел крикнуть Иван Иванович, но, конечно, не крикнул, а быстро пошел прочь, почти побежал.

На следующий день он позвонил в библиотеку. Заведующая говорила с ним загробным голосом. В частности, она сказала:

— Мы допустили ошибку: оповестили, знаете, актив, а после взяли да и повесили объявление у метро, хотели как лучше... ну и вот такой кошмар...

— Жаль, — сказал Иван Иванович нравоучительно, — поторопились, — но с трудом скрыл ликование, а когда повесил трубку, долго сидел зажмурившись.

Это был опыт, первый и сладостный, но эйфория развеялась быстро, потому что Иван Иванович был уже не

слишком молод и мог представить себя со стороны, и он увидел, как его сталкивают с крыльца и какой он неказистый и нелепый со своей гитарой... Он вдруг понял, как все относительно и неустойчиво в этом мире, и, что вполне вероятно, когда-нибудь его столкнут не потому, что не узнают, а просто потому, что нужен будет уже не Иван Иванов, а какой-нибудь Петр Петрович, или Сергей Сергеевич, или даже Эдуард Эдуардыч.

ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ

Вспоминаю, как встречал маму в 1947 году.

Мы были в разлуке десять лет. Расставалась она с двенадцатилетним мальчиком, а тут был уже двадцатидвухлетний молодой человек, студент университета, уже отвоёвавший, раненый, многое хлебнувший, хотя, как теперь вспоминается, несколько поверхностный, легкомысленный, что ли. Что-то такое неосновательное просвечивало во мне, как ни странно.

Мы были в разлуке десять лет. Ну, бывшие тогда обстоятельства, причины тех горестных утрат, длительных разлук — теперь все это хорошо известно, теперь мы все это хорошо понимаем, объясняем, смотрим на это как на исторический факт, иногда даже забывая, что сами во всем этом варились, что сами были участниками тех событий, что нас самих это задевало, даже ударило и ранило...

Тогда десять лет были для меня громадным сроком, не то что теперь: годы мелькают, что-то пощелкивает, словно в автомате, так что к вечеру, глядишь, и еще нескольких как не бывало, а тогда почти вся жизнь укладывалась в этот срок и казалась бесконечной, и я

думал, что если я успел столько прожить и стать взрослым, то уж мама моя — вовсе седая, сухонькая старушка... И становилось страшно.

Обстоятельства моей тогдашней жизни были вот какие. Я вернулся с фронта, и поступил в Тбилисский университет, и жил в комнате первого этажа, которую мне оставила моя тетья, переехавшая в другой город. Учился я на филологическом факультете, писал подражательные стихи, жил, как мог жить одинокий студент в послевоенные годы — не загадывая на будущее, без денег, без отчаяния. Влюблялся, сгорал, и это помогало забывать о голоде, и думал, бодрясь: жив-здоров, чего же больше? Лишь тайну черного цвета, горькую тайну моей разлуки хранил в глубине души, вспоминая о маме.

Было несколько фотографий, на которых она молодая, с большими карими глазами; гладко зачесанные волосы с пучком на затылке, темное платье с белым воротником, строгое лицо, но губы вот-вот должны дрогнуть в улыбке. Ну, еще запомнились интонации, манера смеяться, какие-то ускользающие ласковые слова, всякие мелочи. Я любил этот потухающий образ, страдал в разлуке, но был он для меня не более чем символ, милый и призрачный, высокопарный и неконкретный.

За стеной моей комнаты жил сосед Меладзе, пожилой, грузный, с растопыренными ушами, из которых лезла седая шерсть, неряшливый, насупленный, неразговорчивый, особенно со мной, словно боялся, что я попрошу займы. Возвращался с работы неизвестным образом, никто не видел его входящим в двери. Сейчас мне кажется, что он влетал в форточку и вылетал из нее вместе со своим потертым коричневым портфелем. Кем он был,

чем занимался — теперь я этого не помню, да и тогда, наверное, не знал. Он отсиживался в своей комнате, почти не выходя. Что он там делал?

Мы были одиноки — и он, и я.

Думаю, что ему несладко жилось по соседству со мной. Ко мне иногда вваливались компании таких же, как я, голодных, торопливых, возбужденных, и девочки приходили, и мы пекли на сковороде сухие лепешки из кукурузной муки, откупоривали бутылки дешевого вина, и сквозь тонкую стену к Меладзе проникали крики, и смех, и звон стаканов, шепот и поцелуи, и он, как видно по всему, с отвращением терпел нашу возню и презирал меня.

Тогда я не умел оценить меру его терпения и высокое благородство: ни слова упрека не сорвалось с его уст. Он просто не замечал меня, не разговаривал со мной, и, если я иногда по-соседски просил у него соли, или спичек, или иголку с ниткой, он не отказывал мне, но, вручая, молчал и смотрел в сторону.

В тот знаменательный день я возвратился домой поздно. Уж и не помню, где я шлялся. Он встретил меня в кухне-прихожей и протянул сложенный листок.

— Телеграмма, — сказал он шепотом.

Телеграмма была из Караганды. Она обожгла руки. «Встречай пятьсот первым целую мама». Меладзе топтался рядом, сопел и наблюдал за мной. Я ни с того ни с сего зажег керосинку, потом погасил ее и поставил чайник. Затем принялся подметать у своего кухонного столика, но не домел и принялся скрести клеенку...

Вот и свершилось самое неправдоподобное, да как внезапно! Привычный символ приобрел четкие очертания.

То, о чем я безнадежно мечтал, что оплакивал тайком по ночам в одиночестве, стало почти осязаемым.

— Караганда? — прошелестел Меладзе.

— Да, — сказал я печально.

Он горестно поцокал языком и шумно вздохнул.

— Какой-то пятьсот первый поезд, — сказал я, — наверное, ошибка. Разве поезда имеют такие номера?

— Нэт, — шепнул он, — нэ ошибка. Пиатсот первый — значит пиатсот веселий.

— Почему веселый? — не понял я.

— Товарные вагоны, кацо. Дольго идет — всем весело. — И снова поцокал.

Ночью заснуть я не мог. Меладзе покашливал за стеной. Утром я отправился на вокзал.

Ужасная мысль, что я не узнаю маму, преследовала меня, пока я стремительно преодолевал Верийский спуск и летел дальше по улице Жореса к вокзалу, и я старался представить себя среди вагонов и толпы, и там, в самом бурном ее водовороте, мелькала седенькая старушка, и мы бросались друг к другу. Потом мы ехали домой на десятом трамвае, мы ужинали, и я отчетливо видел, как приятны ей цивилизация, и покой, и новые времена, и новые окрестности, и все, что я буду ей рассказывать, и все, что я покажу, о чем она забыла, успела забыть, отвыкнуть, плача над моими редкими письмами...

Поезд под странным номером действительно существовал. Он двигался вне расписания, и точное время его прибытия было тайной даже для диспетчеров дороги. Но его тем не менее ждали и даже надеялись, что к вечеру он прибудет в Тбилиси. Я вернулся домой. Мыл полы, выстирал единственную свою скатерть и единственное

свое полотенце, а сам все время пытался себе представить этот миг, то есть как мы встретимся с мамой и смогу ли я сразу узнать ее — нынешнюю, постаревшую, сгорбленную, седую, а если не узнаю, ну не узнаю и пробегу мимо, и она будет меня высматривать в вокзальной толпе и сокрушаться, или она поймет по моим глазам, что я не узнал ее, и как это все усугубит ее рану...

К четырем часам я снова был на вокзале, но пятьсот веселый затерялся в пространстве. Теперь его ждали в полночь. Я воротился домой и, чтоб несколько унять лихорадку, которая меня охватила, принялся гладить скатерть и полотенце, подмел комнату, вытряс коврик, снова подмел комнату... За окнами был май. И вновь я полетел на вокзал в десятом номере трамвая, в окружении чужих матерей и их сыновей, не подозревающих о моем празднике, и вновь с пламенной надеждой возвращаться обратно уже не в одиночестве, обнимая худенькие плечи... Я знал, что, когда подойдет к перрону этот бесконечный состав, мне предстоит не раз пробежаться вдоль него, и я должен буду в тысячной толпе найти свою маму, узнать, и обнять, и прижаться к ней, узнать ее среди тысяч других пассажиров и встречающих, маленькую, седенькую, хрупкую, изможденную...

И вот я встречу ее. Мы поужинаем дома. Вдвоем. Она будет рассказывать о своей жизни, а я — о своей. Мы не будем углубляться, искать причины и тех, кто виновен. Ну случилось, ну произошло, а теперь мы снова вместе...

...А потом я поведу ее в кино, и пусть она отдохнет там душою. И фильм я выбрал. То есть даже не выбрал, а был он один-единственный в Тбилиси, по которому

все сходили с ума. Это был трофейный фильм «Девушка моей мечты» с потрясающей, неотразимой Марикой Рёкк в главной роли. Нормальная жизнь в городе приостановилась: все говорили о фильме, бегали на него каждую свободную минуту, по улицам насвистывали мелодии из этого фильма, и из распахнутых окон доносились звуки фортепиано все с теми же мотивчиками, завораживавшими слух тбилисцев. Фильм этот был цветной, с танцами и пением, с любовными приключениями, с комическими ситуациями. Яркое, шумное шоу, поражающее воображение зрителей в трудные послевоенные годы. Я лично умудрился побывать на нем около пятнадцати раз, и был тайно влюблен в роскошную, ослепительно улыбающуюся Марику, и, хотя знал этот фильм наизусть, всякий раз будто заново видел его и переживал за главных героев. И я не случайно подумал тогда, что с помощью его моя мама могла бы вернуться к жизни после десяти лет пустыни страданий и безнадежности. Она увидит все это, думал я, и хоть на время отвлечется от своих скорбных мыслей, и насладится лицезрением прекрасного, и напитается миром, спокойствием, благополучием, музыкой, и это все вернет ее к жизни, к любви и ко мне... А героиня? Молодая женщина, источающая счастье. Природа была щедра и наделила ее упругим и здоровым телом, золотистой кожей, длинными, безукоризненными ногами, завораживающим бюстом. Она распахивала синие смеющиеся глаза, в которых с наслаждением тонули чувственные тбилисцы, и улыбалась, демонстрируя совершенный рот, и танцевала, окруженная крепкими, горячими, беспечными красавцами. Она сопровождала меня повсюду и даже усаживалась на старенький мой

топчан, положив ногу на ногу, уставившись в меня синими глазами, благоухая неведомыми ароматами и австрийским здоровьем. Я, конечно, и думать не смел унижить ее грубым моим бытом, или послевоенными печальями, или намеками на горькую карагандинскую пустыню, перерезанную колючей проволокой. Она тем и была хороша, что даже и не подозревала о существовании этих перенаселенных пустынь, столь несовместимых с ее прекрасным голубым Дунаем, на берегах которого она танцевала в счастливом неведенье. Несправедливость и горечь не касались ее. Пусть мы... нам... но не она, не ей. Я хранил ее как драгоценный камень и время от времени вытаскивал из тайника, чтобы полюбоваться, впиваясь в экраны кинотеатров, пропахших карболкой.

На привокзальной площади стоял оглушительный гомон. Все пространство перед вокзалом было запружено толпой. Чемоданы и узлы громоздились на асфальте, смех, и плач, и крики, и острые слова... Я понял, что опоздал, но, видимо, ненадолго, и еще была надежда... Я спросил сидящих на вещах людей, не пятьсот ли первым они прибыли. Но они оказались из Батуми. От сердца отлегло. Я пробился в справочное сквозь толпу и крикнул о пятьсот проклятом, но та, в окошке, задерганная и оглушенная, долго ничего не понимала, отвечая сразу нескольким, а когда поняла наконец, крикнула мне с ожесточением, покрываясь розовыми пятнами, что пятьсот первый пришел час назад, давно пришел этот сумасшедший поезд, уже никого нету, все вышли час назад, и уже давно никого нету...

На привокзальной площади, похожей на воскресный базар, на груде чемоданов и тюков сидела сгорбленная

старуха и беспомощно озиралась по сторонам. Я направился к ней. Что-то знакомое показалось мне в чертах ее лица. Я медленно переставлял одеревеневшие ноги. Она заметила меня, подозрительно оглядела и маленькую ручку опустила на ближайший тюк.

Я отправился пешком к дому в надежде догнать маму по пути. Но так и дошел до самых дверей своего дома, а ее не встретил. В комнате было пусто и тихо. За стеной кашлянул Меладзе. Надо было снова бежать по дороге к вокзалу, и я вышел и на ближайшем углу увидел маму!.. Она медленно подходила к дому. В руке у нее был фанерный сундучок. Все та же, высокая и стройная, какой помнилась, в сером ситцевом платьице, помятом и нелепом. Сильная, загорелая, молодая. Помню, как я был счастлив, видя ее такой, а не сторбленной и старой.

Были ранние сумерки. Она обнимала меня, терлась щекой о мою щеку. Сундучок стоял на тротуаре. Прохожие не обращали на нас внимания: в Тбилиси, где все целуются при встречах по многу раз на дню, ничего необычного не было в наших объятиях.

— Вот ты какой! — приговаривала она. — Вот ты какой, мой мальчик, мой мальчик, — и это было как раньше, как когда-то...

Мы медленно направились к дому. Я обнял ее плечи, и мне захотелось спросить, ну как спрашивают у только что приехавшего: «Ну как ты? Как там жилось?..» — но спохватился и промолчал.

Мы вошли в дом. В комнату. Я усадил ее на старенький диван. За стеной кашлянул Меладзе. Я усадил ее и заглянул ей в глаза. Эти большие, карие, миндалевидные глаза были теперь совсем рядом. Я заглянул

в них... Готовясь к встрече, я думал, что будет много слез и горьких причитаний, и я приготовил такую фразу, чтобы утешить ее: «Мамочка, ты же видишь — я здоров, все хорошо у меня, и ты здоровая и такая же красивая, и все теперь будет хорошо, ты вернулась, и мы снова вместе...» Я повторял про себя эти слова многократно, готовясь к первым объятиям, к первым слезам, к тому, что бывает после десятилетней разлуки... И вот я заглянул в ее глаза. Они были сухими и отрешенными, она смотрела на меня, но меня не видела, лицо застыло, окаменело, губы слегка приоткрылись, сильные загорелые руки безвольно лежали на коленях. Она ничего не говорила, лишь изредка поддакивала моей утешительной болтовне, пустым разглагольствованиям о чем угодно, лишь бы не о том, что было написано на ее лице... «Уж лучше бы она рыдала», — подумал я. Она закурила дешевую папиросу. Провела ладонью по моей голове...

— Сейчас мы поедим, — сказал я бодро. — Ты хочешь есть?

— Что? — спросила она.

— Хочешь есть? Ты ведь с дороги.

— Я? — не поняла она.

— Ты, — засмеялся я, — конечно ты...

— Да, — сказала она покорно, — а ты? — И кажется, даже улыбнулась, но продолжала сидеть все так же — руки на коленях...

Я выскочил на кухню, зажег керосинку, замесил остатки кукурузной муки. Нарезал небольшой кусочек имеретинского сыра, чудом сохранившийся среди моих ничтожных запасов. Я разложил все на столе перед мамой, чтобы она порадовалась, встрепенулась: вот какой

у нее сын, и какой у него дом, и как у него все получается, и что мы сильнее обстоятельств, мы их вот так пере-силиваем мужеством и любовью. Я метался перед ней, но она оставалась безучастна и только курила одну папиросу за другой... Затем закипел чайник, и я пристроил его на столе. Я впервые управлялся так ловко, так быстро, так аккуратно с посудой, с керосинкой, с нехитрой снедью: пусть она видит, что со мной не пропадешь. Жизнь продолжается, продолжается... Конечно, после всего, что она перенесла, вдали от дома, от меня... сразу ведь ничего не восстановить, но постепенно, терпеливо...

Когда я снимал с огня лепешки, скрипнула дверь, и Меладзе засопел у меня за спиной. Он протягивал мне миску с лобио.

— Что вы, — сказал я, — у нас все есть...

— Дэржи, кацо, — сказал он угрюмо, — я знаю...

Я взял у него миску, но он не уходил.

— Пойдемте, — сказал я, — я познакомлю вас с моей мамой, — и распахнул дверь.

Мама все так же сидела, положив руки на колени. Я думал — при виде гостя она встанет и улыбнется, как это принято: очень приятно, очень приятно... и назовет себя, но она молча протянула загорелую ладонь и снова опустила ее на колени.

— Присаживайтесь, — сказал я и подставил ему стул.

Он уселся напротив. Он тоже положил руки на свои колени. Сумерки густели. На фоне окна они казались неподвижными статуями, застыв в одинаковых позах, и профили их казались мне сходными.

О чем они говорили и говорили ли, пока я выбегал в кухню, не знаю. Из комнаты не доносилось ни звука.

Когда я вернулся, я заметил, что руки мамы уже не покоились на коленях и вся она подалась немного вперед, словно прислушиваясь.

— Батык? — произнес в тишине Меладзе.

Мама посмотрела на меня, потом сказала:

— Жарык... — и смущенно улыбнулась.

Пока я носился из кухни в комнату и обратно, они продолжали обмениваться короткими непонятными словами, при этом почти шепотом, одними губами. Меладзе цокал языком и качал головой. Я вспомнил, что Жарык — это станция, возле которой находилась мама, откуда иногда долетали до меня ее письма, из которых я узнавал, что она здорова, бодр и все у нее замечательно, только ты учишься, учишься хорошенько, я тебя очень прошу, сыночек... и туда я отправлял известия о себе самом, о том, что я здоров и бодр, и все у меня хорошо, и я работаю над статьей о Пушкине, меня все хвалят, ты за меня не беспокойся, и уверен, что все в конце концов образуется и мы встретимся...

И вот мы встретились, и сейчас она спросит о статье и о других безответственных баснях...

Меладзе отказался от чая и исчез. Мама впервые посмотрела на меня осознанно.

— Он что, — спросил я шепотом, — тоже там был?

— Кто? — спросила она.

— Ну кто, кто... Меладзе...

— Меладзе? — удивилась она и посмотрела в окно. — Кто такой Меладзе?

— Ну как кто? — не сдержался я. — Мама, ты меня слышишь? Меладзе... мой сосед, с которым я тебя сейчас познакомил... Он тоже был... там?

— Тише, тише, — поморщилась она. — Не надо об этом, сыночек...

О Меладзе, сопящий и топчущийся в одиночестве, ты тоже ведь когда-то был строен, как кизиловая ветвь, и твое юношеское лицо с горячими и жгучими усиками озарялось миллионами желаний. Губы поблекли, усы поникли, вдохновенные щечки опали. Я смеялся над тобой и исподтишка показывал тебя своим друзьям: вот, мол, дети, если не будете есть манную кашу, будете похожи на этого дядю... И мы, пока еще пухлогубые и остроглазые, диву давались и закатывались, видя, как ты неуклюже топчешься, как настороженно высовываешься из дверей... Чего ты боялся, Меладзе?

Мы пили чай. Я хотел спросить, как ей там жилось, но испугался. И стал торопливо врать о своем житье. Она как будто слушала, кивала, изображала на лице интерес, и улыбалась, и медленно жевала. Провела ладонью по горячему чайнику, посмотрела на выпачканную ладонь...

— Да ничего, — принялся я утешать ее, — я вымою чайник, это чепуха. На керосинке, знаешь, всегда коптится.

— Бедный мой сыночек, — сказала в пространство и вдруг заплакала.

Я ее успокаивал, утешал: подумаешь, чайник. Она отерла слезы, отодвинула пустую чашку, смущенно улыбнулась.

— Все, все, — сказала, — не обращай внимания, — и закурила.

Каково-то ей там было, подумал я, там, среди солончаков, в разлуке?..

Меладзе кашлянул за стеной.

Ничего, подумал я, все наладится. Допьем чай, и я поведу ее в кино. Она еще не знает, что предстоит ей увидеть. Вдруг после всего, что было, голубые волны, музыка, радость, солнце и Марика Рёкк, подумал я, зажмурившись, и это после всего, что было... Вот возьми самое яркое, самое восхитительное. Самое драгоценное из того, что у меня есть, я дарю тебе это, подумал я, задыхаясь под тяжестью собственной щедрости... И тут я сказал ей:

— А знаешь, у меня есть для тебя сюрприз, но для этого мы должны выйти из дому и немного пройтись...

— Выйти из дому? — И она поморщилась.

— Не бойся, — засмеялся я. — Теперь ничего не бойся. Ты увидишь чудо, честное слово! Это такое чудо, которое можно прописать вместо лекарства... Ты меня слышишь? Пойдем, пойдем, пожалуйста...

Она покорно поднялась.

Мы шли по вечернему Тбилиси. Мне снова захотелось спросить у нее, как она там жила, но не спросил: так все хорошо складывалось, такой был мягкий, медовый вечер, и я был счастлив идти рядом с ней и поддерживать ее под локоть. Она была стройна и красива, моя мама, даже в этом сером помятом ситцевом, таком не тбилисском платье, даже в стоптанных сандалиях неизвестной формы. Прямо оттуда, подумал я, и — сюда, в это ласковое тепло, в свет сквозь листву платанов, в шум благополучной толпы... И еще я подумал, что, конечно, нужно было заставить ее переодеться, как-то ее прихорошить, потому что, ну что она так, в том же, в чем была там... Пора позабывать.

Я вел ее по проспекту Руставели, и она покорно шла рядом, ни о чем не спрашивая. Пока я покупал билеты, она неподвижно стояла у стены, глядя в пол. Я кивнул ей от кассы — она, кажется, улыбнулась.

Мы сидели в душном зале, и я сказал ей:

— Сейчас ты увидишь чудо, это так красиво, что нельзя передать словами... Послушай, а там вам что-нибудь показывали?

— Что? — спросила она.

— Ну, какие-нибудь фильмы... — и понял, что говорю глупость, — хотя бы изредка...

— Нам? — спросила она и засмеялась тихонечко.

— Мама, — зашептал я с раздражением, — ну что с тобой? Ну, я спросил... Там, там, где ты была...

— Ну, конечно, — проговорила она отрешенно.

— Хорошо, что мы снова вместе, — сказал я, словно опытный миротворец, предвкушая наслаждение.

— Да, да, — шепнула она о чем-то своем.

...Я смотрел то на экран, то на маму, я делился с мамой своим богатством, я дарил ей самое лучшее, что у меня было, зал заходил в восторге и хохоте, он стоял, рукоплескал, подмурлыкивал песенки... Мама моя сидела опустив голову. Руки ее лежали на коленях.

— Правда, здорово! — шепнул я. — Ты смотри, смотри, сейчас будет самое интересное... Смотри же, мама!..

Впрочем, в который уже раз закопошилась в моем скользком и шатком сознании неправдоподобная мысль, что невозможно совместить те обстоятельства с этим ослепительным австрийским карнавалом на берегах прекрасного голубого Дуная, закопошилась и тут же погасла...

Мама услышала мое восклицание, подняла голову, ничего не увидела и поникла вновь. Прекрасная обнаженная Марика сидела в бочке, наполненной мыльной пеной. Она мылась как ни в чем не бывало. Зал благоговел и гудел от восторга. Я хохотал и с надеждой заглядывал в глаза маме. Она даже попыталась вежливо улыбнуться мне в ответ, но у нее ничего не получилось.

— Давай уйдем отсюда, — внезапно шепнула она.

— Сейчас же самое интересное, — сказал я с досадой.

— Пожалуйста, давай уйдем...

Мы медленно двигались к дому. Молчали. Она ни о чем не расспрашивала, даже об университете, как следовало бы матери этого мира.

После пышных и ярких нарядов несравненной Марики мамино платье казалось еще серей и оскорбительней.

— Ты такая загорелая, — сказал я, — такая красивая. Я думал увидеть старушку, а ты такая красивая...

— Вот как, — сказала она без интереса и погладила меня по руке. В комнате она устроилась на прежнем стуле, сидела, уставившись перед собой, положив ладони на колени, пока я лихорадочно устраивал ночлег. Себе — на топчане, ей — на единственной кровати. Она попыталась сопротивляться, она хотела, чтобы я спал на кровати, потому что она любит на топчане, да, да, нет, нет, я тебя очень прошу, ты должен меня слушаться (попыталась придать своему голосу шутливые интонации), я мама... ты должен слушаться... я мама... — и затем, ни к кому не обращаясь, в пространство, — ма-ма... ма-ма...

Я вышел в кухню.

Меладзе в нарушение своих привычек сидел на табурете. Он смотрел на меня вопросительно.

— Повел ее в кино, — шепотом пожаловался я, — а она ушла с середины, не захотела...

— В кино? — удивился он. — Какое кино, кацо? Ей отдыхать надо...

— Она стала какая-то совсем другая, — сказал я. — Может быть, я чего-то не понимаю... Когда спрашиваю, она переспрашивает, как будто не слышит...

Он поцокал языком.

— Когда человек нэ хочит гаварить лишнее, — сказал он шепотом, — он гаварит мэдлэнно, долго, он думэят, панимаешь? Дума-эт... Ему нужна врэмья... У нэго тэперь привичка...

— Она мне боится сказать лишнее? — спросил я.

Он рассердился:

— Нэ тэбэ, нэ тэбэ, генацвале... Там, — он поднял вверх указательный палец, — там тэбя нэ било, там другие спрашивали, зачэм, почэму, панимаэш?

— Понимаю, — сказал я.

Я надеюсь на завтрашний день. Завтра все будет по-другому. Ей нужно сбросить с себя тяжелую ношу минувшего. Да, мамочка? Все забудется, все забудется, все забудется... Мы снова отправимся к берегам голубого Дуная, сливаясь с толпами, уже неотличимые от них, наслаждаясь красотой, молодостью, музыкой.... да, мамочка?..

— Купи ей фрукты... — сказал Меладзе.

— Какие фрукты? — не понял я.

— Черешня купи, черешня...

...Меж тем в сером платьице своем, ничем не покрывшись, свернувшись калачиком, мама устроилась на топчане. Она смотрела на меня, когда я вошел, и слегка улыбалась, так знакомо, просто, по-вечернему.

— Мама, — сказал я с укоризной, — на топчане буду спать я.

— Нет, нет, — сказала она с детским упрямством и засмеялась...

— Ты любишь черешню? — спросил я.

— Что? — не поняла она.

— Черешню ты любишь? Любишь черешню?

— Я? — спросила она...

ГЕНИЙ

Это было задолго до войны. Летом. Я жил у тети в Тбилиси. Мне было двенадцать лет. Как почти все в детстве и отрочестве, я пописывал стихи. Каждое стихотворение казалось мне замечательным. Я всякий раз читал вновь написанное дяде и тете. В поэзии они были не слишком сведущи, чтобы не сказать больше. Дядя работал бухгалтером, тетя была просвещенная домохозяйка. Но они очень меня любили и всякий раз, прослушав новое стихотворение, восторженно восклицали: «Гениально!»

Тетя кричала дяде: «Он гений!» Дядя радостно соглашался: «Еще бы, дорогая. Настоящий гений!» И это ведь все в моем присутствии, и у меня кружилась голова.

И вот однажды дядя меня спросил:

— А почему у тебя нет ни одной книги твоих стихов? У Пушкина сколько их было... и у Безыменского... А у тебя ни одной...

Действительно, подумал я, ни одной, но почему? И эта печальная несправедливость так меня возбудила, что я отправился в Союз писателей, на улицу Мачабели.

Стояла чудовишная тягучая жара, в Союзе писателей никого не было, и лишь один самый главный секретарь, на мое счастье, оказался в своем кабинете. Он захватил на минутку за какими-то бумагами, и в этот момент вошел я.

— Здравствуйте, — сказал я.

— О, здравствуйте, здравствуйте, — широко улыбаясь, сказал он. — Вы ко мне?

Я кивнул.

— О, садитесь, пожалуйста, садитесь, я вас слушаю!..

Я не удивился ни его доброжелательной улыбке, ни его восклицаниям и сказал:

— Вы знаете, дело в том, что я пишу стихи...

— О! — прошептал он.

— Мне хочется... я подумал: а почему бы мне не издать сборник стихов? Как у Пушкина или Безыменского...

Он как-то странно посмотрел на меня. Теперь, по прошествии стольких лет, я прекрасно понимаю природу этого взгляда и о чем он подумал, но тогда...

Он стоял не шевелясь, и какая-то странная улыбка кривила его лицо. Потом он слегка помотал головой и воскликнул:

— Книгу?! Вашу?! О, это замечательно!.. Это было бы прекрасно! — Потом помолчал, улыбка исчезла, и он сказал с грустью: — Но, видите ли, у нас трудности с этим... с бумагой... это самое... у нас кончилась бумага... ее, ну, просто нет... финита...

— А-а-а, — протянул я, не очень-то понимая, — может быть, я посоветуюсь с дядей?

Он проводил меня до дверей.

Дома за обедом я сказал как бы между прочим:

— А я был в Союзе писателей. Они там все очень обрадовались и сказали, что были бы счастливы издать мою книгу... но у них трудности с бумагой... просто ее нет...

— Бездельники, — сказала тетя.

— А сколько же нужно этой бумаги? — по-деловому спросил дядя.

— Не знаю, — сказал я, — я этого не знаю.

— Ну, — сказал он, — килограмма полтора у меня найдется. Ну, может, два...

Я пожал плечами.

На следующий день я побежал в Союз писателей, но там никого не было. И тот, самый главный, секретарь тоже, на его счастье, отсутствовал.

НА ТВЕРСКОМ БУЛЬВАРЕ

Еду по Тверскому бульвару. Везу в машине только что полученные авторские экземпляры своего исторического романа «Похождения Шипова». Настроение приподнятое. Книга издана приятно. Моя книга. Еду. Вдруг, уже сейчас не помню — но что-то такое на пути, что-то я объезжаю, какое-то неожиданное препятствие... А впереди — инспектор ГАИ, и он велит мне остановиться. Останавливаюсь.

Он подходит вразвалочку, берет под козырек. Капитан. Такой невысокий, плотный, аккуратный, непроницаемый и вежливый.

— Что же это вы? — говорит он. — Как же это так?.. Загляделись? Пожалуйста, ваши документы.

Я хорошо знаю, *что* за этой вежливостью. Он меня отчитает неизвестно за что, оштрафует, поглумится, дай-то бог, а ведь может и документы отобрать, и распать... Сейчас уже не помню, что произошло, помню только, что моей вины не было, но помню также, что понимал: все равно накажет. Уж если остановил — не отвертеться.

— Позвольте, — говорю я, — но ведь там был троллейбус... А я ведь не должен... и потом, ведь у поворота... а я же сзади...

Он слушает, не перебивает меня. Смотрит, куда я показываю нервной рукой. Губы поджаты, глаза прищурены.

— И потом, — говорю я, — вы только представьте...

И вдруг он говорит:

— Вы правы. Действительно. Этой детали я не учел, — и протягивает мне документы, в которые даже не заглянул.

Что же это такое?! Как это так?! Инспектор ГАИ, признавший себя неправым?! Я к этому не привык! Я не приспособлен! Что-то надо сделать... Как-то это отметить... Тут я вспоминаю, что у меня же экземпляры романа! О, инспектор!

— Погодите, — говорю я задыхаясь, — просто не верится, что инспектор ГАИ со мной согласился! Чудо!..

Он хмур, он смотрит, как я широко улыбаюсь, но его губы плотно сжаты.

— Вы знаете, — суетливо говорю я, — у меня только что вышел исторический роман, и я хочу подарить вам эту книгу.

Он разглядывает меня, чуть наклонив голову.

— Интересно, — говорит он, — интересно.

— Присядьте, пожалуйста, в машину, я вам надпишу...

Он устраивается на сиденье и берет в руки книгу.

— Интересно, — говорит он, перелистывая, — это о чем же?

— Это о Льве Толстом, — говорю я, — подлинное событие в его жизни.

— А, — говорит он, — о Толстом... Да... Это вы написали?

— Да-да, я автор, и мне хочется в знак нашей удивительной встречи подарить ее вам.

Он захлопывает книгу и протягивает ее мне.

— Сейчас, сейчас, — говорю я и тянусь за ручкой.

— Да нет, — говорит он, — эту книгу мне не надо.

— То есть как?! — смеюсь я, ничего не понимая.

— А вот так, — говорит он спокойно, — я про Толстого все читал. — И вылезает из машины.

И я вижу, как он уходит — плотный, аккуратный, короткошей, медлительный. И сапоги его блестят.

МЫШКА

Однажды зимним вечером я сидел в Переделкино у телевизора. Вдруг из-под дивана вышла мышь и уселась у моей ноги. Я закричал с отвращением, и она исчезла под диваном.

Покой рухнул. Я вспомнил прошлогоднее нашествие мышей, как я, забросив все дела, расставлял мышеловки, рассыпал отравленные зерна, выбрасывал на снег серые трупики, прятал пищу, брезговал к ней прикасаться... А они продолжали бесчинствовать. Их становилось все больше и больше. Они вскарабкивались по шторам, пищали, повсюду оставляли свои отвратительные следы и плодились за шкафом, и розовенькие их наследники время от времени выползали оттуда на свет божий...

Так продолжалось с месяц. Я выдохся, опустил руки. Вдруг они исчезли. Специалисты объяснили, что это был какой-то специфический мышинный год.

И вот теперь снова?!

Я замер на диване, и она появилась снова и снова уселась у моей ноги. Я шевельнул ногой — она исчезла. Страх и отвращение бушевали во мне. Я вытащил из

чулана мышеловку, зарядил ее и поставил в темном углу. Покоя снова не было.

Я плохо спал. Весь следующий день она не появлялась. Но вечером, едва я уселся перед телевизором, она возникла. Она сидела у моей ноги, спиной ко мне, и не отрываясь глядела на экран. Я шевельнул ногой — она нехотя удалилась. Я замер — она вышла из-под дивана и уселась на прежнее место. Странно, но я уже не испытывал отвращения. Напротив, какой-то интерес, какое-то ненавязчивое любопытство проснулось во мне. Что это такое? Что за поза у нее? Чего она хочет?..

Я наклонился, чтобы к ней присмотреться, но она исчезла.

В течение следующих дней все совершалось по уже установившемуся распорядку. Я постепенно разглядел ее. Она была хороша! Вдруг я понял, что она хороша. Я видел ее маленькие сверкающие черные глазки и изысканную мордочку, и светло-серую шубку, и выразительный хвостик крендельком. Она привыкала. Она постепенно перестала исчезать под диваном, а просто чуть-чуть деликатно отодвигалась в сторону, стоило мне пошевелиться.

Я положил на пол кусочек печенья. Она его с аппетитом погрызла, утерлась лапкой и вновь уставилась на экран.

Прошел месяц. Чего только не испробовала она, чем только не лакомилась: и печеньем, и салом, и колбаской... Я привык к ней, мало того — привязался. Теперь было бы странно смотреть телевизор в прежнем одиночестве. Не знаю, чем она занималась днем, но вечером зажигался экран — и она тотчас усаживалась

перед ним. Мне было хорошо. Я даже перестал вспоминать прошлогоднюю стаю серых животных, эту беснующуюся толпу.

Я вообще не любитель толп. Слава богу, что хоть у меня в доме они отбушевали. А это маленькое изящное существо в светло-серой шубке тоже, видимо, склонно к уединению и вряд ли тоскует по своим суматошным соплеменникам...

Днем я, как всегда, работал за своим столом. Зимой темнеет рано. Я подумал, что скоро включу телевизор и мы усядемся с нею...

Вдруг что-то громко щелкнуло. Присмотрелся — а это сработала мышеловка, о которой я успел позабыть! Кинулся к ней — а в ней моя мышка!..

Как-то у меня сидели друзья. Я рассказал им эту историю. Все удрученно замолкли. Фазиль вскрикнул: «Неужели насмерть?!»

УБИЙЦА

Не прошло и года, как случилось невероятное: Союз писателей организовал туристическую группу для поездки в Швецию и меня с женой включили тоже! Я не верил: впервые в капиталистическую Европу! Свершилось! Группа была маленькая: восемь писателей с женами. Шестнадцать человек. И я среди них! Женя Евтушенко на Западе уже бывал, и неоднократно, но радовался за меня и подмигивал поощрительно. И вдруг перед самым отъездом выяснилось, что меня из списка вычеркнули!.. Я чуть не заплакал. Я побежал к Ильину — генералу КГБ, который руководил московскими писателями. Он кивнул на потолок и сказал, что в отношении меня передумали.

— Сам виноват, — сказал он с грустью, — поешь всякие песенки, раздражаешь начальство...

— Да как же так?! — выдохнул я с отчаянием. — Я был так рад... и жена... Я же фронтовик!..

— Ничего, — сказал он неумолимо, — наладь все эти дела, и в следующий раз...

И тут вошел обеспокоенный Евтушенко. Он кивнул генералу, сел напротив без приглашения и сказал мрачно:

— Виктор Николаевич, дело в том, что вся Швеция с замиранием сердца ждет его, — (он кивнул в мою сторону), — приезда. У них очень большой ажиотаж... — (Я похолодел: впервые я слышал о себе такое.) — Если он не приедет, разразится международный скандал. Я не знаю, по чьей вине, но объяснить будет невозможно... В конце концов, я беру на себя всю ответственность... Ведь все было готово, и вдруг такое!..

Ильин слушал, кивал, поглядывал на меня, а я сидел ни жив ни мертв, и что-то такое во мне оборвалось, а в жизни моей было так много подобного — оскорбительных унижений или унижительных оскорблений или и того и другого, да в таком количестве... Ничего, подумал я, не сдохну.

— Ну ладно, — вдруг сказал генерал, — ладно, беру на себя ответственность, ладно, черт с вами...

Когда мы вышли, я спросил Женю:

— Что это ты говорил насчет ажиотажа?

— Какого ажиотажа? — не понял он.

— Ну, ты говорил... — сказал я.

— А-а, — махнул он рукой и засмеялся.

На следующий день на Моховой в каком-то учреждении, сейчас уж и не помню в каком, с нами провели собеседование. Я слушал очень внимательно, не пропускал ни единого слова, был крайне возбужден. В заключение чиновник с холодными глазами суммировал сказанное:

— Запомните: вы едете в капиталистическую страну. В этом мире кишат шпионы и диверсанты. Запомните: особенно опасны хиппи...

— Кто это такие?! — спросил я, теряя сознание.

— Это,— сказал чиновник,— молодые люди с длинными волосами, наркоманы и убийцы...

Радость моя померкла. Напряжение достигло апогея.

И мы поехали в Швецию.

В Стокгольме было солнечно и жарко. Город был прекрасен. О, если бы не назойливая мысль о таящихся в нем опасностях! Если бы не страх, сковывающий наши души!.. Удобная и чистая гостиница, доброжелательное обслуживание, изысканный непривычный ужин, но постоянный озноб, дрожь по коже и мысли об опасности. Из окна четвертого этажа мы видели чистую улицу и раскованных, хорошо одетых прохожих и чистенькие «мерседесы» и «вольво». Но это с четвертого этажа.

— А попробуй выйди туда — и сразу что-нибудь случится, — шепотом сказал я.

Жена кивнула. На первый день никаких коллективных мероприятий не было. Вдруг жена моя поморщилась и сказала мне тоже шепотом:

— Ну что, так и будем сидеть взаперти? Какого черта!.. — и вдруг пошла к двери.

Я потащился за ней. Мы общались только шепотом. В лифте набилось полно народу. Они улыбались друг другу, хохотали, и слышалась шведская, английская и французская речь. А мы? А мы перешептывались и презирали сами себя. И когда спустились и вышли в холл, жена произнесла громко и отчетливо:

— Хватит! Я подумала: или как шведы, или закрыться в туалете на весь срок поездки! Какое я имею отношение к шпионам, а тем более — к диверсантам?! Хватит!..

Мы вышли на шумную улицу.

— Посмотри на их лица, — сказала она, — как они смеются, как движутся... Ничего себе шпионы!

— Тише, тише, — шепнул я и напряженно оглянулся.

Она умолкла. Было душно. Потом сказала с горечью:

— Вот потопчемся перед гостиницей, и можно в Москву возвращаться... Господи, как душно!..

И тут я увидел прямо у самого подъезда — автоматы с кока-колой. Мы подошли к ним. Я опустил монету, но автомат не сработал. Я стал нажимать какие-то кнопки — никакого толку. Достал другую монету. Вдруг увидел слева от себя громадную волосатую руку. Она тянулась к моей монете! Я поднял голову и похолодел: рядом со мной стоял высоченный хиппи с волосами до плеч. Он бормотал что-то и тянулся к моей монете.

— Отдай ему, отдай, — прошептала бледная моя жена, — да отдай же!

Ну вот, подумал я, сбылись зловещие пророчества.

— Лучше отдай, — шепнула жена с отчаянием, — он на все способен!

А хиппи что-то бубнил и продолжал тянуться к монете. И я отдал ее ему. Я был унижен. Неужели, подумал я, он способен убить из-за такой ерунды?! Я показал жене глазами на дверь в гостиницу, но она пребывала в столбняке. Я напряженно следил за хиппи. Я ждал подвоха: без этого не могло быть... Я же не просил его... А если бы даже попросил, он не обязан... Он мог просто... почему он должен? Он мог сказать: «Да иди ты!..» И я бы пошел...

Хиппи опустил монетку в щелочку автомата, нажал какую-то кнопку, и ледяная бутылка впрыгнула ему на ладонь. Он сорвал пробку, и лицо его расплылось в улыбке. Он протянул бутылку моей жене! И при этом поклонился! И ушел... «Бай-бай...»

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО!

Уже после начала перестройки я снова побывал в Швеции. Я гулял по Стокгольму. Я ничего не боялся. Пугальщики замерли, словно их никогда и не было. Все предшествующие годы я теперь вспоминал с улыбкой, краснел за себя того и радовался новым обстоятельствам. Кстати, вспомнил еще несколько эпизодов, связанных с той, теперь уже давней, поездкой туристом.

Тогда, еще не представляя себе, что смогу поехать в Швецию, я познакомился в Москве с шведским корреспондентом и писателем Хансом. Мы иногда общались. Он был веселый, умный молодой человек, который никак не мог совместить грусть моих стихов и песен с красной суетой в моем воспаленном мозгу. Затем срок его пребывания в Москве закончился, он уехал к себе на родину, а тут вскоре и мне выпала честь впервые заглянуть в капиталистический мир. И вот в Стокгольме, уже после истории с хиппи, когда я уже кое-что уяснил, конечно не до конца, он разыскал меня и пригласил нас с женой в свой дом поужинать.

Это была двухэтажная квартира. Я таких никогда не видел! Внизу был накрыт изысканный стол. Было вкусно,

шумно и весело. Звучали анекдоты, в которых мои соотечественники представляли в комическом свете. Ханс был прекрасен. Вдруг он предложил мне посмотреть второй этаж его квартиры. Настроение было хорошее. Голова немного кружилась. Я кивнул и двинулся за ним. Меня поразило устройство этой квартиры. Конечно, подумал я, корреспондент — это же богатый человек! Внезапно в мозгу возникло подозрение: а что если он обыкновенный разведчик?! И пригласил меня в свой дом и теперь ведет меня... на второй этаж!.. А там что? И теперь, подумал я, он начнет уговаривать меня... ну, это... сотрудничать...

Я переступал деревянными ногами. Я шел за ним, как пленник. Он оборачивался и улыбался. Знаю я ваши улыбки! Мы поднялись. Я втянул голову в плечи. Знаем мы... Хмель выветрился.

— Ну вот, — сказал он, — это мой кабинет.

Что-то такое проступило сквозь туман.

— А это спальня, — сказал он, приоткрыв следующую дверь.

Вот сейчас! — подумал я и остановился.

— Ну что? — спросил он. — Тебе, кажется, не интересно?

— Да что я, спален не видел? — пробормотал я. — Давай, пожалуйста, вернемся, — и ждал, что он сейчас-то и начнет...

— Хорошо, — легко согласился он, — сейчас нам подадут крабов. Ты любишь крабов?

Я никогда не ел крабов.

— Конечно, — сказал я, и дышать стало полегче...

...Через несколько дней случилась еще одна нелепость. Женя Евтушенко, давно ставший навсегда

в Европе, очень меня опекал и старался всеми силами приобщить к Западу. И вот он уговорил нашего общего знакомого — шведского издателя — устроить посещение ночного клуба со стриптизом! Когда все было решено, я внутренне возликовал, но деланно поморщился, ибо одна моя половина была, естественно, переполнена любопытством, жаждой открытий, очарована доступностью тайны, но вторая, красная, горела на медленном огне заслуженного ханжества. Вот и гримаса отвращения.

Мы заняли столик перед самой сценой. Вспыхнул свет. Женя и моя жена сидели напротив меня. Он что-то говорил ей, и она поглядывала на меня с большим интересом. Грянула музыка. На сцене появилась женщина в короткой крахмальной юбочке, длинноногая, с большой пышной грудью, покуда скрытой под кружевной блузочкой. Ну и что? — подумал я, скажите пожалуйста, невидаль... Женщина начала пританцовывать.

— И это все? — спросил я небрежно.

Женщина сбросила с себя блузочку. Женя подскочил ко мне.

— Я должен тебя предупредить, — горячо прошептал он, — сейчас она обнажится, спустится в зал и, возможно, сядет тебе на колени...

— Что?! — чуть не крикнул я.

— Ну, у них так принято, — сказал он, — я знаю... Но ты не вздумай ее оттолкнуть или еще что-нибудь... Ты понял? Не надо скандалов...

И снова уселся на свое место, и снова переглянулся с моей женой.

Танцовщица продолжала раздеваться. Сначала скинула бюстгальтер, и обнажились не очень упругие груди,

колышущиеся в такт музыке. Затем, словно осенний лист, слетела с нее пышная юбчонка. Единственное, что осталось, — это нечто, напоминающее фиговый листок...

Я ждал. Я так напрягся, что не слышал музыки. Сейчас она сойдет со сцены... Но музыка умолкла, и раздалась жидкие аплодисменты. Свет на сцене погас. Я был спасен. Сердце билось отчаянно. Моя жена и Женя посмеивались.

Да, все это было. И вот пролетело двадцать лет, и я снова в Стокгольме. Я еду в автомобиле. Солнечный осенний полдень. Вдруг машина останавливается, и я вижу, что и все идущие впереди машины остановились тоже. Затор. Светофора нет. Впереди на улице, пересекающей нашу, какое-то движение. Я вижу эскадрон всадников в старинных одеяниях: то ли гусары, то ли уланы. Они медленно, торжественно пересекают наш путь, а за ними, вы только представьте себе, за ними — старинное открытое ландо, да-да, *ландо*, и в нем — женская фигура. Я ахнул: это была королева Швеции! Ах, ведь не каждый день случается такое!

Я кинулся из машины и побежал, побежал туда, к перекрестку, скорей, скорей, успеть бы... Встал на самом углу. Стою, сгорая. На мне плащ и кепка. Ландо поравнялось со мной. Королева Швеции, Сильвия, вся — красота и достоинство, восседает на кожаном троне! И я вижу, как она поворачивает свою королевскую голову и всматривается в меня, всматривается... Я хотел ей поклониться, но она уже отвернулась. Не успел я огорчиться, как она снова взглянула на меня! Второй раз! И вновь отвернулась.

Воротившись в гостиницу, я, переполненный всякими возвышенными чувствами, рискнул написать ей коротенькое послание.

«Ваше Величество!

Я стоял на краю тротуара. Вы проезжали мимо и два раза внимательно посмотрели на меня. Я не монархист, Ваше Величество, но мне было крайне приятно, и я навсегда запомню этот день!»

На следующий день мне вручили от нее ответ!

«Милостивый государь!

Я помню: вы действительно стояли на краю тротуара, и я два раза внимательно на вас посмотрела, потому что, когда я поравнялась с вами, вы, милостивый государь, не сняли кепку».

Содержание

Лирика

«Полжизни промчалось в походах...»	7
«Стоят леса опутаны...»	8
Вдова	8
В лесу	10
Ночь после войны	11
Сердце скажет	13
«Шла девушка тропинкою лесной...»	14
Ночь прощания с летом	15
Песенка о ночной Москве	16
«Неистов и упрям...»	17
«Эта женщина! Увижу и немею...»	18
Синька	18
Сентиментальный марш	19
Подмосковье	20
Веселый барабанщик	25
«Время идет, хоть шути — не шути...»	26
«Женщины-соседки, бросьте стирку и шитье...»	26
«Не верь войне, мальчишка...»	27
«...И когда удивительно близко...»	28
«Глаза, словно неба осеннего свод...»	29

Голубой шарик	29
«Не бродяги, не пропойцы...»	30
Песенка о Ваньке Морозове	30
«Нева Петровна, возле вас — всё львы...»	32
«Мне нужно на кого-нибудь молиться...»	33
Вобла	34
«На белый бал берез не соберу...»	35
Песенка о солдатских сапогах	35
Король	36
Ангелы	38
Первый день на передовой	39
Полночный троллейбус	41
Медсестра Мария	42
Новое утро	43
«Настоящих людей так немного!...»	43
Песенка об открытой двери	44
Песенка о Фонтанке	44
Московский муравей	45
«Часовые любви на Смоленской стоят...»	46
«Мой мальчик, нанося обиды...»	46
«Дома лучше (что скрывать?)...»	47
«Жизнь моя — странствия. Прощай! Пиши!...»	47
«Эта женщина такая...»	48
«Я ухожу от пули, делаю отчаянный рывок...»	48
«Из окон корочкой несет поджаристой...»	49
Песенка о комсомольской богине	50
Искала прачка клад	51
До свидания, мальчики	52
«На арбатском дворе — и веселье и смех...»	53
«Не вели, старшина, чтоб была тишина...»	54

«О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой...»	55
«Горит пламя, не чадит...»	55
«Сто раз закат краснел, рассвет синел...»	56
Тамань	57
«На мне костюмчик серый-серый...»	58
«Магическое “два”. Его высоты...»	58
Песенка про Черного кота	59
«Рифмы, милые мои...»	60
«Раскрываю страницы ладоней...»	61
Три сестры	62
Бумажный солдатик	63
«...И когда под вечер над тобою...»	64
Джазисты	65
Арбатский дворик	66
Живописцы	67
Песенка об Арбате	68
«Над синей улицей портовой...»	68
«А мы швейцару: “Отворите двери!..”»	69
«Разлюбила меня женщина и ушла не спеша...»	70
Старый пиджак	70
«Мы стоим — крестами руки...»	71
«Тьмою здесь все занавешено...»	72
Старый дом	73
Черный «мессер»	74
«Я жалею собак с нашей улицы...»	75
Песенка о Сокольниках	75
Осень в Кахетии	77
По Смоленской дороге	78
Дежурный по апрелю	79
О кузнечиках	79

«Когда известный русский царь в своей поддевочке короткой...»	80
Песенка о московских ополченцах.	82
Гитара	82
Песенка о присяге	83
«Много ли нужно человеку...»	84
Колокол	85
«В саду Нескучном тишина...»	86
Песенка о московском трамвае	86
«Допеты все песни. И точка...»	87
«Всю ночь кричали петухи...»	88
Песенка веселого солдата.	88
Песенка о пехоте	89
Шарманка-шарлатанка	90
Часики	90
«Шла война к тому Берлину...»	91
Чудесный вальс	92
В Барабанном переулке	93
Александр Сергеич.	94
Отрада	95
Песенка про дураков	96
«Когда затихают оркестры Земли...»	96
«Земля изрыта вкривь и вкось...»	97
Музыка	98
«В чаду кварталов городских...»	99
Главная песенка.	100
Ночной разговор	101
Старый король	102
Стихи без названия	103
Два великих слова	106
«Я никогда не витал, не витал...»	107

Четыре года	108
Ленинградская музыка	109
Как я сидел в кресле царя	110
«Затихнет шрапнель, и начнется апрель...»	112
«Он, наконец, явился в дом...»	112
«Нацеленный глаз одинокого лося...»	113
Божественное	114
Храмули	115
Фрески	116
1. Охотник	116
2. Гончар	117
3. Раб	118
«Человек стремится в простоту...»	119
Эта комната	120
«Ты — мальчик мой, мой белый свет...»	121
Тиль Уленшпигель	121
Счастливчик Пушкин	122
Житель Хевсуретии и белый корабль	124
«Мой город засыпает. А мне-то что с того?..»	125
«Вселенский опыт говорит...»	125
Март великодушный	126
«Мы приедем туда, приедем...»	127
«Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем...»	128
«Итак, я постарею...»	130
«Ночь белая. Спят взрослые, как дети...»	130
«Куда вы подевали моего щегла?..»	131
Человек	131
«Все ты мечешься день-деньской...»	132
«Снится или не снится?..»	133
«Плыл троллейбус по улице...»	134
Песенка о моей жизни	135

Песенка о моей душе	136
Стихи, являющиеся кратким руководством для пользования пугачом	136
Красные цветы	138
Оловянный солдатик моего сына	139
Дорожная фантазия	140
«Непокорная голубая волна...»	142
Замок надежды	142
Последний Пират	143
Старый флейтист	144
В городском саду	145
Молитва	146
Фотографии друзей	147
«То падая, то снова нарастая...»	148
Разговор с рекой Курой	149
«Мгновенно слово. Короток век...»	150
Как научиться рисовать	150
Проводы юнкеров	151
Песенка о художнике Пиросмани	152
«В детстве мне встретился как-то кузнечик...»	154
Ленинградская элегия	155
Прощание с осенью	156
Времена	158
Одна морковь с заброшенного огорода	159
Из окна вагона	161
Зной	162
Осень в Царском Селе	162
Песенка про маляров	163
Прощание с Польшей	165
Письмо Антокольскому	166
«Друзья, не надейтесь на чудо...»	167

«Не верю в Бога и судьбу, молюсь прекрасному и высшему...»	168
Цирк	169
«Разве лев — царь зверей? Человек — царь зверей...»	170
«Решайте, решайте, решайте...»	170
«Надежда, белою рукою...»	170
Встреча	171
Грибоедов в Цинандали	173
Душевный разговор с сыном	174
«Осень ранняя. Падают листья...»	175
«Мы едем на дачу к Володе...»	176
«Карандаш желает истину...»	177
Капли Датского короля	178
Прощание с новогодней елкой	180
Старинная студенческая песня	181
«Скрипят на новый лад все перья золотые...»	182
Путешествие в памяти	183
Грузинская песня	184
Песенка о дальней дороге	185
«Ваше благородие госпожа разлука...»	186
Путешествие по ночной Варшаве в дрожках	187
Песня из к/ф «Белорусский вокзал»	189
«Я вас обманывать не буду...»	190
«Поэтов травили, ловили...»	191
«Немоты нахлебавшись без меры...»	192
«Долго гордая упряжка...»	193
«На углу у гастронома...»	194
Большая перемена	196
«Среди стерни и незабудок...»	196
«Живые, вставай-подымайся...»	197

«Песенка короткая, как жизнь сама...»	198
Арбатский романс	198
Песенка о Моцарте	200
Военные портняжки	201
Речитатив.	202
Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину	204
Считалочка для Беллы	204
Послевоенное танго	207
«С каждым часом мы старее...»	208
Старинная солдатская песня	210
Жизнь охотника.	211
Батальное полотно	215
Баллада о гусаке.	216
«Не слишком-то изыскан вид за окнами...»	217
Из фронтового дневника	218
«Не будем хвастаться, что праведно живем...»	220
«Убили моего отца...»	220
«Я маленький, горло в ангине...»	221
«Римская империя времени упадка...»	223
«Давайте придумаем деспота...»	225
«Чувствую: пора прощаться...»	226
Я пишу исторический роман	227
«Сестра моя прекрасная, Натела...»	228
«Берегите нас, поэтов. Берегите нас...»	229
Чаепитие на Арбате	230
Песенка кавалергарда	233
Лунин в Забайкалье	234
Кабинеты моих друзей.	235
Боярышник «Пастушья шпора»	236

«Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет...»	238
Пожелание друзьям	239
Божественная суббота, или Стихи о том, как нам с Зиновием Гердтом в одну из суббот не было куда торопиться	240
Заезжий музыкант	241
«А мы с тобой, брат, из пехоты...»	242
«Я вновь повстречался с Надеждой — приятная встреча...»	244
«Стоит задремать немного...»	244
Сентябрь	246
Дом на Мойке	247
Пиратская лирическая	248
«Впереди идет сержант...»	249
«Мы стоим с тобой в обнимку возле Сены...»	250
«Я живу в ожидании краха...»	250
«Красный снегирь на июньском суку...»	251
«Сталин Пушкина листал...»	252
«Вот король уехал на войну. Он Москву покинул...»	253
Державин	254
«Шарманка старая крутилась...»	255
«Солнышко сияет, музыка играет...»	256
На смерть Бориса Балтера	257
«Оркестр играет боевые марши...»	257
«Антон Палыч Чехов однажды заметил...»	258
«Умереть — тоже надо уметь...»	259
«Часики бьют так задумчиво...»	261
«У Спаса на Кружке забыто наше детство...»	261
«Как время беспощадно...»	262
Проводы у военкомата	263

«На Сретенке ночной надежды голос слышен...»	264
Романс («Стали чаще и чаще являться ко мне...»)	264
«Как хорошо, что Зворыкин уехал...»	265
«Гомон площади Петровской...»	266
О Володе Высоцком	267
Еще один романс	268
«Летняя бабочка вдруг закружилась над лампой полночной...»	269
«Не успел на жизнь обидеться...»	271
Из стихов к роману «Свидание с Бонапартом»	272
Август в Латвии	273
«У поэта соперников нету...»	274
«С последней каланчи, в Сокольниках стоящей...»	275
«Ну что, генералиссимус прекрасный...»	276
Воспоминание о Дне Победы	277
«Приносит письма письмоносец...»	278
Несчастье	279
«Черный ворон сквозь белое облако глянет...»	280
Работа	282
Песенка о молодом гусаре	283
Надпись на камне	284
Арбатские напевы	285
1. «Все кончается неумолимо...»	285
2. «Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант...»	286
«Я горой за сюжетную прозу...»	287
«Всему времечко свое: лить дождю, Земле вращаться...»	288
Прогулки фраеров	289
Парижская фантазия	290
«Нужны ли гусару сомненья...»	292
Полдень в деревне	293

Дорожная песня	295
Настольные лампы	296
«Глас трубы над городами...»	298
Примета	299
«Поздравьте меня, дорогая: я рад, что остался в живых...»	300
«Внезапно сник мороз, и ртутный столб взлетел...» . . .	301
Перед телевизором	302
«Кого бояться и чего стесняться?...»	302
«Век двадцатый явился спасателем...»	303
Собачка	305
«Кухарку приставили как-то к рулю...»	308
«Лечу над картою судьбы...»	308
«Все глуше музыка души...»	309
«Под Мамонтовкой жгут костры...»	310
«Как наш двор ни обижали — он в классической поре...»	311
Мой почтальон	312
«По Грузинскому валу воинственно ставя носок...» . . .	313
«Пока от вранья не отвыкнем...»	314
«Шестидесятники развенчивать усатого должны...» . . .	315
«Славная компания... Что же мне решить?...»	316
Памяти брата моего Гиви	316
Гимн уюту	317
«Красотки томный взор...»	319
«Не сольются никогда зимы длинные и лета...»	320
«Восхищенность вашим сердцем, вашим светом...» . . .	320
«Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?...»	321
Письмо к маме	322
«Читаю мемуары разных лиц...»	323
«После дождичка небеса просторны...»	324

Памяти Обуховой	325
«Мне не в радость этот номер...»	326
«Отчего ты печален, художник...»	326
Дунайская фантазия	327
Калужская фантазия	328
Прощальная песенка волковских актеров	330
«Вечера французской песни...»	331
«От нервов ли, от напряженья...»	332
«Все забуду про тревогу...»	333
«На полянке разминаются оркестры духовые...»	334
Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве	335
«На полотне у Аллы Беляковой...»	337
Дерзость, или Разговор перед боем	338
Мое поколение	339
«В больничное гляну окно, а там, за окном, — Пироговка...»	339
«Что-то знает Шура Лифшиц...»	341
Окончание работы	341
«Почему я в этом доме...»	342
Мой отец	343
Музыкант	344
«Почему мы исчезаем...»	345
«Соединение сердец...»	346
«Собрался к маме — умерла...»	347
«В день рождения подарок преподнес я сам себе...»	348
«Надежды крашенная дверь...»	349
«Вот музыка та, под которую...»	349
«В нашей жизни, прекрасной и странной...»	350
«В больнице медленно течет река часов...»	351
«Вот комната эта — храни ее Бог!.....»	351

«Пишу роман. Тетрадка в клеточку...»	352
«Я выдумал музу Иронии...»	353
«Чувство собственного достоинства — вот загадочный инструмент...»	354
«Хочу воскресить своих предков...»	355
«Сколько сделано руками удивительных красот!..»	355
«Строка из старого стиха слывет ненастоящей...»	356
«Старики умирать не боятся...»	357
«Над площадью базарною...»	357
Краткая автобиография	358
«Осудите сначала себя самого...»	359
Песенка («Совість, благородство и достоинство...»)	360
«Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал...»	360
«По какой реке твой корабль плывет...»	361
«Восемнадцатый век из античности...»	361
«Из Вашингтона в назначенный срок...»	362
«На странную музыку сумрак горазд...»	363
«Весь этот век, такой бесплодный...»	363
«Не уезжай, жена моя, в леса...»	364
«Распахнуты дома. Безмолвны этажи...»	365
«Мне все известно. Я устал все знать...»	366
«Калифорния в цвету. Белый храм в зеленом парке...»	367
«Я вам описываю жизнь свою, и больше никакую...»	368
«Я умел не обольщаться...»	369
«Дама ножек не замочит...»	369
«Витя, сыграй на гитаре...»	370
«Все утрясается мало-помалу...»	372
«Взяться за руки не я ли призывал вас, господа?...»	373
«Как мне нравится по Пятницкой в машине проезжать!..»	374

Памяти Льва Гинзбурга	375
«Корабль нашей жизни приближается к пристани...» . .	376
«Становлюсь сентиментальным...»	376
«Воспитанным кровавою судьбой...»	377
Утро	377
Ад	377
«Раз и два...»	378
«Мой брат по перьям и бумаге...»	379
«Ребята, нас вновь обманули...»	379
«...И ты, который так угрюм, и ты, что праздничен. Вы оба...»	380
«Смилуйся, быстрое время...»	381
«Проснется ворон молодой...»	381
«Пока еще жизнь не погасла...»	382
«Из Австралии Лева в Москву прилетел...»	382
«Мне не нравится мой силуэт...»	383
«Ах, если б знать заранее, заранее, заранее...»	384
«Под крики толпы угрожающей...»	385
«К старости косточки стали болеть...»	385
Японская фантазия	386
Турецкая фантазия	387
«Прикатить на берег крымский и на Турцию глядеть...»	389
Песенка Белле	390
«Благородные жены безумных поэтов...»	391
«От войны войны не ищут...»	392
Ироническое обращение к генералу	393
«Не каждому поэту удача выпадает...»	394
Детство	395
«В земные страсти вовлеченный...»	396
Нянька	397

«Прощайте, стихи, ваши строки, и ваши намеки, и струны...»	398
Американская фантазия	399
«Мне нравится то, что в отдельном...»	401
Жаркий полдень в Массачусетсе	404
«Вроцлав. Лиловые сумерки...»	404
Красный клен	405
«Париж для того, чтоб ходить по нему...»	406
«Сладкое бремя, глядишь, обернется копейкою...»	407
Романс («В Иерусалиме первый снег...»)	407
«Тель-авивские харчевни...»	408
«Вы говорите про Ливан...»	409
Подмосковная фантазия	410
«Я в Кельне живу. Возле Копелева...»	412
«Вот Тюрингии столица...»	413
«Со скоростью сто сорок километров...»	414
Шмель в Массачусетсе	415
«Когда начинается речь, что пропала духовность...»	416
«На почве страха и тоски...»	416
«Через два поколения выйдут на свет...»	417
«Давайте чашу высечем хрустальную...»	417
Новая Англия	418
«Покуда на экране куражится Сосо...»	419
Перед витриной	419
«Как улыбается юный флейтист...»	420
«Вот какое нынче время...»	421
«Тянется жизни моей карнавал...»	422
Рай	422
«Поверь мне, Агнешка, грядут перемены...»	423
«Погода что-то портится...»	424

«Украшение жизни моей...»	424
«Пока он писал о России...»	424
«Лучше безумствовать в черной тоске...»	425
«Вот постарел, и стало холодно, и стало тихо на земле...»	425
«Не пробуй этот мед: в нем ложка дегтя...»	425
Памяти Давида Самойлова	426
Песенка («На пригорке стояла усадебка...»)	426
«Мимо кладбища едет купец молодой...»	427
«Вы — армия перед походом...»	428
Песенка корниловца	429
«Русского романса городского...»	429
«Мерзляковский переулок...»	430
«Я обнимаю всех живых...»	430
«Мне русские милы из давней прозы...»	431
В альбом	432
«А вот Резо — король марионеток...»	433
«Поверившие в сны крамольные...»	433
«Не обязательны пуля и кнут...»	434
«Ничего, что поздняя поверка...»	434
Памяти Алеся Адамовича	434
Свадебное фото	435
«От стужи, от метелей и от выюг...»	436
«Меня удручают размеры страны проживания...»	436
«История, перечень ей — не перечень...»	437
«Малиновка свистнет и тут же замрет...»	437
Обольщение	438
«Тщеславие нас всех подогревает...»	439
«Что есть полоски бересты...»	439
«Мы — романтики старой закалки...»	440
«Слово бурь не предвещало — было...»	440

«Под копытами снег голубой примят...»	441
«Ехал всадник на коне...»	442
«По Польше елочки бегут. Над Польшей птицы пролетают...»	443
«Вот приходит Юлик Ким и смешное напевает...»	444
Детская песенка	445
«Теперь уж снега не оставят...»	446
Песенка Льва Разгона	447
«Насколько мудрее законы, чем мы, брат, с тобою!..»	447
В карете прошлого	448
«Я люблю! Да, люблю! Без любви я совсем одинок...»	455
«Держава! Родина! Страна! Отечество и государство!..»	455
«Два тревожных силуэта...»	455
«Уроки пальбы бесполезны...»	456
«Что было, то было. Минувшее не оживает...»	456
«Роза сентябрьская из Подмосковья...»	457
«Хороша она или плоха...»	458
Что этот мир без нас, без вместе взятых?	458
«Когда петух над марбургским собором...»	459
«Вот странный инструмент для созиданья строчек...»	460
Романс («Не предвкушай счастливых дней...»).	461
К потомкам	461
«Что-то сыночек мой уединением стал тяготиться...»	462
«Да, старость. Да финал. И что винить года?..»	464
Отъезд	465

Проза

Будь здоров, школяр	469
Подозрительный инструмент	558
Девушка моей мечты	618
Гений	635
На Тверском бульваре	638
Мышка	641
Убийца	644
Здравствуйте, Ваше Величество!	649

Булат Шалвович
ОКУДЖАВА

Лирика
Проза

Редактор *С. Семухина*
Художественный редактор *С. Сакнынъ*
Технический редактор *Т. Еськова*
Корректор *Н. Киричек*
Оператор компьютерной верстки *Т. Упорова*
Менеджер производства *В. Рямова*

Подписано в печать 03.10.2003. Формат 76 × 108¹/₃₂.
Гарнитура «NewtonС». Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,92.
Тираж 15 000 экз. (1-й з-д: 1—5 000 экз.).
Заказ № 679

ООО «Издательство «У-Фактория»
620142, Екатеринбург, ул. Большакова, 77
E-mail: uf@ufactory.ru
Отдел продаж: 8 (3432) 57-85-89, 51-42-92

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
<http://www.uralprint.ru>
e-mail: book@uralprint.ru

Лирика
Проза

УФактория

ISBN 5-94799-301-5



9 795947 993010